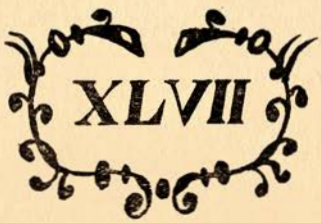
Новый Журнал



THE NEW REVIEW

Нью-Йорк

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, and July 2, 1946 (Title 39, United States Code, Section 233) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1956.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 223 West 105th St., New York, N. Y.; Editor, Prof. Michael M. Karpovich, 898 Memorial Dr., Cambridge, Mass.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must by stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 223 West 105th Street, New York 25, N. Y.; President, Michael M. Karpovich, 898 Memorial Drive, Cambridge, Mass.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required from daily, weekly, semiweekly, and triweekly newspapers only).

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 5 day of September, 1956. Irving Light, Notary Public, State of New York, No. 31-2362800, Qualified in New York County, Com., Expires March 30, 1957.

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. ЦЕТЛИН

Пятнадцатый год издания

Кн. XLVII
1956

Редактор М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

NEW REVIEW, December 1956.
Quarterly, No. 47.
223 *West* 105*th St., New York* 25, *N. Y.*
Publisher: New Review, Inc.
Subscription Price $7. — *for one year,*
Second Class Mail Privileges authorized
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Г. Андреев — Трудные дороги 5
Г. Евангулов — Игра 34

СТИХИ:

А. Величковский (10), *Олег Ильинский* (13), *А. Гингер* (92), *А. Горская* (107), *Н. Дудорова* (80).

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

Прот. В. Зеньковский — Эстетические воззрения Вл. Соловьева 81
Зоя Юрьева — О творчестве Иосифа Виттлина 93

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Юрий Анненков — Об Александре Блоке 108
Н. Валентинов — Встречи с Андреем Белым 133
Ек. Кускова — Давно минувшее 154

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Н. К. Метнер — Мысли о музыке 177
Ю. Денике — Два кризиса 194
Н. Ульянов — «Патриотизм» требует рассуждения» 216
М. Вишняк — Вторжение в Египет и ООН 231
Г. Федотов — Об утопии Данте 244
М. Карпович — Комментарии. М. Алданов и история 255

БИБЛИОГРАФИЯ:

Ю. Иваск — J. Besharov. Imagery of the Igor's Tale. *Ю. Елагин* — Н. Горчаков. История советского театра. *Г. Струве* — Д. Кленовский. Неуловимый спутник 261

ПРИЛОЖЕНИЕ. Неизданные письма А. И. Герцена к Н. И. и Т. А. Астраковым, под редакцией *Л. Л. Догмера* 49-80

Printed by
RAUSEN BROS.
142 E. 32nd Street
New York 16, N.Y.
149

ТРУДНЫЕ ДОРОГИ*

Снова в пути

Опять растекаются заболоченные низины, непохожие на берега. Заросли камыша, редкого кустарника почти сразу за бортом парохода; блестят впереди, справа и слева голубые воды озер, протоков, зелень лугов, — на лугах тоже вэблескивают глаза луж. Уходят хилые островки — и ни человека, ни жилья. В камыше гомонят несчетные стада птиц, а плывем будто по мертвым местам.

Буксирный пароход, шлепая плицами, осторожно пробирается из одной воды в другую. Он никак не приспособлен для пассажиров: помещений для нас нет. Верхняя палуба открыта солнцу, ветру и дождю, на нижней мы мешаем матросам. Ночью холодновато. Устроились в закуте около трубы, на ящике с инструментами. Днем жарко, зато хорошо ночью.

Пассажиров мало: два туземца едут в районный центр, еще три пробираются в ближайшие поселки. Секретарь, встречаясь, смотрит нахально: попались? Сохраняя независимый вид, стараемся не встречаться с ним, чтобы не доставлять ему лишней радости.

За нами на буксире тащатся баржи. Что за беглецы едут за нами? Скоро их стали выпускать из трюма, но не разрешали отходить от люка. Молодые ребята, рабочие или крестьяне. Что за люди? На одной из остановок пароход встал рядом с баржами, комсомольцы отошли от беглецов к борту, мы осторожно спросили, откуда? И сразу поняли: они из того пункта, куда послали Калистова. Недавно они прибыли с базы экспедиции и сразу же бежали. О нашем побеге они

* См. кн. 42 и 44 «Нов. Журн.».

Copyright 1956, by "New Review Inc." All rights reserved.

еще не могли слышать и не знали нас. Это к лучшему: ни они нас, ни мы их выдать не можем. Не можем мы и помочь друг другу. Так теперь и должно быть: каждый за себя.

Дня через три началась настоящая река. Правый берег поднялся бугром, на нем ломаной зубчатой стеной встала черная тайга. Слева осталась широкая зеленая пойма, только кое-где на ней, отражая голубое небо, белели зеркала озер.

Чаще стали попадаться поселки, по два-три в день. Выглянут за изгибом конусы юрт, над ними лениво курится дымок, или встанут справа на бугре три-четыре избы, — пароход рвет тишину басовым гудком. На берег высыпают ребятишки, в развалку идут туземцы, пароход приткнет баржи к земле, — туземцы неторопливо тащат на баржи тюки пушнины, ящики вяленой рыбы, бочата масла. Или часами грузят до звона сухие сосновые поленья. Мы стоим — неподвижна река, неподвижен воздух, и если бы не лохмы дыма из трубы, можно подумать, что всё, что видим, только нарисовано. Кончилась погрузка, пароход опять зачем-то ревет, снова шлепанье плиц — и снова мертвое безлюдье, пустыня, глушь, полная солнца, зелени и голубени, скрывающих кипение жизни.

Оно тут, под нами, вокруг нас. Из чащи нечаянно высунется недоуменная морда медведя, утки без стеснения плещутся в камышах, в реке постоянный всплеск и блеск. Кое-где встречаем рыболовов: тянут на берег сети, до верха полные живым серебром. Щука тут не рыба: суха и тоща. Тут столько рыбы, самых нежнейших пород, что и впрямь наверно её можно черпать сачком.

Кончились и редкие поселки. День, два, три плывем под угрюмым берегом, нависшим суровой тайгой. Может быть, кончилась граница одного племени, а другое еще не начиналось. Десятки, сотни километров, — а где-то люди давят друг друга из-за жалкого клочка земли.

Странно смотреть на это безлюдье, на сплетение буй-

ства нечеловечьей жизни с мертвой тишиной. Это не кладбище, нет, тут не хоронили людей, но душу гнетет почти кладбищенской тоской.

Но вот и кладбище. Откуда оно тут? Мы с недоумением всматриваемся, — на горе, на сдавленной тайгой поляне, возвышаются холмики, между ними кривые кресты, — откуда тут кресты? Внизу, на берегу, лежат кучей какие-то обгорелые коряги. Это что-то новое, чего мы еще не видели. Что за холмики, что за коряги?

Пароход гудит, подваливает к берегу, — это не коряги. Это люди. Но что это за люди? По коже проходит мороз. Они лежат безучастно, тревожно и резко очерченные на желтом песке. Что это за люди?!

Сбросили сходни, капитан крикнул матросам, два матроса сошли на берег, чтобы помочь лежащим взойти на пароход. Коряги зашевелились, поползли, — одни ползли сами, неуклюже, двигая по земле черными руками и ногами, завернутыми в гнилые лохмотья, прильнув грудью к земле, уже не в силах оторваться от неё. Другие ковыляли на коленях, на четвереньках, боком и спиной вперед, кто как мог, если мог. Кто не мог, тех матросы вели под руки или несли на себе. И смертным ужасом веяло от черных лиц, изъеденных голодом и цынгой, от исковерканных, будто обожженных рук и ног, от лохмотьев, — от них несло тленом, как от выкопанных из могил. Что это за люди, что с ними стряслось?

Восемнадцать обгорелых останков поместили на корме. Они лежали, с потухшими глазами, как мертвецы. Даже предложенный нами хлеб не расшевелил их.

Это были раскулаченные крестьяне, откуда-то из Западной Сибири. Прошлой осенью их привезли сюда на баржах, тысячу семейств, и выгрузили на берегу, среди тайги. У них не было ни продуктов, ни инструментов и снастей. Нашлось несколько топоров. Уже шли дожди, недолго оставалось до снега. Самодельными лопатами они начали рыть землянки.

Сразу начали и умирать. Сначала дети, старики, потом взрослые.

Питались ягодами, грибами, ловили силками птицу, мелкое зверье, подобием удочек и сеток рыбу. Но не было ни хлеба, ни соли. Заготовить пищу на зиму не могли. И быстро обессилели. Умерших сначала хоронили на лесной опушке, потом тут же, между землянками, потом мертвые оставались в землянках. Некому было хоронить: каждый сам ждал смерти. Кое-кто ушел, еще до снега, но дошли ли ушедшие куда-нибудь или погибли в тайге, никто не знал. К весне из тысячи семей в живых остались вот эти восемнадцать человек. Капитану приказали вывезти их в район.

Как они прожили зиму, они не могли рассказать. Переползая от землянки к землянке, они искали всё, что можно съесть. Кожухи, ремни, сапоги, ботинки резали на кусочки, варили и ели. Наверно, ели они и трупы. Они и сами были трупами, из них ушло всё человеческое. Тут, на корме, лежали уже не люди. Это и в самом деле была только груда отработанного, пережженного человеческого сырья...

Я приглядывался к матросам, к пассажирам, смотревшим на крестьян, к самому себе, — и ни у себя, ни у окружающих не видел ни гнева, ни нестерпимой боли. Глаза ни у кого не горели возмущением. Мы словно отупели. Ну, да, это же всюду, по всей России, сколько уже видели и увидим еще. Всё то же удавье дело. Только в груди вместо сердца был камень и тяжесть его давила вниз...

На остановках выходим на берег, взбираемся на кручи, гуляем по лесу. Комсомольцы посматривают с барж, иногда сходят вслед за нами, но явно нас не сторожат. Не трудно уйти в лес подальше, а там прибавить шагу, — уйти, пожалуй, можно, хотя риск большой. Мы переглядываемся: тьма тайги тянет, зазывает нас. Но стóит ли? И еще далеко. Спускаемся к пароходу, плывем опять.

Так плыть бы и плыть, по этой голубой ленте, чтобы не приплыть никуда. Чтобы ничего больше не было, кроме

парохода, тайги, неторопливой реки, прозрачного неба, и этого ленивого шлепанья плиц, которое, похоже, оставляет пароход неподвижным. Остаться в этой неподвижности, протянуть её так, чтобы у неё не было конца. Но дни идут, уходят и берега, мы уже у последнего изгиба реки, еще день, полтора, — что будет за ними?

Пароход подваливает к берегу, наверху — редкий сосновый бор, над обрывом длинные поленницы дров. Отсюда до городка всего километров сто. Отсюда, как будто, начинаются и сухие места. Матросы цепочкой, — вниз, вверх, — грузят дрова, а мы взбираемся на обрыв, заходим за поленницы, дальше, к кустам, ложимся в траву и ждем. Придут ли комсомольцы? Мы еще не решили, стоит ли уходить с дороги, но может быть, решим сейчас. Из-за поленницы выходит комсомолец с винчестером, беспокойно шарит глазами вдали, ближе, по земле, находит нас, — мы беспечно курим, подставив лица вечернему солнцу. Комсомолец отворачивается, будто прогуливаясь уходит за поленницу, — по спине его чувствуем, как он напряжен. За поленницей он, конечно, притаился и смотрит в щелку. Может быть, затеять игру, кто кого перехитрит? Уйти дальше вниз по реке, чтобы он не видел, и незаметно двигаться в лес. Он позовет других, вряд ли уйдешь. Да и нет у нас такой уж острой охоты уходить сейчас. Тянет и город, откуда уйти, наверное, легче. Пароход гудит, — что ж, поплыли к тому, что нас ждет...

На десятый день река раздвинулась, растеклась протоками, потом они слились — река шире Волги и по северному могучее и величественнее. Скоро не будет видно берега. Пароход с баржами в этом безбрежии — как таракан на натертом полу, жалко спешит куда-то в безопасное убежище. Под вечер вошли в проток поуже — и на низком берегу увидели город. Просторно разбросаны дома и домишки; пристани, барки и баржи, скорлупки лодок, пассажирский пароход-красавец, с длинным шлейфом белого дыма, закрывшим полгорода. Мы смотрели жадно: это — наше, привычное, крохотная

точка среди одоленных и дальше, за городом, еще неодоленных пустынь, — от этой точки тянется нить и к нашей земле.

На берегу люди, много людей, — кажется, вечность не виданное нами оживление. А сердце сжимается: что-то будет? Хвощинский тоже волнуется и бодрится. Переглядываемся: надо приготовиться, подтянуться.

Подошел секретарь. Глаза беспокойно бегают, видимо, не знает, как ему быть.

— Вот и приехали, — как-то растерянно улыбается секретарь. — Что ж вы теперь? К кому пойдете? Вам бы сразу к начальству...

— Да, мы и собираемся к начальству. Только еще не знаем к кому первому? К председателю райисполкома?

— Самое верное — к уполномоченному НКВД, — заторопился секретарь. — Он же всё может, и с документами, и со связью. Если вам радиограмму послать — только к нему. Хотите, покажу, как итти? Мне всё равно к нему беглецов вести...

Мы и сами знали, что без НКВД не обойдешься. Может быть, и лучше, сразу в воду?

Сквозь толпу любопытных сошли, поднялись на невысокий берег, — за нами комсомольцы повели беглецов. По широкой пустынной улице идем с секретарем сбоку, по деревянным тротуарам, комсомольцы с беглецами шагают по дороге.

Большой деревянный одноэтажный дом, крытый железом. Вошли во двор. Беглецы сели в середине, окруженные комсомольцами, а мы направились на высокое крыльцо. Секретарь опередил, попросив подождать: он доложит сначала о беглецах. Ничего не поделать, присели на ступеньках.

С беглецами покончили быстро: секретарь вышел и приказал комсомольцам вести их в тюрьму. А нас опять просил подождать. Ждем пять минут, десять, пятнадцать. Что там наговаривает секретарь? Скверное настроение гложет нас. От этого человека добра не жди.

На крыльцо выходит — не секретарь, а пожилая женщина, с седыми волосами и добрым морщинистым лицом. Она смотрит на нас мягкими ласковыми глазами, будто подбодряет, и тихим голосом просит зайти. Эта женщина — как доброе предзнаменование. И мы, тепло обрадованные в глубине души, спокойнее вошли в этот дом.

Решающий экзамен

В просторной комнате полусумрак: большие окна завешены, открыто только одно, у письменного стола. Несколько стульев, канцелярский шкаф, пейзаж доморощенного художника на стене. Пахнет, как пахло в купеческих домах (этот дом в прошлом наверно тоже купеческий), чем-то старым, но уютным. Не верится, чтобы в этой комнате допрашивали, составляли дела, по которым расстреливают людей.

Навстречу встал худощавый, выше среднего роста блондин с голубыми глазами, приветливо улыбаясь, он поздоровался с нами за руку, предложил сесть и сел сам за стол напротив. У него лицо интеллигентного человека, и смотрел он внимательно, с сочувствием, без тени вражды и недоверия. Он был очень похож на впустившую нас женщину.

Он уже слышал о нас, ему говорили, говорил и секретарь, — секретарь ушел в другую дверь, даже не попрощавшись с нами, что нас не огорчило. Уполномоченный рад знакомству с нами, такие люди не часто появляются в здешних местах.

Мы пустились рассказывать о своем путешествии, строго по легенде. Уполномоченный заинтересовался, он был даже увлечен нашим рассказом и смотрел теперь еще с большим доброжелательством. Я отказывался верить, что на свете могут быть такие уполномоченные НКВД.

Мы рассказали и об аварии, которой не было, показали документы: всё те же написанные мною в горах удостоверения и чужие профсоюзные билеты. Уполномоченный нерешительно вертел их в руках, очевидно не зная, что сказать.

Смущенно он спросил, что же мы собираемся делать дальше? Видимо, ему хотелось сказать, что с такими документами далеко не уедешь, но он не решился.

Мы хотим сегодня же послать радиограмму в Ленинград, в Геолком, чтобы подтвердили нашу принадлежность к экспедиции профессора Светлова и выслали денег, — денег у нас тоже почти нет. Придет ответ, — тогда мы получим здесь какие-нибудь документы и поедем дальше.

Уполномоченный огорчился. Дело в том, что радиостанция загружена правительственными телеграммами и пользоваться ею для других нужд нельзя. Придется послать по телеграфу. Долго ли ждать? Уполномоченный прикинул: дней пять до Ленинграда, дней пять назад, ну, наверно три-четыре дня займет составление ответа. Недели через две мы получим ответ.

Мы и тут изобразили отчаяние. Две недели! У нас же важное правительственное задание! Будто в порыве возмущения, я вытащил из рукзака горсть собранных в горах камней, завернутых в бумажки, брякнул на стол, — смотрите, это надо срочно доставить в Геолком! А вы говорите, две недели!

Уполномоченный заинтересовался камешками. Он рассматривал их, читал мои надписи на бумажках. Вероятно, они окончательно убедили его. И он с еще большим смущением сказал, что, к сожалению, ничего не может сделать. Радиостанция на севере не одна, но им дают только четверть часа, расписана каждая минута. А телеграммы передаются в областной город, за тысячу километров, по телефону, по единственной проволоке на все районы.

Мы радовались в душе. Чем дольше идут отсюда телеграммы, тем лучше. На нашу телеграмму ответа ведь не будет вообще. Поломавшись для вида, мы согласились на телеграф. И тут же составили текст телеграммы: «Ленинград, Геолком. Подтвердите наше нахождение экспедиции Светлова. Го-

рах потерпели аварию, остались без денег, документов. Срочно вышлите деньги проезд Ленинград».

Уполномоченный сам показал, как пройти на почту. Оставив рукзаки, — пусть, если хочет, пока проверит содержимое, — мы пустились отправлять телеграмму. Отправив, показали словно невзначай уполномоченному квитанцию и спросили, где нам жить.

Это легко устроилось. Уполномоченный написал две записки. Одну — в «Дом туземца», чтобы приняли на постой, вторую — в райпотребсоюз, чтобы отпускали продукты и зачислили на питание в столовую.

«Дом туземца» оказался на соседней улице, — здесь всё было рядом. Тоже одноэтажный и просторный, по нашему это был попросту «дом крестьянина». Он был и единственной в городке «гостиницей».

Заведующий-туземец молча прочитал записку и молча провел в большую выбеленную комнату, пустую, с двумя койками и столиком между ними. Обстановку дополняла колченогая табуретка. Чисто, на койках серые солдатские одеяла, соломенные матрацы и подушки, покрытые застиранными, но чистыми простынями. Мы помылись и завалились спать.

Утром первым делом отправились в столовую. О нашем появлении уже знали, на улице нас оглядывали и провожали любопытствующими взглядами. В столовой тоже пялили глаза. Мы чувствовали себя не очень ловко. Позавтракали и пошли в райпотребсоюз, — он помещался в одном доме с райисполкомом.

Встретили дружески, у председателя райпотребсоюза собралось с десяток сотрудников, каждый готов был помочь и каждый хотел услышать, откуда мы и куда. Коротко рассказали свою легенду, — этим только распалили любопытство. В кабинет втискивались еще и еще люди и нас, может быть, не отпустили бы до обеда, если бы не пришел сам председатель райисполкома. Высокий, представительный, в

полувоенной форме, он шумно выпроводил публику из кабинета и заставил снова повторить нашу историю.

Слушая, он перебивал вопросами, восклицаниями — это был живой человек. Минутку подумав, он предложил:

— Товарищи, вот что: сделайте нам два доклада. Один — так сказать, внешняя сторона, ваше путешествие: это ж крайне интересно! Такие истории не часто бывают и мы докажем некоторым нашим товарищам, которые тут мрут со скуки, что у нас можно целые романы писать! Это же Майн Рид! А другой — об экспедиции: что вы разведываете, какие открываете богатства. Нас же это в первую голову касается! В свете развития народного хозяйства в нашем крае, наш вклад в пятилетку. Обязательно, товарищи, а то мы сидим и не знаем, что у нас под носом делается...

Стараясь не выдать, как мы опешены его предложением, мы молчали. Я соображал, как бы выкрутиться. Этого нам еще не доставало: делать доклады! Председатель нетерпеливо ждал.

— Да, конечно, мы бы с удовольствием сделали доклад, но — мы ведь не имеем полномочий от своего начальства. А если о нашей экспедиции нельзя много распространяться? Это же государственное задание, — я намекнул, что оно может иметь военное значение. — Можно ли разглашать? Жаль, но мы взять на себя такую ответственность не можем.

Председатель досадливо крякнул, но согласился. В самом деле, а вдруг — государственная тайна?..

Пошли осматривать город. Это был древний, одноэтажный, пригнувшийся к земле должно быть от свирепых зимних ветров малый городок, всего дворов в полтораста. Только три-четыре дома кирпичные, остальные из неохватных сосен или добротно обшитые строганными и крашеными досками, обряженные резьбой. Много трехоконных флигелей, затейливых и уютных, в которых угадывалась устоявшаяся и недавно еще обеспеченная жизнь. Теперь было беднее: резьба

крошилась, краска сходила, ворота кое-где висели криво и распахнуто, давно не чиненные.

Два-три столетия назад сюда ссылали опальных бояр, потом петровских вельмож, а за ними и революционеров. Всего четверть века назад отсюда дерзко бежал один из бунтовщиков. Тогда было нетрудно бежать.

На берегу — склады, на деревянных помостах и прямо на земле горы тюков, мешков, бочек и вязанок желтых сушек, кое-как прикрытых брезентом. Сушки у туземцев — лакомство. Их привозят с верховьев целыми баржами, — взамен сушек туземцы сдают пушнину. Эти горы товаров — для всего края, на тысячу километров на восток и на запад, и всё это должно быть доставлено в самые глухие углы летом, на долгую зиму.

Флотилии лодок, завозней, барок и барж, буксирные пароходы, в одном месте — пять-шесть моторных лодок. Но большого оживления нет: десятка три рабочих неторопливо копошатся. Неторопливость — северный стиль.

Два-три раза в неделю приходят и уходят пассажирские пароходы. Вниз — к Ледовитому океану, вверх — туда, куда надо нам. Билеты продают только по справкам: здесь и сейчас ссылка. Надо попасть на пароход без билета. Присмотрелись — как будто можно.

Прожили два дня, присматриваясь и изучая. Ходили и по окрестностям. Кустарник, хилый лес, болота, на север и на юг убегает проволока телефона.

К вечеру второго дня Хвощинский предложил зайти к уполномоченному, поговорить, чтобы подчеркнуть, что мы не скрываемся. Я возразил: а куда тут скроешься? И зачем лишний раз мозолить ему глаза? Но Хвощинский настаивал так энергично, что я согласился.

Уполномоченный встретил сдержанно. Что-то случилось. А когда он попросил зайти меня одного, я совсем заволновался.

Уполномоченный избегал смотреть в глаза. Ему самому

было неприятно. Он спросил, хорошо ли я знаю Хвощинского? Что это за человек? И почему он так странно вел себя в селе? Играя в карты, — уполномоченный развернул на столе папку, — Хвощинский кричал: «Я этот ваш колхоз разгромлю! У нас власть не советская, а соловецкая!» Откуда у него эти концлагерные выражения?

Я похолодел. Наше предприятие рушится... Это же чепуха, несерьезно, — уверял я уполномоченного. — Он же в пьяном виде говорил, не соображая. А выражения — наша экспедиция одно время работала по соседству с концлагерем, у нас тоже работали заключенные, от них Хвощинский и набрался. А колхоз — он же карточный колхоз подразумевал, это только образ, — выкручивался я.

— Видите, как неосторожно, — горестно заметил уполномоченный. — А мне что теперь делать? Я ведь должен вас задержать...

Я вскинулся: нас задержать? Почему, зачем? Уполномоченный совсем огорчился. Он понимает и всецело нам верит, но ничего не может сделать. Поймите, к нему поступил материал, он должен принять меры. На него наседает райком. Видите, что они пишут? Уполномоченный ткнул в раскрытую папку, — в ней уже было несколько бумажек. Секретарь заварил целое дело, а за ним и секретарь райкома. Уполномоченный знает, что всё это ерунда, придет ответ из Ленинграда и всё устроится, но пока он должен нас задержать.

Опять мелькнула мысль, что за чудной этот уполномоченный, но что проку от этого? Нас запрут в тюрьму. Зачем я согласился на уговоры Хвощинского? Я чувствовал, что если бы мы не пришли к уполномоченному, мы наверно уцелели бы. Теперь мы попались.

Видя мое отчаяние, уполномоченный утешил. Ничего, это не страшно, он распорядится, чтобы нас выпускали из тюрьмы на завтрак, обед и ужин, мы будем только жить в тюрьме, он не начнет даже следствия. Зачем? Придет ответ на теле-

грамму, и вы поедете дальше... Но я-то знал, что ответ не придет...

Мы сходили за рукзаками, потом уполномоченный сам отвел нас в тюрьму. Почти в центре города — щелястый забор-частокол из толстых плах, за ним квадратный дом. Высокие окна, по-летнему без стекол, за частой решеткой. Коридор делит дом на равные половины, в каждой по две камеры. В одной полуразваленная плита. В камерах длинные широкие нары. Толстые двери с железными запорами.

Угнетенные, вошли мы в тюрьму. Милиционер-надзиратель закрыл за уполномоченным калитку и, широко осклабясь, предложил располагаться, как нам нравится. Вошли в одну из камер, бросили рукзаки и молча повалились на нары. Не хотелось и говорить.

Из этой самой тюрьмы четверть века назад бежал тот революционер, который не мало сделал, чтобы теперь в ней были мы. Теперь бежать надо нам...

Второй побег

Утром, в обед и вечером уходим в столовую. Нас сразу перестали узнавать, от нас отворачиваются. А, плевать на это! В голове сверлит одна мысль: что делать?

Гуляем по городу, идем на берег, но неотступно преследует: надо возвращаться за ненавистный забор. Надолго отлучаться нельзя.

Дежурят посменно три надзирателя-милиционера. Федор — молодой, дурашливый туземец, с ним мы часами играем на солнышке во дворе на куче старых сетей, в подкидного дурачка, хотя карты валятся из рук. Второй, русский, тоже неплохой человек, рукодельник: сидит и строгает из дерева неуклюжие фигурки, детям. Только третий неприятен, Кулаев, пришлый туземец, из другого племени. Большой, сильный, этот — ревностный служака, он-то и сказал, чтобы не уходили больше, чем на час.

Камеры и коридор открыты до позднего вечера, и мы

если не гуляем, то сидим во дворе. Но усидеть на месте трудно, нас сжигает одно: что делать дальше?

Нет никакой надежды. Мы хорошо знаем: лагерь уже давно послал донесение в Москву о нашем побеге. А НКВД давно объявил центральный розыск: разослал по всем областям подробное сообщение о нас. Прошло уже больше полутора месяца. Каждый день может придти приказ о нашем задержании, — тогда ничто не поможет. Дни идут, еще неделя, ответа из Ленинграда не будет, уполномоченный перестанет так доброжелательно относиться к нам. Не может же случиться чудо: в Геолкоме сойдут с ума и подтвердят, что мы те, за кого выдаем себя.

Выхода нет. Скоро нас разоблачат и отправят снова в лагерь, откуда мы бежали. А там неминуемый расстрел. Неужели всё было напрасно? Эта мысль непереносима. Надо снова бежать, пока не поздно.

Не вернуться вечером в тюрьму, спрятаться на берегу, а ночью попытаться забраться на пароход? Не выйдет: поднимут на ноги весь город и найдут. Взять вечером лодку и уплыть? Мы никуда не уйдем: нас догонят на моторках. Всё, что ни приходит в голову, приходится отбрасывать.

Хвощинский предлагает уходить пешком. После ужина за город — и в лес. Но всюду вода. За час мы не скроемся, нагонят. Да если даже скроемся, мы не выберемся отсюда: середина августа, за месяц мы не пройдем и четверти пути. В сентябре начинаются холода, а там застанет снег — верная гибель в тайге.

Во дворе тюрьмы — крепкая клеть из дубовых брусьев. Толстая дверь окована железом, висит большой замок. Раза два, когда Федя открывал клеть при нас, мы заглянули в неё. Впереди — какое-то грязное барахло, дальше в глубине — к стенке с десяток винтовок, ящики с патронами, что-то еще, прикрытое брезентом. Наверно, это склад запасного оружия, охраняемый нашими же надзирателями.

Увидев винтовки, я подумал, что больше ничего не остается, как идти напролом. Или пан, или пропал.

Я сходил еще раз к уполномоченному. Он чуть не умолял меня найти хоть какой-нибудь документ, пусть завалящую багажную квитанцию, на которой было бы наше имя, и он отпустит нас. Но где взять эту багажную квитанцию? Сделать её тоже не из чего. Нет, надо торопиться.

Выработали план. В полночь мы выходим будто бы в уборную. Обезоруживаем надзирателя, связываем и запираем в одной из камер. Открываем клеть во дворе, вооружаемся винтовками, берем запас патронов и идем на берег. Ночью на берегу дежурит один древний старик с берданкой. Берем его с собой. Заводим самую быстроходную моторку, — о моторках мы уже всё разузнали от Феди, — приводим в негодность другие моторки, захватываем продуктов и отчаливаем от этих мест. Отъедем с десяток километров, перережем проволоку телефона, — пока схватятся и починят телефон или свяжутся по радио, мы промахнем сотни две километров. Да и вооруженных не будут рьяно ловить. А там можно выйти на берег и идти пешком: будет уже недалеко.

План отчаянный, но другого нет. Мы тщательно обдумываем его, стараемся предусмотреть любую неожиданность, — должно выйти. Хвощинский говорит: если что помешает, тогда пойдем не на берег, а прямо в лес. Настойчиво прошу забыть о лесе: должно выйти, надо положить все силы, ибо только тут спасенье. Хвощинский тоже заражается решимостью.

К концу первой недели к нам посадили воришку. Средних лет, невзрачный и апатичный, он оказался остро сообразительным: чутьем угадал, что мы не коллекторы из экспедиции, а концлагерники. Не признаваясь в этой своей догадке, он вяло говорил, как надоело ему в ссылке и хочется сделать что-то яркое, необыкновенное, — когда он говорил об этом, у него горели глаза. Мы решили его взять с собой и

накануне исполнения посвятили в свой план. Он согласился, долго не раздумывая.

Прошло уже две недели. Нечего ждать. Настала холодная погода, мы переселились в камеру с разваленной плитой, где окна были со стеклами. Припасли большой кухонный нож, черный от ржавчины. Им нельзя было бы зарезать и курченка, но выглядел он зловеще. Мы готовы. Чтобы не подводить Федора и другого симпатичного надзирателя, остановились на Кулаеве.

В половине двенадцатого, когда тюрьма и город наглухо зарылись в ватную тишину, мы попросили Кулаева выпустить нас в уборную. Ворча, он открыл дверь. Мы вышли в едва освещенный коридор, оттуда во двор, в угол, где была уборная. Там был спрятан нож. Под рубашками приготовлены полотенца, связывать Кулаева. Я взял нож, пошли назад.

Кулаев стоял к нам спиной, отпирая камеру, по тупости своей он ее запер, хотя в камере никого не оставалось. В эту минуту я занес над его лицом, из-за спины, нож:

— Не шевелись!

Кулаев замер. Выкаченными глазами он смотрел на нож. Хвощинский в миг срезал у него наган. Взмахнув наганом перед лицом Кулаева, словно чтобы показать ему, Хвощинский ткнул наганом Кулаева в бок и крикнул:

— Руки назад! Не двигаться!

Нож больше был не нужен, я кинул его в темь угла, и схватил полотенце. Вор Митя бросился связывать Кулаеву ноги.

Мы всё предусмотрели. Но этого не могли предвидеть. Кулаев завыл. Никогда ни прежде, ни после я не слышал такого воя. Я не мог себе представить, чтобы большой, сильный человек, да и вообще любой человек, мог так выть. Это был даже не вой, а пронзительный нечеловечий визг, переходивший в вой, в тонкую сверлящую струю поросячьего и вместе с тем металлического неживого визга. Визг был до того громким, что он, ввинчиваясь в уши, пронзал насквозь и,

казалось, проникал через двери и стены и разносился по всему городу.

Мы оцепенели. Хвощинский бросился к двери во двор, а я суматошно кинулся затыкать Кулаеву рот, совал ему в зубы полотенце, бормоча:

— Замолчи! Тебе ничего не будет! Мы ничего тебе не сделаем, дура, молчи! Замолчи, балда!

Взматывая головой, он искусал мне пальцы, полотенце окрасилось кровью, но я не слышал боли, я ничего не слышал, кроме звериного воя-визга, мутившего мозг.

Мы продолжали кричать, чтобы он замолчал, но он не слышал. В эти секунды мы не могли отчетливо сообразить, что Кулаев был смертельно испуган и мог только стоять столбом и выть.

Хвощинский вбегал в коридор, что-то кричал нам, размахивая зажатым в руке наганом, и опять убегал. А мы вдвоем не могли справиться с Кулаевым. Наконец, я подставил Кулаеву ногу, вцепился в него сбоку, Митя навалился спереди, — мы повалили его лицом вниз. Уткнув нос в пол, Кулаев вдруг перестал визжать. Теперь он животно икал, всхлипывал, но безумного воя больше не было. Мы крутили ему руки за спину. В полутьме всё путалось, я хватал то руки Кулаева, то Мити, а Митя мои и в суматохе мы только мешали друг другу.

Это продолжалось три-четыре минуты, а для нас прошли как будто часы и казалось, что давно весь город на ногах. Вбежал Хвощинский — с перекошенным лицом, панически крикнул:

— Кончайте, бросьте его! У ворот были трое, они побежали в милицию.

Сейчас поднимут тревогу, прибегут, перестреляют. План рухнул, надо спасаться. Митя распахнул дверь, мы приподняли Кулаева, чтобы втолкнуть в камеру, но он бросился в камеру сам. Захлопнули дверь, задвинули засов.

— Бежим! — задыхаясь, крикнул Хвощинский. С нас

лил пот, тело тряслось от борьбы и страха. Мы бросились во двор, ожидая увидеть милиционера. Но никого не было и над городом висела странная, непонятная нам тишина. Прибегут сейчас, драгоценна каждая секунда. В углу двора перемахнули через забор на соседний двор, еще забор, и мы оказались на улице позади тюрьмы. Стараясь удержаться от бега, пошли быстрым шагом. Как только вышли из города, бросились бежать.

Мы бежали до утра. Задохнувшись, сваливались в мокрую траву, лежали, поднимались и опять бежали дальше, по лужам и болотам, напрямик. Когда выдохлись, уже не могли бежать, а только ковыляли, нам казалось, что мы всё еще бежим. Надо было бежать, чтобы уйти как можно дальше.

Мы и ушли далеко. Но мы никуда не могли уйти..

Капитулируем

Уже во время этого бегства из города я знал, что мы не уйдем. Я об этом не думал и вообще ничего не соображал, под властью одного чувства: уйти от непосредственной опасности. Но глубоко в душе было горькое, травившее сознание чувство: это наше бегство — только отчаяние. Надежды больше нет, и дело наше конченное. Впервые со дня, когда мы ушли из лагеря, пути вперед были отрезаны. Мы могли идти, сколько угодно, но никуда мы не придем. Духом мы уже капитулировали.

И зная, что никуда не уйдем, мы упрямо шли. Продирались сквозь лес и кустарники, болота и озера, переправлялись через протоки, уходя далеко в стороны и возвращаясь назад, туда, где тянулась проволока телефона. Это теперь был наш единственный ориентир. Но проволока тянулась прямо через болота и озера, нам приходилось их обходить. За сутки мы делали по сорок-пятьдесят километров, — сколько выходило по прямой? Мы знали, что мало. Чтобы уйти, надо пройти почти тысячу километров. А август идет к концу.

Погода переменилась, без остановки шел холодный дождь,

то мелкий и нудный, то ливший ливнем. На нас одни рубашки и ни одной сухой нитки. Сапоги разваливались, Митя шел в опорках — от них остались ошметки. Не было спичек, чтобы развести костер, обсушиться, обогреться.

На ночлег забирались под разлапистые ели. Дождь туда не проникал, но всё равно было сыро и холодно. Сбивались в кучу, грея друг друга собственными телами. Делали, как урки: надевали рубашки не в рукава, а чтобы ворот оставался над головой, и застегивали его там. Свернувшись в клубок и надышав под рубашкой, мы согревали так ночью спину и грудь.

Не было ни хлеба, ни табаку. Мы питались ягодами. Черники, голубики, смородины, морошки, малины было так много, что на остановке за четверть часа мы наедались ягод до отвращения. Голода не было.

На горельниках красные от ягод кусты малинника закрывали нас с головой. Малинник уходил на километры. Собирая ягоды в одном таком малиннике, мы однажды услышали впереди треск и шорох. Затаив дыхание, раздвинули кусты — недалеко на полянке на задних ногах стоял громадный медведь, передними лапами он сгребал кусты с ягодами и отправлял в пасть. На морде было написано наслаждение.

Но ничто не занимало, всё скользило мимо сознания. Оно мутилось от отчаяния. Мы шли молча, не о чем было говорить. Митя приставал к Хвощинскому: кого он видел у ворот? Хвощинский путался. Один раз сказал, что трое, в другой, что двое, в третий, что он не разобрал. Митя смотрел на него с презрением.

И Мите, и мне было почти ясно: у ворот никого не было. У Хвощинского сдали нервы. Чтобы прекратить визг и возню с Кулаевым, он обманул нас. Не выдержал пяти минут и заставил уйти в лес, как предлагал прежде. Заставил сорвать весь план, сорвал всё наше дело. И теперь мы должны итти, зная, что никуда не уйдем.

Безнадежность стала еще очевиднее. Без веры друг в

друга, без веры в успех, с этой едкой горечью в душе, — что остается нам?

На шестой день дождь перестал. Небо очистилось и солнце, как в утешение, согрело нас. Мы высохли и долго лежали на пригорке, зная, что спешить некуда. Во второй половине дня шли кустарником, путаясь в черничных зарослях. И вдруг вышли на поляну, полную женщин. Это было так неожиданно, что мы остановились. Женщины, с лукошками, поднялись от ягод и смотрели на нас со страхом и недоумением. Из-за кустов вышел высокий, степенный, бородатый крестьянин. Спокойно и негромко сказал женщинам:

— Чего стали? Ступайте, нечего смотреть.

Пугливо озираясь, женщины покорно ушли в кусты. Крестьянин повернулся к нам.

За кустом лежало обомшелое дерево, мы сели. Крестьянин ничего не спрашивал. По лицу его было видно, он знал, кто мы. Он достал кисет, протянул нам. Мы закурили, первый раз за шесть дней.

Крестьянин молчал, спокойно посматривал на нас. В его взгляде не было ни вражды, ни сочувствия. Может быть, сочувствие скрывалось за плотной пеленой спокойствия, слишком большого, чтобы оно могло ободрить и обнадежить. Такой взгляд мог только говорить: «Я — душой с вами, но дело ваше проигранное».

Спросили, где их деревня. Она была рядом, налево за кустарником. Крестьянин назвал деревню — всего километров тридцать от города. За шесть дней мы сделали километров двести с лишним.

Женщины — больше спецпереселенки, есть и местные. Он тоже спецпереселенец, привезли летом. Раскулачили еще в прошлом году.

Крестьянин пошарил в траве за бревном, вытащил котомку, из нее большой кусок пирога с ягодами. Мы разделили пирог и съели. Предложил нам табаку. Завернули в запас по папироске, взяли у него спички, поблагодарили. Больше он

ничего не мог сделать для нас. Попрощались и пошли дальше. Он провожал взглядом, тем же спокойным, говорившим, что ничего не изменить и что мы обречены.

Мы знали это. Женщин было не меньше пятнадцати, — невозможно предположить, чтобы ни одна не проговорилась. Через час вся деревня будет знать.

Но и не было желания сопротивляться, уходить от неминуемого: мы всё равно проиграли. Минутами еще вспыхивало беспокойство и хотелось уйти — желание гасилось сознанием безнадежности.

Вечером вышли к озеру. Обходя, вышли к перешейку, за ним начиналось другое большое озеро. Другой дороги нет. И как только пошли по перешейку, возникло тягостное, тоскливое чувство: на этой дороге ничто хорошее нас не ждет.

В конце перешейка из кустов вышли крестьяне-охотники, с винчестерами в руках. Их было человек десять. Хвощинский бросил им наган, они окружили нас и повели.

Ночь провели в пустой избе, лежали, дремали на полу. На лавках у двери дежурили вооруженные крестьяне. Они принесли хлеба, рыбы, молока. У них тоже не было к нам никакой вражды, они выполняли приказ.

Рано утром на трех лодках нас повезли в город. К вечеру мы вошли в знакомую тюрьму.

Снова за решеткой

Тюрьма встретила взволнованным гулом. Три камеры были набиты битком, только четвертую держали свободной, для нас. Наш побег всполошил край. Уполномоченного НКВД сняли и отозвали в центр округа, новый первым делом согнал в тюрьму около сотни ссыльных, воров. Они встретили нас восторженно: для этой бесшабашной публики мы были героями. Днем они работали, многие на пристани, — придя с работы, они совали нам в окно или в окошечко в двери хлеб, масло, колбасу, что сумели на пристани стащить.

От них мы узнали, что тревогу после нашего бегства под-

няли только утром. Надзиратель Федя, придя сменять Кулаева, оборвал звонок у ворот и не дозвонился. Федя перелез через забор, вошел в коридор, нашел на полу ключи, открыл камеру — и увидел Кулаева. Он всю ночь просидел за плитой, у него было нервное расстройство.

Я окончательно перечеркнул Хвощинского. Этот человек для меня мог больше не существовать...

Кулаев ненавидел нас смертельной ненавистью. Два раза ночью он совал в окошечко нашей камеры наган. Стрелять ему не позволяло, наверно, благоразумие. Федя посуровел, но нечаянно взглядывал так, как будто хотел сочувственно подмигнуть. Третий стал замкнутым и недоступным.

За нашим окном стоял часовой с винтовкой. Но всё это было мелочью, по сравнению с нашим крахом. Впереди теперь всё ясно. Концлагерь и расстрел. Этого не избежишь и ничего не поправишь. Всё упущено, ничего не вернешь и не повторишь. Бежать с дороги? Но с дороги почти нельзя бежать. И это «почти» такое ничтожное, что его надо скинуть со счета.

Холодно, мы мерзли на голых нарах. Принесли со двора кучу гнилых сетей, на которых летом играли в карты с Федором. Часть постелили, частью укрывались, — сети как будто бы грели.

Уполномоченный не вызывал. Незачем: через пять дней нас вывели, посадили на пароход и повезли. Мы ехали туда, куда и хотели. Но ехали на середине палубы позади трубы, где, как для зверей, было огороженное решетками помещение. Везли на следствие человек пятьдесят ссыльных, среди них были и мы.

Опять могучая река, плывут мимо редкие селения. Тут должны были бы мы идти. Дней через пять свернули в такой же полноводный приток, остановились у большого села, центра округа. На пристани — энкаведист и два красноармейца. За нами.

Хвощинского и меня ссадили и повели в НКВД. Митя

поехал дальше, у него другая дорога. Во дворе двухэтажного дома — еще высокий забор, за ним тюрьма. Длинное, приземистое, из толстенных бревен здание, раньше, наверно, склад или баня. Наверху в стенах прорублены окошки-щелки, забранные решетками. Вокруг ходят часовые. Внутри — широкий коридор, по обе стороны много дверей в камеры-чуланы. В одном из них мы провели ночь. Один спал на узкой койке, другой под койкой: больше места в чулане не было.

Утром перевели в общую камеру: метра два с половиной ширины, метра четыре в длину. Двойные нары. Нас — восемнадцать человек. Днем сидели на нарах, ночью часть забивалась под нижние нары. А один — день и ночь сидел в узком проходе, на своих вещах.

Сокамерники были крестьянами из большого села неподалеку. Их недавно раскулачили, но не выселяли, и они еще жили в родном селе. Потом обвинили в том, что они готовили вооруженное восстание. Взяли человек двести, эти, что сидели с нами, считались главарями. А сидевший в проходе седой тщедушный старичек, ссыльный профессор духовной академии, был признан их идейным руководителем.

Крестьяне отнеслись к нам внешне спокойно, а внутренне настороженно: мы были слишком чужды им. Может быть, они подозревали, что мы подсажены к ним, хотя мы ни о чем их не расспрашивали. Занятые своим горем, мы молчали; крестьяне, молодые и старые, бородатые и еще безусые, молчали тоже, нахмуренно и угрюмо. За день в камере не произносилось и десятка слов.

В первые дни мучила жара: неожиданно вернулись теплые дни. От параши несло вонью, мы задыхались в спертом воздухе. Раздевались почти до гола, обливаясь потом. Только ночью, когда все лежали без движения, из окна тянуло прохладой.

Мучил голод. Утром давали триста граммов хлеба-замазки, два раза приварок — приварок был тонким издеватель-

ством. В обед — консервная баночка чистой горячей воды, — но это была не вода. Это была настоящая, жирная уха. Мы выпивали ее, чуть не стеная от жадности и наслаждения. На второе — половина рыбьей головы, сваренной в этой ухе. Мы обгладывали каждую косточку.

В селе был консервный завод — рыбьи головы, от метровых осетров, язей, нельмы, максуна консервный завод сдавал НКВД для кормежки нас. Головы варили, заправляя воду одной солью, — всё равно получалась умопомрачительная уха, от одного запаха её с кухни, перед обедом, у нас сводило скулы.

Крестьяне ели не спеша, размачивая в ухе сухари. В камере было тесно не от одних людей, а и от мешков: у каждого крестьянина — мешки с сухарями, хлебом, шаньгами. А мы проглатывали уху и рыбьи головы, в обед и вечером, в мгновение. После всего пережитого, у нас появился волчий аппетит. И мы ложились, закрыв глаза, чтобы не видеть, как крестьяне продолжают есть.

От мешков тянуло плесенью. Хлеб у крестьян портился, то один, то другой выбрасывал в парашу зеленые, уже в трухе, куски. Но ни один не предложил нам ни крошки. Они видели, что нас сводит от голода — ни один не помог. И казалось, что в камере душно по особому, — еще и от тяжелой крестьянской жадности, усугубленной жадностью тюремной. В тюрьме, занятый собой, своим спасеньем, человек может быть особенно жесток.

Не помогали крестьяне и старичку-профессору, у которого не было мешков, хотя они его хорошо знали: он три года прожил в их селе. Тоже страдая от голода, старичок кротко улыбался и целыми днями читал книжечку в черном переплете — евангелие.

Хвощинский не выдержал пытки голодом и взбунтовался. В одну из ночей он полез под нары и набрал из мешков за пазуху сухарей. Мы осторожно сосали их, чтобы не услышали лежавшие рядом собственники.

Дня через два после приезда, по одному, вызвал уполномоченный. Этот оказался деловым человеком. Выслушав начало нашей легенды, он усмехнулся:

— Как хотите. У нас есть время. Сидите, пока мы не узнаем...

Скоро крестьян куда-то отправили. Суматошась, они вышли, может быть в свой последний земной путь.

Тюрьма опустела: остались только Хвощинский и я. Некому было варить уху, — Хвощинского перевели на кухню, поваром, он и жил там. Я сидел один и замерзал: на дворе лужи уже сковывало льдом, а стекол в окне не было.

Я не долго мерз один: привели лохматого, взъерошенного человечка, старика лет шестидесяти. Войдя в камеру, он длинно и смачно выругался, деловито расстелил на нарах полушубок, положил в головы остальное свое барахлишко и завалился спать, чувствуя себя, как дома. Он и был дома. Он оказался давним испытанным вором, с более чем сорокалетним стажем. Он воровал всю свою сознательную жизнь, сидел еще в царских тюрьмах. Их он вспоминал с нежностью. К нынешним относился с ярым презрением, милицию и НКВД он ненавидел, как только мог. Он не умел связно говорить и, пересыпая свою речь ругательствами, вздорно перескакивал с одного на другое. У него не было никакой дисциплины. Но были крепкие убеждения, о чем он и не подозревал. Это был законченный, крайний индивидуалист, не признававший зависимости и подчинения. Он не желал знать законов, обычаев, правил и хотел жить только так, как хочет он сам. Еще юношей, рабочим, он порвал со своей средой и стал воровать, чтобы жить по своей воле. С тех пор большую часть жизни он провел в тюрьмах, но считал, что жил хорошо. В общем, он был доволен судьбой.

Не подозревал он и о том, что до конца вырваться из человеческих установлений он не мог. У него была одна страсть — к семье, хотя и своеобразная. Выйдя из очередной тюрьмы, он находил себе жену и создавал семью. Если

не попадался два-три-четыре года, плодил детей и превращался в заботливого мужа и отца, стараясь воровать больше, чтобы обеспечить семье сытую жизнь. Эта забота приводила его опять в тюрьму. Отсидев положенное, он возвращался к семье, а если нельзя было, в другом городе заводил новую. У него по России было раскидано с десяток жен и много детей, — сколько, он и сам не знал. Но любви к женщинам он не испытывал и относился к ним сурово и пренебрежительно, как к низшим существам. Так уж положено, считал он, чтобы у мужчины была жена, дети, семья, — и он упрямо старался жить так, как, по его чувству, надлежало жить мужчине.

С ним было не плохо сидеть. Признавая одного себя, вместе с тем он не ценил земных благ. Он охотно делился табаком, половину принесенного с собой хлеба отдал мне. Дал он мне и тонкий полотняный парус. Я подстилал часть паруса, частью укрывался с головой — от моего дыхания в парусе становилось тепло.

Бунтовщик по природе, он не стерпел кормления ухой. Получив консервную баночку, он выплеснул содержимое на пол и матерно изругал коменданта. После этого Хвощинскому дали ячменную сечку — теперь мы наедались размазней из сечки.

Попал вор в эту тюрьму из-за неукротимой любви к воле. Его привезли в ссылку. Он огляделся, приготовился, украл лодку и поплыл по реке вверх, туда, откуда его привезли. Ночью плыл, днем спал, заведя лодку в укрытое место. Стало холодно, боясь, что застрянет, он заторопился, плыл и при свете — и поплатился за спешку: его заметили, задержали и привели к нам. Через неделю его вызвали с вещами. Он собрался, взял и парус, попрощался и ушел, кляня порядки: даже не знаешь, куда тебя ведут.

Без паруса я окоченел. На дворе уже порхали белые мухи, они залетали и ко мне в камеру. Я показал на них коменданту. Он молча посмотрел на меня и вышел. Через

несколько минут вернулся и бросил на нары длинный полушубок. На плечах и на спине — подозрительные рыжие пятна. Наверно крестьянина, владельца этого полушубка, расстреляли пулей в затылок тут, рядом, в подвале двухэтажного дома НКВД. Теперь полушубок — мой, он должен греть меня.

Скоро встанет река, а мы всё сидим. Неужели останемся и на зиму? Нет, не останемся. Вызвал уполномоченный и весело сказал:

— Хватит, товарищ Андреев. Нам всё ясно... — и подробно рассказал, кто мы и откуда.

Ночью отвели на пристань и посадили на пароход. Опять плывем туда, куда хотели. Но опять — под охраной...

Прошли еще две тюрьмы, для нас пересылки. В длинной цепи пройденных тогда тюрем одна запомнилась разве только тем, что после таежных была она первой старой, проплесневевшей каменной тюрьмой в древнем русском городе. Через нее когда-то прошли еще декабристы. В другой коридорный рассказал: в камере, где сидели мы, за несколько дней перед нами была Каплан, эсэрка, в начале революции стрелявшая в Ленина. Её провезли куда-то в ссылку, после одиннадцати или двенадцати лет в Бутырках.

Это и всё, что запомнилось об этих двух тюрьмах. Я не мог бы, выйдя из них, представить даже их внешнего облика, так много было тогда тюрем на моем невольном пути. И так мало мы замечали проходившее мимо. Мы как бы одеревенели и ничего не могли замечать. В тупом нашем равнодушии к окружающему, да и к нам самим, к тому, что мы делали сами и что делали с нами, ко всем опросам и обыскам в каждой тюрьме, только где-то в самой затаенной глубине души ворочалось тяжкое, неподъемное: нас везут, мы всё дальше и дальше — и всё ближе и ближе к концу. И мы ничего с этим не можем сделать, никак не можем противостоять... Это единственное, что было в нас и что представлялось единственной реальностью, даже не было отчаянием.

А если это было отчаяние, то оно потеряло способность гореть и действовать: это могло быть только отчаяние обреченности, ставшее покорным. Наверно так себя чувствует скот, загоняемый в ворота бойни...

Со второй пересылкой кончилось путешествие по реке. На пристани мы увидели рельсы. Я смотрел на них, завороженный стальными полосами. Я видел их и в камере. В мозгу отпечаталась путаная сетка полос, по всей стране, по запомнившейся с детства карте. И среди этой сетки — длинная изломанная жирная линия, по которой нас повезут.

Вывели ночью, человек тридцать. Кутаясь в рваньё, люди закрываются от пронизывающего ветра. Мерзлую землю хлещет косыми лентами влажный снег. В неверно мотающемся свете тусклых фонарей насупленно смотрят спящие дома. Где-то на товарном дворе конвой приказал сесть на землю. Понуро сидим среди стальных колей, сбившись в кучу. Маячат фигуры конвойных, с иглами штыков над головой. Вздыхая и негромко погромыхивая вагонами, паровоз подтолкнул к нам столыпинский вагон. Цепляясь за высокие подножки и поручни, влезли внутрь — тепло и просторно. Разместились по клеткам. Паровоз потащил в одну сторону, в другую, ткнул к пассажирскому поезду. Вспыхнул электрический свет. И что-то изменилось.

Свет был жидким и в этом арестантском вагоне сквозь острый запах карболки пробивался неуничтожимый дух тысяч и тысяч перевезенных до нас людей, тяжелый и гнетущий дух терпкого человеческого горя и грязных тел, — а во мне рождалось какое-то светлое, обнадеживающее, бодрящее чувство. Что это было, я не знаю, я сам словно с тревожным любопытством присматривался к нему и не мог его определить, — но не было ли это чувство почти освобождения? Может быть, потому, что кончились скитания по глухомани и всё, что было, бесповоротно осталось позади, а впереди будто могло быть что-то новое, — не от этого ли родилось это смутное, сбивчивое, неясное, но всё же радостное

чувство? И хотя я знал, что впереди нет ничего отрадного, впереди концлагерь и расстрел, вера в концлагерь и расстрел, какими бы неизбежными они ни оставались, словно растворялась, улетучивалась и переставала существовать. Может, в самом деле помогали стены вагона, как стены дома, в котором долго живешь, и они рождали и подталкивали это уродливое, непонятное чувство освобождения за решеткой и штыком конвойного? Но как бы то ни было, это чувство возникло и оно уверенно пробивалось вверх, сминая тьму покорной обреченности.

Решетка и штык — рядом. В нашей клетке пятеро, я забрался на верхнюю полку, где еще теплее и откуда лучше смотреть на свет. Я смотрел через решетку, позади — сплошная стена, передо мной, через проход за решеткой, — окно, тоже с частым железным переплетом. В проходе, чуть ниже моих глаз, поблескивает штык конвойного. Но я не замечаю их, решетка и штык для меня не существуют. Есть только чувство, откуда-то возникшее минуту назад.

Лязгая и громыхая, поезд летит сквозь ночь. Воет и свищет ветер, к черному окну лепится снег. Вагон мотает, после таежной неторопливости кажется, что мы несемся с головокружительной быстротой. Наверно колеса отрываются от рельс, мы летим вперед и ни буря, ни метель, ни неизвестность или известность того, что ждет, не остановит нас. Я пьянею от этого полета, в котором теперь у меня всё. Только в движении, только в полете вперед вся жизнь, всё будущее.

Мне инстинктивно хочется открыть окно, высунуться в ветер и снег. И крикнуть паровозу, как живому, как самому надежному другу-сообщнику: «Давай, милый, жми, вперед!» И сидя на верхней полке за решеткой, над штыком конвойного, закрыв глаза и улыбаясь блаженству полёта, я мысленно высовываюсь в окно и кричу:

— Вперед, вперед!..

Г. Андреев.

ИГРА*

I

Бычков вышел из клуба на залитые красноватым светом Большие Бульвары и, как всегда, долго не мог сообразить — направо или налево находится площадь Оперы. На одно мгновение это умственное усилие вывело его из того оцепенения, в котором он пребывал всё это время, когда машинально принимал от швейцара пальто, шляпу и трость и удивлялся, за что его благодарят, не замечая того, что его рука уже протянула швейцару монету, взялась за ручку дверцы и порылась потом в кармане, чтобы вынуть портсигар.

Он шел с портсигаром в руке, не зная, что с ним делать, и только теперь, вспомнив, закурил папиросу.

Да, как это было? Он метал банк и выигрывал, выигрывал без конца... У него накопилось около десяти тысяч, а пришел он в клуб с двумя тысячами... Потом он пересел к другому столу, где игра шла покрупнее, и в полчаса проиграл всё — глупо, неразумно, заранее зная, что ставка будет бита, находясь уже в том трансе обреченности, из которого не в состоянии выбраться ни один игрок.

Освещенные витрины магазинов выбрасывали на тротуары снопы света различных оттенков. Бычков шел, окрашиваясь то в красные, то в синие тона, стараясь не заглядывать в витрины, которые вызывали в нем почти тошнотворное чувство. Из витрин с упреком на него смотрели манекены в модных костюмах, магазины дорожных вещей соблазняли добротностью кожаных чемоданов; бюро путешествий дразнили видами экзотических стран.

Он свернул в первую попавшуюся улицу и, почти тот-

---

* Отрывок из романа.

час же, набрел на кафэ. Он сел за столик, потребовал черного кофе с ромом и, на одно мгновение, почувствовал облегчение. Что же случилось особенного? Он никого не убивал, он только растратил доверенные ему деньги. Он может спокойно пить кофе и курить папиросы, — у него есть еще время подумать, как поступить дальше. Сейчас, вот в эти мгновения, в его судьбе еще не могли произойти перемены. Были бы у него все три тысячи в кармане, он так же мог бы сидеть в кафэ и курить папиросу за папиросой. Но — завтра, но — послезавтра... вот где таилась его судьба! Время настигнет его, опередит все его планы и сразу неукоснительно поставит перед труднейшей задачей — достать, во что бы то ни стало, деньги, иначе — позор, позор! И вдруг он испытал глубокий стыд. Он вспомнил улыбающееся лицо своего патрона, который ему верил, он представил поочередно лица тех своих друзей, к которым завтра же обратится за помощью. Ему дадут деньги, он пополнит растрату... И он тут же дал себе слово, что поступит честно, будет откладывать ежемесячно, чтобы заплатить долги, играть не станет. Боже сохрани! И от прилива благородных чувств, им снова овладела энергия. Но это длилось недолго. Внезапная усталость, соединенная с жалостью к самому себе, расслабила его тело. Ах, если бы можно было не лгать, а просто пожаловаться кому-нибудь, чтоб его пожалели, посочувствовали, поддержали его угасающую волю. И ему показалось таким естественным, что друзья его поддержат, не могут не поддержать, — что он почти уже не испытывал тоски. Ну, проиграл — проиграл. Деньги — дело наживное. При его двухтысячном жалованьи он в несколько месяцев управится с долгами. Вдруг воспоминание о приготовленной постели в его гостиничной комнате согрело его, — заснуть, скорее заснуть, — вот ведь еще остался в его распоряжении выбор приятных переживаний. Он почувствовал нечто вроде дружбы и нежности ко сну, точно сон был неким живым существом, поджидавшим его у изголовья постели...

Он расплатился с гарсоном с поспешностью человека опаздывающего на поезд и, деловитой походкой, широко размахивая тростью, зашагал по ночным спокойным улицам Парижа.

II

Утро — самое тяжелое время переживаний. Отдохнувший за ночь мозг не приемлет никаких сделок с совестью. Утро пьяницы — детская забава по сравнению с тоской проигравшегося игрока. Это по утрам человек заряжается как механизм, чтобы двигаться и что-то затевать, куда-то спешить, — словом, разматывает сложный клубок различных обязанностей, из которых складывается день.

И никто так остро не сознает некужности и призрачной важности этого заведенного механизма городской жизни, как проигравшийся игрок. Он знает, что цена всех этих усилий, проявляемых за целый день, становится грошовой за карточным столом. Одно движение руки, сдающей карты, то сводит насмарку целый месяц затраченной энергии, то наоборот, в одну минуту, накапливает два месяца энергии и потом снова уничтожает и вновь возвращает, постоянно делая вызов этой уравномеренной, упорядоченной моралью и добродетелью, человеческой жизни.

Эти мысли, сопровождаемые грохотом проснувшейся улицы, ядовито сверлили в мозгу Бычкова, и вот почему он медлил сделать те первые движения — откинуть одеяло и спустить ноги на пол — которые станут первыми звеньями той тяжелой цепи, которую ему придется разворачивать сегодня: встреча с улыбающимся патроном (фу, хоть бы он не улыбался!), звонки по телефону, просительный голос, ежеминутная боязнь случайного промаха, грозящего раскрыть его растрату. О, это утро, когда мозг начинает проекцию наступающего дня! Не остановишь времени. Вот уже стрелка успела передвинуться на десять минут, а надо еще и бриться и искать запонки, словом, предаться тем мелочам, которые

в другие утра казались такими уютными, домашними, а теперь только подчеркивали его тоску, как туалет осужденного — перед казнью.

Бычков уже стоял, одетый, перед зеркалом и с ненавистью обращался теперь со щеткой, с мазью для ботинок, — всё это были заговорщики, чтобы потом его, вымытого, выбритого, одетого и начищенного, выбросить дальше, сдать в метро, из метро — в контору, в объятия всё того же улыбающегося патрона.

Бычков пришел в контору типографии как всегда, раньше других. Пожилой уборщик Ренэ собирал свой скарб, щетки и тряпки и, уходя, как-то бочком, не глядя в лицо Бычкову, буркнул «Bonjour!». Бычкова не раз раздражало, что уборщик не особенно почтительно здоровался с ним, и он всё собирался сделать ему замечание, но ему всегда было или некогда, или неохота, хотя бы на одну минуту, испытать раздражение. Сослуживцы передавали, что этот Ренэ держит себя независимо, потому что у него есть рента. Бычков почему то вспомнил теперь об этом и, безотчетно отдаваясь каким-то смутным соображениям, ответил на приветствие уборщика ласково:

— Bonjour, René, ça va?

— Eh bien, ça va, merci!

— Послушайте, мсье Ренэ, у меня к вам есть дело.

Ренэ не произнес ни слова.

— У меня к вам дело, — начал Бычков: — Хотите заработать триста франков?

Уборщик повернулся, недоумевая.

— Ну да, триста франков. У меня есть знакомый господин, которому спешно нужны три тысячи. Этот господин готов уплатить триста франков процентов тому, кто ему ссудит эту сумму всего на два месяца. Я подумал о вас, Ренэ. Вижу, симпатичный работник, почему не дать заработать своему уборщику. Можно даже заработать и пятьсот.

Ренэ, против ожидания, вышел в коридор, осмотрелся, потом вернулся и сказал:

— А у этого господина есть гарантия? Понимаете, существенная гарантия. У меня, видите ли, денег нет, но я могу достать.

Бычков задумался.

— А что вас может интересовать? Какого рода гарантия?

— Драгоценности. Бриллианты, золото, а?

— Под бриллианты и в ломбарде дадут, да еще с пустяковыми процентами. Нет, деньги нужны человеку, у которого драгоценностей нет, но зато есть обеспеченное место. Если хотите, я даже могу поручиться за него. Это мой приятель.

— Да, если с поручительством... Это, пожалуй, надо обдумать. Я повторяю, что денег у меня нет, мне надо еще достать. Могу дать ответ через два дня.

«Этот даст», решил про себя Бычков, «да, этот, никто иной». Как это удачно вышло, что так, не подготовившись, он затеял разговор. Если бы он обдумывал долго, как начать, да как уговорить, ему, как всегда, представилась бы заранее кислая улыбка отказа, а что может быть хуже этой боязни отказа, передающейся немедленно собеседнику и портящей дело. Ренэ был для Бычкова человеком, перед которым не пришлось внутренно съеживаться, унижаться и даже подличать, что бывает неизменно даже в разговоре с лучшими друзьями.

«Ничего, вывернемся», подумал бодро Бычков, ощущая передышку. Он раскрыл папку с делами, составляя в уме план предстоящей работы, когда в кабинет его, постучавшись, вошел типографский мальчик.

— Вас просит патрон.

— Передай, что сейчас приду, — ответил Бычков. Мысль лихорадочно заработала. «Чем скорее, тем лучше, — подумал он: — дело обстоит так. Три тысячи франков, выданные на покупку бумаги, он уплатил, но счета не получил, т. к.

стоимость бумаги превышает эту сумму. Счёт будет прислан вместе с заказанной бумагой. А бумага будет доставлена... Да, когда будет доставлена бумага... Завтра — праздник (вот и один день выгадываю). Послезавтра — суббота. Ага! В понедельник!».

Бычков почти с веселостью вошел в кабинет патрона.

Директор против обыкновения был мрачен. Он даже не привстал с кресла и сухо поздоровавшись (как сильно забилось сердце Бычкова приготовившегося к самому худшему) сказал:

— Садитесь. Мне нужно серьезно поговорить с вами.

Бычков сел — или нет, его тело рухнуло в кресло, а сам он, его мысли, готовые к отпору, стояли стоймя.

— Дело вот в чем, господин Бычков, я вчера проверял ведомости поступаемой и израсходованной бумаги и нашел, что количество использованной бумаги не совпадает с количеством выданной со склада. Заведующий складом, мсье Колчаков, был рекомендован вами. Я боюсь подозревать вашего протеже, но он мне, скажу откровенно, не нравится. У меня уже был такой случай, вы ведь знаете. Предшественник Колчакова продавал бумагу и был уличен в этом. Я не хочу, чтоб история повторялась. Я вас вызвал, чтоб вы выяснили сами, в чем там дело, да построже обошлись бы с этим молодым человеком. Чего вы улыбаетесь?

— Я улыбаюсь тому, — ответил Бычков, растягивая слова, так как одновременно с его речью в мозгу его нарастал другой пласт соображений (Спасен! Спасен! Не плошай только!) — Я улыбаюсь вашей снисходительности. Могу вас заверить, что сегодня же мой протеже даст мне полный отчет, если здесь имеет место злоупотребление.

— Да, вот именно! Вы ведь знаете, я терпеть не могу расстраиваться по пустякам.

Директор снова стал вчерашний, всегдашний, на его лице появилась его знаменитая улыбка, и тут только Бычков

заметил, что директор был без своих роговых очков и щурился.

— Представьте, разбил свои очки, — добродушно сказал директор. — Придется покупать новые. Какая жалость!

Бычкову стало физически тепло от этих слов. Чтобы поддержать этот домашний разговор, такой далекий от того, который мог бы произойти, он поддакнул и сам застыдился глупости своей фразы:

— Да, один мой знакомый тоже разбил свои очки.... То есть не разбил, а забыл...

— Что забыл?

— Очки. Он забыл, что оставил очки на подоконнике, положил на очки бумагу и разбил их.

— Да, кстати о бумаге. Вы заказали бумагу?

— Заказал, — быстро ответил Бычков и весь насторожился.

— Хорошо. Итак, значит, вы поговорите с Колчаковым и потом доложите мне. А сейчас можете итти. Да, чтоб не забыть. Не пускайте в машину каталога «Дубовой Мебели» пока не получите сполна по счёту, а то опять будет задержка. Или еще лучше, поезжайте-ка, дружище, сами. Ивонн вам настукает фактуру — там с них около пяти тысяч следует, получите деньги сегодня же, этак немножко спокойнее. До свиданья.

Бычков вышел из кабинета директора, испытывая смешанные чувства: с одной стороны всё, как будто бы, сошло благополучно, но вместе с тем, что-то его тяготило, что-то в конце разговора ударило его предчувствием новой беды, — ах да, это новое поручение с деньгами. Неужели будет так, как на одно мгновение он уже себе представил: вот он получает деньги, заезжает в клуб и... Воспоминание о зеленом столе, о том, что в его руках будет машинка с картами, которые он будет сдавать, заставило его задрожать... Да, он закладывает в банк триста франков, побивает четыре раза, выигрывает последовательно триста... шестьсот... тысячу с

лишним — до четырех тысяч франков — и с этими деньгами уходит. Растрата будет покрыта, и он больше никогда, никогда не возьмется за карты.

Идя по коридору, он наткнулся на машинистку Ивонн, которую попросил зайти к нему, как только она освободится, а тем временем, вызвал из нижнего этажа Колчакова.

Колчаков, юноша лет двадцати двух, с красивым профилем, явился тотчас же и на его лице Бычков прочел смесь разнородных выражений — от готовности беззастенчиво лгать до полного признания в своих грехах, — в зависимости от обстоятельств. (Ну, вот как я перед директором, — неприятно кольнуло его в сердце).

— Садитесь, Колчаков, — произнес нарочито сухо Бычков, повторяя, и при этом испытывая острое удовольствие, фразу директора, только что обращенную к нему самому: — мне надо с вами серьезно поговорить.

Колчаков не двинулся. «Этот выдержит, — подумал он — готов ко всему».

— Скажите пожалуйста, Колчаков, почему вы подводите меня? Что это всё значит? У вас бумага со склада куда-то утекает.

Колчаков весь передернулся от желания искреннего признания, но овладев собой, тихо сказал:

— Я вас не понимаю, Андрей Иванович. Тут, очевидно, какое-то недоразумение. У меня всё в порядке.

— Бросьте этот тон, — устало произнес Бычков, — мне только что директор говорил о вас...

— Директор? — встрепенулся Колчаков, — что же он говорил?

— Он вас подозревает и прочее. В чем дело? Ну, говорите же просто.

Колчаков молчал.

— Женщины? — с надеждой спросил Бычков.

Тот мотнул головой.

— Пьете?

Тот же ответ.

— Неужели карты?

— Да.

— Плохо. Бумагу продаете.

Видно было, что в бедном юноше происходила борьба: верить ли искренности Андрея Ивановича, или нет? Но Андрей Иванович, весь преисполненный любовью к юноше, опять-таки потому, что на его месте видел самого себя перед директором, встал из-за стола и, подойдя к Колчакову, сказал:

— Послушайте. Не делайте больше этого! Пополните недостающую бумагу — я за вас заплачу. Сколько вам нужно, чтобы всё было в порядке?

— Много, — не веря своим ушам, со слезами в голосе, произнес Колчаков, — восемьсот франков.

— Ладно. Завтра всё будет устроено, — твердо, еще не зная сам как он это сделает, ответил Андрей Иванович.

Колчаков чуть не бросился на шею своему спасителю, но в это время, постучавшись, вошла Ивонн.

IV

В половине третьего, с фактурой в руках и с бьющимся сердцем, Бычков получал деньги из окошечка кассира известной в Париже мебельной фабрики, а через полчаса с четырьмя с половиной тысячами в кармане, уже стоял в игорном зале клуба, за спинами толпившихся вокруг зеленого стола игроков.

«Что я делаю, — думал он, — ведь это гибель. Уйти, уйти сейчас же. Вот есть еще время... вот закурить папиросу, незаметно пробраться в гардеробную, взять трость и шляпу...»

Он уже сделал движение, но незаметно следивший за ним господин, с профессиональной прозорливостью угадавший его намерения, как бы невзначай преградил ему дорогу, оттиснул снова к столу, переглянулся с кем надо, да так быстро и незаметно, что тотчас же, совершенно случайным якобы обра-

зом, освободилось место за столом, — и вот уже Бычков сидел в мягком удобном кресле, а лакей в ливрее подчищал щеткой зеленое сукно.

«Ловко всё это у них подстроено», успел подумать Бычкво — и по какой-то, вдруг наступившей тишине, угадав, что надо понтировать, поставил перед собой пятьсот франков — и выиграл.

Не прошло и четверти часа, как перед Бычковым уже лежала куча выигранных жетонов. Не подсчитывая их, а какой-то тайной, одним игрокам доступной арифметикой, Бычков знал, что был в выигрыше столько-то. «Вот бы встать сейчас, подумал он, ведь до трех тысяч растраченных денег нехватает какой-то тысячи, которую я всегда могу достать и пополнить растрату. А то ведь рискую и сегодняшними деньгами. Ну что тебе мешает встать?»

И он встал и вышел в бар. Знакомый барман, лицо которого менялось с удивительной быстротой, то выражая угодливость, то окаменелость, в зависимости от удачи или неудачи игрока, — уже наливал Бычкову двойную рюмку коньяка.

— Vous êtes en forme, colonel! — лебезил барман, отлично осведомленный о бывшей военной карьере Бычкова. Ну, а чины барман раздавал, в зависимости от того, везло Бычкову или нет.

Как всегда, около Андрея столпились приятели. Он угощал, с отвращением выслушивая похвалы его смелости. В особенности старался г-н Пьер, русский, бывший помещик, чуть не довоенный завсегдатай этого клуба, последовательно проигравший состояние двух своих жен и теперь пробавляющийся занимаемыми у счастливых игроков деньгами.

— Смотрю это я на вас, полковник, в банке тысяча двести, а ведь заложили то вы всего четыре луи, смотрю на вас и думаю — неужели не снимется? Нет, вижу голубчик мой не таков, дает карту — я бы струсил — и выигрывает. Помню, как в позапрошлом году, в Биаррице...

Но тут уже Бычков прервал его: эту историю в Биаррице

он слышал чуть не в пятый раз. Г-н Пьер был в выигрыше сто двадцать тысяч. Он уже собирался уходить, когда «нелегкая его взяла» и он проиграл все деньги. История эта была сплошь выдуманной, но воспоминание об этих, в мечтах выигранных деньгах, согревало его и уносило в те отдаленные времена, когда г-н Пьер мог действительно ворочать такими деньгами.

— Андрей Иванович, — тронул его за плечо другой русский, — можно вас на минуточку.

Это был его старый клубный приятель, уже пожилой человек, Воронин.

— Здравствуйте, — искренне обрадовался ему Бычков — идите сюда, сперва выпейте, а потом скажите то, что, я угадываю, вы хотите сказать. Коньяк? Ром? Ну, да вы кроме рома ничего не пьете. Точно перед казнью...

— Я пью ром — после казни.

— Проигрались.

— До последнего франка.

— Подождите. Я вам, кажется, должен, не помню сколько. Хотите двести франков?

И Бычков сунул ему в руки деньги.

— На счастье. Идите отыгрывайтесь. Да постойте, вы ничего не выпили...

Но Воронин уже был в игорном зале, уступая место другому русскому, вечно безденежному игроку, который наклонившись к Бычкову, быстро шептал:

— Дайте пять франков. У меня — ни сантима, нечем заплатить швейцару.

— Нет, пить — пейте, если хотите, вот, кстати, и ром заказан, а денег не дам ни копейки!

— Но ведь вы в выигрыше?

— Всё равно — не дам!

— Ну, как хотите, только рому я с вами пить не буду.

И он отошел, как-то особенно сутулясь. Вдруг Бычкова охватила жалость. Ведь если бы это было не в клубе, а «в

жизни», как он говорил, разве он отказал бы приятелю, даже мало знакомому, в пяти франках? Но передумать решение и возвратить просящего он не успел. Бычкова позвали к столу в то время, как банкомет, японец в сером элегантном костюме, сдавал карты. В банке было две тысячи.

— Banco! — неожиданно для самого себя выкрикнул Бычков. Крупье на лопатке поднес ему карты.

— Huit! — спокойно объявил Бычков и выкинул карты на стол, уже уверенно смотря на ничуть в лице не изменившегося японца. Но уже по движению его руки державшей карты и вдруг как-то обмякшей, Бычков понял, что выиграл.

Неожиданная уверенность охватила его. Понтировал ли он, держал ли банк — счастье шло к нему. «Спасен, спасен», — ликовал он, не только отыграны те три тысячи, но сверх того, в выигрыше четыре, нет, четыре с половиной. Вдруг он услышал, как сосед говорил соседу:

— Сейчас уже половина седьмого, а я обещал быть дома в пять.

Бычков встал, уверенно прошел в кассу, обменял жетоны на деньги и, бодрый, счастливый, вышел из клуба.

V

«Еще утром я не знал, что делать, должен был унижаться, а сейчас как далеко всё это», — думал Бычков, входя в табачную лавочку. Как всегда после выигрыша он купил несколько пачек папирос. Получив сдачу, у стойки выпил коньяк с тем особым самоудовлетворением, почти с гордостью, что вот, мол, выиграл, а не проиграл, точно удача зависела от его личных качеств... «А всё потому, что посмел, не растерялся, дерзко рискнул».

Правда, где-то внутри, он всё же чувствовал, что в этой смелости был элемент непорядочности, недозволенного... вот именно — недозволенного — подхлестнул он самого себя уже с задором, как бы этим словом замазывая неприятный привкус слова «непорядочность». А как было страшно в ту

ночь, как всё казалось непоправимым, как относительно само понятие несчастья. Растрата! А вот и нет растраты. «А вот я не только не растратчик, а обладатель неожиданно выпавших четырех с половиной тысяч».

Воспоминание о лежащих в его кармане деньгах заставило его вынуть бумажник и тронуть пальцами края тысячефранковых билетов. Вот он ощущает их пальцами, эти ж и в ы е деньги. А сколько раз он проделывал этот самый жест — вот так же открывал бумажник, чтобы потом убедиться, что денег нет в живых, что они исчезли, испарились в этом крематории, называемом игорным домом. И мгновенно им овладело желание поскорее избавиться от денег.

Он шел по бульварам. Его мысли работали в одном направлении. Прежде всего, он расплатится с долгами. Подсчитав в уме, он вычислил, что кроме тех трех тысяч, ему нужно заплатить по мелочам около шестисот франков. Кроме того, хорошо было бы взять у портного костюм, заказанный шесть месяцев тому назад, когда, помнится, он выиграл тысячу двести... «Вот, если бы тогда заплатил всё, а сколько с тех пор проиграно». Но о проигрыше он сейчас не хотел думать. Ну, что еще? Да, вот еще, Колчакова выручить. Это была самая приятная мысль. «Немедленно поехать в типографию, еще можно застать его».

Бычков нанял такси и приехал в типографию, когда служащие конторы уже разошлись. «Экая досада», — подумал он и решил, во что бы то ни стало разыскать Колчакова. Как соблазнительно и приятно будет увидеть колчаковское лицо, изумленное и обрадованное, когда этот юноша получит деньги. Бычков порылся в своей записной книжке, нашел адрес Колчакова и поехал к нему. Но в гостинице ему сказали, что тот еще не возвращался. Тогда он попросил у хозяина конверт, вложил восемьсот франков со своей визитной карточкой и с сознанием исполненного долга вышел на улицу.

Свет зажженных фонарей, еще борясь с потухающими сумерками, придавал бульвару фантастический вид. Пеше-

ходы не отбрасывали теней и казались призраками легко переплывающими мостовую. Был тот час, когда рабочий и служилый народ, выброшенный из отверстий метро, уже рассосался по своим домам и на улицу выходили люди без определенных намерений. Кто шел в гости к соседу, кто неуверенно останавливался на углу, раздумывая как провести остаток дня.

Бычков смешался с этой толпой и, помахивая тростью, шел не спеша. Радостное и легкое чувство не покидало его. Он даже не чувствовал голода. Это была передышка, мгновенный привал, отдых. Так уставший пловец ложится на спину, расправляет члены, широко вдыхая воздух в легкие.

Бычков пообедал в ресторане и немного расслабленный от лишней бутылки бордо, вернулся домой и, предвкушая завтрашний праздник, тотчас же заснул тем крепким сном, которым засыпают после работы грузчики приморской гавани.

VI

События последующих дней развернулись в таком стройном волшебном порядке, как это бывает только во сне, когда ничему не удивляешься. Счастливая звезда сопутствовала Бычкову: всё что он ни делал, удавалось ему с какой-то особенной легкостью. Ничто не предвещало гибели.

Люди удивляются внезапному извержению вулкана, забывая, что ему предшествует длительный подготовительный процесс в глубоких недрах земли, где есть газы, вода, огонь. Часы останавливаются внезапно оттого, что годами стирались колесики и ослабевала пружина.

Ничто не происходит вдруг. Стройность и видимая легкость бычковского существования в продолжение нескольких недель создала ему иллюзию, что так может продолжаться всегда. А между тем, эта стройность была лишь условием для того вулканического взрыва, который неминуемо в какой-то день и час должен был произойти.

Когда Бычков пришел в субботу утром в контору, убор-

щик Ренэ уже дожидался его. Господин Бычков хочет денег? Пожалуйста. Вот три тысячи, на шесть месяцев. Только проценты, видите ли, большие: двести франков в месяц, и то под условием, что расписку на гербовой бумаге даст сам Бычков. И если господин Бычков не раздумал...

Г-н Бычков не раздумал и тут же подписал уже заготовленную уборщиком расписку, не переставая удивляться тому, уже проверенному им закону, что деньги плывут в руки тогда, когда острая надобность в них исчезает.

Не успел Ренэ выйти из его кабинета, как, постучавшись, вошел Колчаков и чуть не бросился на шею Бычкову. Как это случилось неожиданно! Он купит недостающую бумагу и оправдается перед патроном. А как было легко потерять место!

Бычкову было совестно смотреть в глаза своему молодому другу: если бы только он знал!

Вечером, впервые за несколько месяцев, Бычков побывал в гостях. Он ликовал, что не поехал обедать в клуб. Неужели победа, и в самом деле он может себя заставить не поехать в клуб? Неужели существуют и для него мирные радости? Когда поздно вечером он в такси возвращался домой, был один такой миг — и как сильно и свободно забилось его сердце! — когда он чуть не приказал шоферу повернуть на Большие Бульвары в е г о клуб. Но он преодолел искушение, он томился на медленном огне.

Он томился на медленном огне и тогда, когда на следующее утро пришел в церковь на рю Дарю, куда он и раньше ходил не столько из благочестивых побуждений, сколько из желания повидаться с товарищами. Теперь, стоя в толпе молящихся и крестясь на образа, он твердил про себя:

«Господи Боже мой, сделай так, чтоб я не проиграл ни чужих, ни своих денег, чтоб я совсем перестал играть и стал честным человеком».

И Господь Бог сделал так, что Бычков в тот же вечер поехал в клуб и, играя азартно, то проигрывая, то отыгры-

ваясь, уехал во втором часу ночи, проиграв всё-таки небольшую сумму.

Так прошло несколько дней. Казалось жизнь Бычкова вошла в свою колею, если колеей можно считать внешне благополучную жизнь. Бычков работал, касса была в порядке, необходимые покупки были сделаны, долги выплачены. Вечера проходили в клубе. Иногда он уезжал с проигрышем, с тем, чтобы на следующий день отыграться. Теперь он имел вид счастливого и уверенного игрока, на которого одни смотрели с завистью, а другие с затаенной злобой. «Подожди, мол, придет и твой черед, когда мы увидим тебя в грязной сорочке, небритого, со съехавшим на бок галстуком. И ты горящими глазами будешь смотреть на других игроков, которые сегодня непохожи на тебя, но которым завтра ты сам будешь завидовать».

Однажды Бычков вышел из клуба со своим старым приятелем Ворониным. Приятели они были по клубу. Воронин, бывший артиллерийский офицер, был старше Бычкова, одевался неопрятно, хотя, говорят, зарабатывал неплохо. У него была семья — жена и восемнадцатилетняя дочь, о которых он всегда охотно говорил, однако, Бычкова к себе не приглашал.

— Вы — счастливый человек, — сказал Воронин, беря под руку Бычкова, — один как перст Божий. Если проиграетесь некому отчета давать. А я семейный, посудите сами, как тут быть? Получишь жалование — и в клуб. Как живем еще, сам удивляюсь. С утра жене на расходы — тридцать франков, и жена ничего, как-то смастерит что-то. Правда, я и дома-то редко обедаю.

— Но зачем вы играете?

— Эка задали вопрос, батенька. А почем я знаю? Началось это давно, еще в России. Натура вторая привычка. Много раз переставал, а потом снова принимался за игру. Только играю уже с меньшим жаром. Не зарываюсь. Жене-то утром тридцать франчей принести надо. А вы, г-н Бычков,

играете с жарком, не надо, до добра не доведет, слушайте старика. Впрочем, давать советы игроку — потерянное время. Вы куда? Домой?

— Да дом-то мой — гостиничная комната. И никто меня не ждет.

Воронин как-то сбоку быстро взглянул на Бычкова и немного стесняясь проговорил:

— Простите за нескромный вопрос — нет у вас ни невесты, ни любовницы?

— Ни невесты, ни любовницы, — ответил Бычков и прибавил: — Впрочем, я был когда-то женат, но с женой разошелся.

— Понимаю. Вы из тех, для которых жар игры сильнее жара страсти. Понимаю и скорблю, ибо никакая женская страсть не победит страсти к игре. Вы еще новичок, но уже vous êtes mordu, как говорят французы. Но цель-то у вас есть какая-нибудь в жизни?

Бычков был поставлен в тупик. В самом деле, об этом он никогда не думал. И рассмеявшись, ответил:

— Моя цель — не играть.

— О мой друг, если хотите чего-нибудь достигнуть, никогда не ставьте себе отрицательных целей! Не играть! Да ведь это похоже на заповедь. Простите старика за богохульство, но на мой взгляд, человечеству были причинены неимоверные бедствия только потому, что заповеди начинались с отрицания «не». Не убий. Не пожелай жены ближнего твоего. Подумайте, подумайте сколько тут соблазна! Не пожелай. А вот пожелаю! И именно жены ближнего моего. Если бы Бог, вместо того, чтобы сказать Адаму эдаким загадочным голосом: «не ешь с этого дерева», — просто, как-бы мимоходом, заметил бы, что на этом дереве растут прескверные яблоки, которыми можно набить оскомину или испортить желудок, кто знает, может быть Адаму и в голову не пришло бы вкусить запретный плод. Но Бог сказал «не ешь», и Адам съел, а что получилось из этого, сами знаете.

Вы создали из вашей страсти идола, которому изо всех сил не хотите поклоняться — и поклоняетесь, и приносите ему жертвы, и еще принесете! Ну, не буду пугать, только прошу, верьте мне, старику: проел я свою жизнь, а теперь во как жалко! Ах, как бы я хотел не отпускать вас сегодня, привести к себе, посадить чай пить в столовой, с женой и дочерью. Да уж поздно, неудобно. Что? А впрочем когда-нибудь позову. Прощайте. Вот и мое метро. Нам не по дороге?

— Я хочу пройтись пешком, — сказал Бычков, желая поскорее отделаться от своего собеседника и, едва простившись с Ворониным, сел в такси и поехал домой, чтоб захватить деньги и переодеться. Он решил попытать счастья в знаменитом клубе «Феникс», где в полночь шла крупная игра в баккара.

VII

Это был один из фешенебельных парижских клубов. Предупредительные лакеи, в светло зеленых ливреях с аксельбантами и в чулках, ввели Бычкова через читальную, сейчас пустую комнату, в просторный зал.

Розоватый свет, розоватые стены без всяких украшений, но с росписью — золото и лазурь — потолок, шелест сдаваемых карт, костяной звук игральных жетонов и особая затаенная тишина, прерываемая выкриками крупье — заставили Бычкова как-то внутренно преобразиться, точно он погружался в горячую ванну, а сердце сперва сильно забилось и потом всё тело охватило блаженство.

В перспективе виднелся ряд других зал, точно отраженных в зеркалах.

Ступая неслышно по мягким коврам, страстно куря, Бычков медленно прошел в эти зеркала, точно он был призрак, до того он не чувствовал своего тела. Он был наполнен одним желаньем — еще сдерживаемым, чтоб продлить удовольствие — поскорее притронуться к этим волшебным картам.

Оттого как они лягут перед ним зависела его судьба. Это не крупье — это древние оракулы восседали на высоких стульях, и на длинных продолговатых отполированных лопатах подносили карты игрокам.

За столом сидели министры и депутаты, рядом с известными авантюристами. Какой-то восточный принц в белой чалме, с сияющим бриллиантом, смуглой рукой сдавал карты. В банке было сто шестьдесят тысяч — Бычков остановился на мгновение и очарованный смотрел, как принц, проиграв эти деньги, встал, закурил папиросу и медленно пройдя в другой зал, скрылся, истлел, оставив вместо себя облачко синего дыма.

Стоя в толпе, облепившей в два ряда овальный стол, Бычков видел двигающиеся локти и руки, то принимающие, то бросающие карты, жетоны, деньги. Лиц он не различал — всё это были сплошные желтые пятна, точно циферблаты без стрелок.

Легкий шум за соседним столом вывел его из мгновенного оцепенения. Он обернулся и увидел освещенное желтым светом очень знакомое лицо. Ба, да это известный кинематографический актер, Жюль Б., которого много раз, вот точно в такой же позе, нервного, с коротким вызывающим смешком, задиру, готового впрочем тотчас же уступить, Бычков много раз видел на экране.

Актер поворачивался, обращаясь к окружающим его друзьям и, характерным движением оправляя рукава фрака, что-то, очевидно весьма язвительное, прокричал своему противнику.

Бычков не слышал слов, он во все глаза смотрел на актера. Продолжал ли тот играть роль как на экране, подражая самому себе, или на самом деле он был таким и в жизни, с неприятным, металлическим отблеском глаз, но этот теневой, точно сошедший с экрана в зрительный зал актер — был единственным живым лицом в этом многоголовом, разнопричесанном обществе призраков. Бычков протиснулся к ак-

теру и тронул рукав его фрака, как притрагиваются к восковой фигуре в паноптикуме.

Актер испуганно обернулся, не успев стереть с лица угодливой улыбки, и это смешанное выражение лица было жалким и не шло к его наскоро выпяченной груди. Бычков вежливо извинился, а актер, уже почувствовав в нем доброжелателя и поклонника, фамильярно взял Бычкова под руку, точно они были старые приятели и, понемногу выводя его из толпы, привел в бар, не переставая рассказывать как и из-за чего произошла перебранка. Польщенный столь быстрым знакомством и не слушая болтовни актера, Бычков потребовал у стойки две рюмки коньяку и не был смущен даже тогда, когда актер, выпив и позволив Бычкову заплатить за себя, произнес давно заготовленную, излюбленную им фразу, которой он огорошивал своих поклонников:

— Mais je vous ne connais pas, monsieur!

— Moi, non plus! — парировал Бычков, — если, конечно, не считать нашего старого знакомства в синема. Сколько раз я восхищался вашей игрой, сидя в полутемном зале синема, я запомнил ваше лицо до мельчайших подробностей. Я улавливал ваш взгляд на себе — да, да, не смейтесь, — вы смотрели на меня, вот как сейчас смотрите, — на меня и на других одновременно.

Но актер не слушал его. Он прислушивался к тому, что говорят вокруг него, замечают ли его, и он весь настораживался, когда до него доносился этот затаенный, щекочущий самолюбие, шопот: «Смотрите, это он,» — «Нет, не он», — «Нет, он», — точно он ждал подтверждения подлинности своего существования.

И когда, после особенно настойчивого восклицания «Ну конечно, это он, наш Жюль» — он убедился, что это действительно он, а не двигающийся призрак на экране, актер, почувствовав потребность в движении, отошел от Бычкова как от привидения, забыв попрощаться.

Между тем Бычков еще издали заметил, что открывается

новый стол для игры в баккара, и посетители отмечали заранее свои места.

Бычков с бьющимся сердцем занял место. Крупье, распечатав шесть новых колод и разложив их веерообразно в шесть рядов, тасовал их обеими руками и не торопился вкладывать в машинку, дожидаясь игроков.

Пришел банкомет, плотный мужчина с крупными руками и перстнем на указательном пальце. Крупье вложил карты в машинку, банкомет акуратно выстроил по бокам машинки столбики жетонов, и игра началась.

Да, в этом клубе... В этом клубе он видел однажды, как известный владелец автомобильных заводов в один присест проиграл два с половиной миллиона франков. Он слышал потом, что его заводы на некоторое время приостановили производство.

Один жест руки, одно слово «банко», едва произносимое кончиками губ, бросало на улицу сотни рабочих, из которых одни, должно быть, запивали, другие покидали своих жен и любовниц, третьи отрывали от матерей детей, чтоб отдать их в приюты. И всё это происходило здесь. Здесь, в этих закупоренных комнатах кончались карьеры министров, совершались узаконенные сделки с совестью... Он слышал и знал также о том, что того, проигравшего два с половиной миллиона, заводчика ссужал деньгами и векселями его же конкурент, с целью потопить и окончательно сварить его в этом котле игры. И свариваемый, раскрасневшись, всё еще требовал карт и кричал остатком охрипшего голоса «банко, банко».

Все эти мысли проносились в голове Бычкова в то время как он ставил ставки, то увеличивая их в случае выигрыша, то уменьшая. Участье в этом соборном действии подхлестывало его самолюбие. Он тоже здесь, между сильными мира сего — одно это сознание волновало его — а там, чему быть, того не миновать!

Бычков смотрел на зоркие глаза банкомета, на его пер-

стень. «А вот ты отдашь мне свой перстень», думал с задором Бычков, «ты снимешь его с пальца и в перерыве игры отзовешь меня, когда я сорву твой банк, и скажешь — это фамильная драгоценность, ей нет цены, я вам его закладываю за... да, за сколько же..» В эту самую минуту крупье подал ему карты. Бычков, не колеблясь, поставил перед собой три тысячефранковых жетона — и выиграл. Он удвоил, выиграл снова. Он в третий раз оставил ту же ставку и выиграл. Крупье в четвертый раз подал ему карты и, прежде чем взять их в руки, Бычков сгреб свою ставку, заметив при этом как нехорошо блеснули глаза банкомета, оставил только пятьсот франков и, внутренне желая проиграть — проиграл, поздравляя себя. «Довольно», сказал он самому себе, и встал, высыпая жетоны в карман.

Бычков прошел в кассу, обменял жетоны на деньги, с удовольствием вкладывая их в разбухший бумажник и направился к выходу. В гардеробной дожидался его актер, который, назвав Бычкова по фамилии, попросил взаймы тысячу франков. «Так вот ты какой», подумал Бычков и нехотя протянул ему тысячефранковку.

Актер небрежно засунул ее в жилетный карман и, не протягивая руки, с коротким, прерывающимся хохотком, сказал:

— Возвращу вам их в синема. Когда в зрительном зале вы снова увидите мое лицо на экране, я мигну вам — вот так — и с экрана протяну вам деньги, parole d'honneur! Adieux, mon cher. Et merci, eh!

VIII

Всякого, кто сталкивался с игроками, должна была поразить та удивительная легкость, с которой люди хорошего происхождения, будучи вовлечены в игру, ломали тот гранит чести, сохранение которого было одним из признаков их касты. Накопленные поколениями нравственные ценности здесь рушились, рассыпались трухой.

Переступая пороги игорных домов, эти люди не только теряли самообладание и контроль над собой, но еще находили в себе новые черные сокровища, становясь сперва потенциальными, а потом и настоящими растратчиками, обворовывая своих жен, любовниц, соперников, врагов и друзей.

Зараза игры страшнее укуса бешеной собаки. Есть пастеровские институты, которые весьма успешно вылечивают зараженных. Но какие институты вылечат игрока?

В счастливой игре Бычкова и таились те первые уколы азарта, яд которого постепенно проник и отравил его душу. Он был до того опьянен выигрышем, что от счастья не мог спать по ночам. Ходили слухи, что у него накопилось до пятидесяти тысяч. Если он еще продолжал работать, то только для того, чтобы уставать и заработать сон. Как всегда в дни выигрышей, у него появилось много друзей. Те, которые еще вчера по-дружески укоряли его за игру, сегодня восхищались его смелостью и удачей и тем еще больше подзадаривали его. Еще бы, победителей не судят, — для того, чтобы еще яростнее осудить их, если они окажутся побежденными.

Катастрофа наступила скоро и ничто не предвещало её приближения.

В этот вечер, по обыкновению, он обедал в «Фениксе», в компании известных артистов синема, с которыми свел его Жюль. После сытного и обильного обеда, отдав должное игре, которая в этот вечер почему-то не клеилась из-за отсутствия крупных игроков — вся компания решила поехать в один известный только избранным кабачек на Монмартре, о котором Бычков слышал, что в нем посетителей ждут скандальные сюрпризы.

Приехав в кабачок, в первой зале которого, для вида, подавалось пиво и вино в кружках, а посетители были скорее пролетарского и квази-апашского типа — каскетки и красные фуляры — компания через потайную дверь проникла в коридор, в конце которого начиналась каменная витая лестница.

Все спустились по ней и очутились в просторном зале, полном народу, но уже другого сорта: женщины в бальных платьях и мужчины в смокингах и фраках. Красноватое освещение создавало интимную полутемноту, и в этом свете, с подносами в руках, сновали полуобнаженные женщины.

На удивленный и одобрительный взгляд Бычкова, Жюль Б. ответил:

— Заметь, mon cher, что это не простые женщины, а дамы общества. Они славятся своей недоступностью — в этом вся пикантность их положения. Я не думаю, чтоб они напрягали усилия для защиты от страстных поклонников. Они уже удовлетворены тем, что чувствуют на себе взгляды мужчин. И еще: в числе посетителей можно встретить их мужей, которых тоже волнует это всеобщее вожделение. Поэтому — осторожней, не позволяй даже в разговоре никаких вольностей. «Mes compliments, madame!», обратился он к подошедшей смуглой и сухопарой женщине, весь наряд которой состоял только в белой наглухо застегнутой блузке и... лакированных туфельках, — позвольте вам представить моего друга, м-сье Бычкова. Он русский, un cosaque, un sauvage.

Бычков встал, поклонился, не отрывая глаз от ее узких и смуглых бедер, оттененных белизной блузки. Смуглянка кивнула головой и, улыбаясь, спросила:

— Бутылку шампанского?

— Две, — ответил за Бычкова Жюль и, когда смуглянка ушла, шепнул ему: — Не узнал?

— Кого?

— Эту даму.

— Нет!

— Это замечательно! Вижу, что ты настоящий мужчина: когда женщина обнажена, лица ее как-то не успеваешь заметить. Хе, хе, да ведь это...

И он назвал имя известной кинематографической артистки, жены не менее известного драматурга.

За шампанским говорили о светских сплетнях, назывались

все известные в артистическом кругу имена. Бычков пьянел не столько от шампанского, сколько от этих разговоров. Как и в клубе «Феникс», ему доставляло наслаждение, что он в избранной, как ему казалось, среде, составляющей мякиш того сдобного пирога, который не всем по зубам.

Несмотря на то, что публика всё прибывала, зал не наполнялся, — как тот, из арифметического учебника, бассейн, в который вливалась вода из одного крана и выливалась из другого. Этим выходным краном была маленькая низкая дверь, за которой исчезали мужчины и женщины.

— А это что? — спросил Бычков одного из своих приятелей.

— Это вход в зал рулетки, — ответил с готовностью приятель, — неудовлетворенная страсть в этом зале заглушается страстью к игре. Не хотите ли пройти туда? Очень интересно. Там в точности воспроизведен один из залов монтекарловского казино. Даже вид на море — для полноты иллюзий.

Бычков допил свой бокал и, с бьющимся сердцем и почти дрожащими скулами, встал и направился к таинственной двери. Но у дверей его остановила подавальщица.

— Простите, но кто входит сюда, должен сперва заплатить за шампанское. С вас две тысячи.

Бычков быстро расплатился и, только после этого, увидел рядом с собой приятелей.

Он вышел оттуда через два часа, похудевший, осунувшийся, с блуждающими глазами. Полуголые женщины сновали в чуть опустевшем зале. Он с изумлением смотрел на них и нагота их была ему неприятна. «Всё, всё! Проиграл всё! до последней тысячи! Ничего не оставил дома!»

Он оглядывался, ища приятелей. Но их не было. Мгновенная надежда осенила его. Жюль должно быть вернулся домой, он живет на Монмартре. Бычков прошел в телефонную будку и позвонил. Ему ответил заспанный неприятный голос:

— Но это я, я, Бычков, твой друг Бычков, cosaque! — почему то прибавил он, — я проигрался, мне нужно две-три тысячи во что-бы то ни стало, чтобы хоть сколько-нибудь отыграться.

— Почему же ты звонишь мне? У меня не банк.

— Но ты мне должен больше, Жюль. Вспомни. Умоляю тебя, помоги! Ах, знаешь, я выдал чек без покрытия. Я был как сумасшедший.

— Mon cher, я хочу спать.

— Allo, allo! —

Он еще долго кричал в телефонную трубку «allo», но ему не отвечали. Так погибающий в море пароход взывает по радио. Но легче в океане быть услышанным другим радиоприемником, чем в телефонной будке ждать ответа от клубного товарища.

IX

Есть одно чувство, которое можно сравнить только с неутолимой любовью. Это — стыд. О нем не говорят, но его испытывают. И как страдают от любви, так и Бычков страдал в ту ночь проигрыша от глубокого безутешного стыда.

Самая мысль о выходе из положения (он выдал чек без покрытия на десять тысяч), в ту бессонную ночь, только к утру осенила его. Но он отогнал ее. Это горячее чувство стыда было как-то человечнее, жизненнее холодноватой скользкой мысли — вывернуться. Но постепенно он искусственно настроил себя на этот железный лад: вывернуться, спастись. Может быть, он смутно чувствовал, что вывернуться — это еще не значит спастись. Всё же этому холодному проблеску разумной воли он был обязан тем, что заработал мозг, расчет, пустивши в ход все приводные ремни знакомств, дружб, связей. В ту ночь он еще не вполне понимал призрачную цену всех его знакомств. Холодный отказ Жюля, точно укус змеи, не причинял еще боли: яд этого укуса сказался впоследствии. Но кроме Жюля, были у него еще и другие приятe-

ли. Скольких он ссужал деньгами за это время! Неужели среди них нельзя собрать десять тысяч?

Вот он встанет, пойдет в контору, будет звонить по телефону, пошлет «пневматички», телеграммы, заложит или продаст недавно купленый золотой портсигар. Но на всё это надо время, а чек могут предъявить завтра же. «Так чего же ты медлишь? Вставай, двигайся, действуй!».

Но мускулы его тела, точно налитые свинцом, не подчинялись приказу мысли. Страшная апатия — паралич души — сковала его тело и, распластанный, без единой мысли, точно оглушенный, он еще долго лежал, пока сон окончательно не сковал его. Но даже и во сне, в сероватом полумраке начинающегося утра, черты его лица оставались мучительно искаженными.

Он проснулся, когда в комнате было еще темно. Во рту был неприятный вкус от выкуренных папирос. Ему захотелось пить. Он зажег свет и посмотрел на часы. Был восьмой час. Он начал смутно соображать: но почему еще темно? Неужели он проспал весь день. Он быстро вскочил и, напившись воды, позвонил «гарсона». Ему хотелось слышать человеческий голос. Ему надо было кому-нибудь пожаловаться. Никто не шел. Бычков оделся, побрился и, ощущая тяжесть в голове, вышел на улицу. Куда пойти, с чего начать? Вдруг он вспомнил — Воронин! Этот человек его поймет, хотя вряд ли поможет. Он порылся в записной книжке, отыскал адрес и пошел к ближайшему метро.

Воронин сам открыл дверь Бычкову. Еще в передней догадавшись по лицу Бычкова, что у него беда, он ввел его в свой кабинет, усадил в просиженное кожаное кресло и, распорядившись насчет чая, ждал, когда Бычков заговорит первый.

— Вы простите, что я так без предупреждения пришел к вам, но...

— Проигрались? — улыбаясь спросил Воронин, точно это было очень приятное дело.

Если бы только проигрался! Но я выдал чек на десять тысяч. А на счету у меня почти ничего. Я даже не знаю, для чего вообще я завел себе текущий счет?

— Десять тысяч — большая сумма, — не удивляясь, всё также мягко проронил Воронин.

— Но мне должны разные люди около пятнадцати тысяч.

Воронин безнадежно махнул рукой и еще шире улыбнулся.

— Голубчик мой, вы ведь сами знаете, что никто вам не отдаст! И хорошо, что не вернут. Этак лучше!

— То есть как это — лучше?

— Видите ли, всем было известно, что вы в большом выигрыше. Вы в наш клуб-то за это время и не заглядывали, а? Я очень беспокоился за вас. Выигрыш никогда ни до чего хорошего не доводил. И я ждал — проиграется голубчик, и чем скорее, тем лучше! Вот проигрались и поздравляю! В беде-то только и можно выправиться. Только насчет чека нехорошо. Но и это устроится. Какие ваши планы?

Бычков рассказал, и то, что еще утром казалось легко выполнимым, теперь, облекаясь в слова, рвалось как паутина.

— Самое верное — золотой портсигар, — заключил Воронин, посматривая на дверь и прислушиваясь, — с этого и надо начать. И не заложить, а продать! Покажите. Да, хороший портсигар, — добавил он, взяв в руки и взвешивая на ладони. — Три тысячи можно смело выручить. База есть. Вот только день проспали. Завтра с утра надо отправиться сперва в банк, потом к администрации этого клуба. Где это?

— Это даже не клуб, а чорт знает что. И голые женщины, и всё.

— Тс-с!

В комнату, робея, вошла девушка с двумя стаканами чая на подносе.

— Моя дочь Лиза, — любовно глядя на нее, представил Воронин, — а это мой молодой друг, г-н Бычков, Андрей Иванович.

Лиза сверкнула глазами, поставила поднос на стол и, поздоровавшись с Бычковым, не уходила.

— Ты оставь нас, Лизанька, — мягко попросил Воронин и притворил за ней дверь. Но улыбка еще оставалась на его лице.

Бычков с жадностью принялся за чай.

— Да вы-то обедали? Я и не спросил. Ах, Господи, подождите. — И Воронин вышел и скоро вернулся с корзиной нарезанного хлеба и холодной котлетой.

— Подкрепитесь, не стесняйтесь, да раскажите, как это случилось.

Бычков ел и рассказывал, сам увлекаясь еще недавней удачей. Когда он рассказал Воронину о своем, сперва знакомстве, а потом и дружбе с Жюлем и его товарищами, ему только теперь стало ясно, что он сделался жертвой опутавших его, недобросовестных приятелей, которые может быть и получили куртаж за привлечение Бычкова в этот игорный притон. Но ведь это был знаменитый артист!

— Да, да, — подхватил Воронин, — страсть к игре не делает различия между профессиями. Великие писатели и композиторы, дипломаты и министры не возвышались в игре над заурядными конторщиками и гарсонами кафе, дующими по ночам в двадцать одно. Но есть две категории игроков, мой друг. Одни — страстные, с повышенным воображением, несчастные и мучащиеся этим несчастьем, другие — холодные, твердо решившие использовать атмосферу игры в личных, корыстных целях, узнавшие, что за священным жаром игры, тем жаром, от которого, как свеча тают те первые, несчастные — скрыты неисчислимые возможности. Эти люди — тоже играющие, но не только на деньги, но и на слабостях человеческих. Эта вторая категория уже не мечтающая о чудесных выигрышах (привилегия, я бы даже сказал, украшение первой категории) — настоящая чума и отрава всех этих фешенебельных игорных домов. Вы встретились с Жюлем, другой сойдется с титулованным аристократом, третий с так на-

зываемым «жокеем», играющим только на выпрошенные у игроков деньги. Наверху и внизу, в больших и малых притонах, одно и то же. Все отравлены. Всё гниль и труха. Попавший в эту среду свежий человек постепенно сворачивается, обугливается как полено в пламени, рассыпается пеплом, внешне сохраняя все признаки живого существа. Призрак одетый во фрак. Посмотрите на себя. Да и я хорош. У меня взрослая дочь, а я вчера в клубе, вот в это самое время, отыскав в жилетных карманах билеты от метро, продал их швейцару за пять франков, кое-как собрал еще пять франков, чтобы заложить в банк, пополам с каким-то субъектом — и дрожал за каждую карту, а выиграв двадцать пять франков, шел пешком и еще не был уверен, что дойду, а не вернусь, чтоб снова попытать счастье.

— Да, но у вас всё-таки жизнь, — с горячностью вырвалось у Бычкова, — вот этот стакан чая, эти книги, этот письменный стол с лампой, что-то насиженное, уютное, реальное, потому меня и потянуло к вам. За вас ухватиться можно, а вокруг меня всё скользкое — не умею объяснить — люди и вещи. У меня приличная комната в гостинице, но с мебелью я не в ладах, — я постоянно натыкаюсь на углы шкафа или камина, точно они ждут случая, чтобы задеть меня. К занавескам притрагиваюсь с отвращеньем, а бахрома постельного покрывала, как куст, цепляется за меня. Вы не улыбайтесь, вещи меня не любят. Вот и этот золотой портсигар, полежал у меня в боковом крамане и уже уходит.

— Ну, насчет золотых портсигаров, должен вам заметить, что это вообще странствующие предметы. Путешественники. Не любят засиживаться на одном месте. Тоже и золотые часы. Вообще золото неуютный предмет, скажу я вам. То ли дело деревянные вещи — от малых до больших. Посмотрите на этот нормандский шкаф. В ломбард его не свезешь, долго служил он людям и еще послужит. Дуб, сосна, орех, ясень, клён, — они живут сто лет под солнцем и срубленные, сработанные, обращенные в мебель, они еще долго излучают не-

видимый сок солнца сквозь отполированную поверхность, а золото вышло из-под земли. Еще чаю? Да что с вами, голубчик?

— Я так несчастен, так несчастен, не могу больше, — едва сдерживая слёзы, с трудом проговорил Бычков и встал.

— Ваше несчастье, — усаживая Бычкова, с расстановкой продолжал Воронин, — еще продукт вашего воображения, в состав которого входят такие условные понятия, как гордость, самолюбие и т. д. Раскиньте-ка умом, дружище, вы выдали чек без покрытия — да, дело с точки зрения морали прескверное. Но то лицо, которому вы его выдали, хорошо учитывало, что вы, как порядочный человек, сделаете всё возможное, чтоб заплатить по этому чеку. До суда эти господа не доведут вас, будьте покойны. Не выгодно им ссориться с вами. Они вам сделают всяческие оттяжки, чтоб вы достали деньги, чтоб вы не потеряли своего места, ибо ваше жалованье не только ваш, но и их кусок хлеба. О, они дадут вам срок, чтоб вы выправились и будут снова ждать вас в гости. Они знают какую неимоверную энергию развивает человек, чтоб достать деньги для отыгрыша. Вы от них, всё равно, не уйдете!

— Так что же мне делать? — почти со злобой вскрикнул Бычков.

— Ждать, бороться, играть. Но главное, никогда не отчаиваться! Больше ничего не могу прибавить увы. Морализировать не моя профессия. Но вы не пропадете — есть у вас в глазах этакая воля к жизни, а это уже много. Вот ваша шляпа, — неожиданно закончил он, — позвольте, я провожу вас. Дайте мне знать о себе, когда покончите с чеком. Прощайте, дружище!

X

Одиночество страшное, холодное, железное — не охватило, а как будто вцепилось клещами во всё существо Бычкова, едва он вышел на улицу. Итти домой в гостиницу, где

его ждали неубранная постель и смятые подушки, еще хранившие форму его истомленного за ночь тела, этот живой слепок его страданий — одна мысль об этом сводила его с ума. Там, в комнате, ждал его он, вчерашный Бычков, неприятный ему, как бывает неприятна застоявшаяся вода. Но выплеснуть эту воду у него не хватало сил.

Он шел с поднятым воротником, не замечая прохожих, натыкаясь на них. Холодный дождь пополам с крупой обдавал его, хлестал по лицу. Вдруг воспоминание о только-что виденных сверкнувших глазах дочери Воронина на миг согрело его, но вновь отскочило, как мяч от стены. Это был другой мир, недоступный ему. В том мире и у него тоже была жена, светлые, маленькие комнаты... Как и почему ему однажды пришлось съехать с этой квартиры, он не хотел думать. Та жизнь, как засохший цветок, окостенела в его памяти. О, если бы можно было воскресить, оживить ее, как это однажды удалось в древнем Египте тому ученому фараону, который обладал тайной воскрешения засушенных цветов. Цветок опущенный в воду, взятую из различных источников, постепенно окрашивался в живые цвета, лепестки его расправлялись, отливая свежим глянцем, тычинки выпрямлялись, цветок увеличивался, жил, благоухал...

На один какой-то миг это благоухание поднялось было со дна его души. Но как водолаз, закованный в металический панцырь, он мог только наблюдать отделенный от него подводный мир. Движения его были несвободны, он задыхался в тесной и давящей тяжелой коробке шлема. Золотой портсигар отягчавший его пиджак, — вот то реальное, что оставалось у него! И он не удивился, когда вдруг увидел себя на Больших Бульварах. Компасная стрелка его воли судорожно задвигалась, как при приближении магнита, и остановилась. Он стоял у подъезда игорного дома.

И успокоенный, он медленно поднялся по устланной красным ковром, ярко освещенной лестнице. Он спустился по ней уже утром, с последними игроками и, горбясь, побрел по пу-

стынным тротуарам Парижа — без портсигара, без денег, без единой мысли в голове.

XI

Как пустой кувшин брошенный в воду еще долго держится на поверхности, пока через его горлышко не вольется вода, так и Бычков, захлебываясь водой игры, не тонул, а только барахтался. Бычков незаметно попал в то положение, в какое попадает чемпион бокса, постепенно побиваемый слабейшими противниками: он «терял класс».

С того памятного утра, когда он вышел из клуба и не спавши пошел на службу, и началось это постепенное снижение. Судьба покровительствует смельчакам, но не выносит профессиональных счастливчиков и поэтому, когда в тот же, или на следующий день, Бычкову снова попали в руки казенные деньги, он их проиграл, даже не успев опомниться. Вода вливалась в горлышко кувшина.

В то время еще удавалось ему доставать по несколько сот франков. Желая отыграть растраченную сумму, он с этими деньгами ездил в клуб и проигрывал. Наконец растрата обнаружилась. Ему дан был срок выплатить деньги. Он получал теперь половинное жалованье, задолжал в гостинице, но всё еще играл.

Он играл теперь в тех захудалых, наполненных интернациональной публикой клубах, где играли на выкраденные у жен деньги, на заложенные в ломбарде штаны, на автобусные билеты. Безработные маляры, художники, гарсоны из кафэ приносили в эти дома свои «безработные» деньги, проигрывали их в один присест и с нетерпением ждали новой получки. В этих притонах так было устроено, что проигравшиеся получали ежедневно бесплатный обед, ибо, в самом деле, не в интересах хозяев клуба было морить голодом своих клиентов: надо, чтобы эти клиенты зарабатывали деньги и приносили их сюда. Как бы ни была ничтожна сумма, всё годилось в этом огромном хозяйстве.

Попав в эту смешанную группу мелких игроков, Бычков заметил, что за ними ухаживали с особенной предупредительностью, так как их было неизмеримо больше чем крупных, и в момент затишья игры, эти мелкие составляли резервную колонну статистов, необходимых в игорных залах для создания иллюзии толпы. Поэтому ими дорожили и кормили на убой: меню из шести блюд, но с дешевым, хотя и подаваемым в бутылках с ярлыками, вином. Проигравшимся оставалось одно утешение — есть и пить, как свиньям. И они объедались и напивались, а за кофе выпрашивали у счастливцев папиросы и сигары, которые тут же продавались, а вырученные деньги пускались в игру. И создавалось впечатление, что все играют, все довольны, и земля вертится.

Бычков не переставал удивляться тому, как он скоро свыкся с этим новым положением. Как иной кочегар мозолистыми, отвердевшими пальцами, легко и умело перебрасывает в руках выпавший из печи уголек, так и Бычков, своей затвердевшей душой, уже не чувствовал ожогов ни совести, ни самолюбия. На службе ему уже не поручали никаких денежных операций. От кассира до уборщика Ренэ, которым он постоянно был должен какие-то гроши, — все к нему относились не то с жалостью, не то с презрением. Директор, по слухам, искал ему заместителя, а Колчакова он и сам избегал после того, как встретил его в одном клубе. Но всему наступают сроки. Кувшин наполнялся водой и шел ко дну. Бычкову в один и тот же день отказали и на службе и в гостинице.

Это было в канун Нового Года. Бычков вышел на улицу с чемоданом в руке, не зная куда итти. Товарищей у него не было. Он сел в автобус и, поехав на ближайший вокзал, сдал чемодан на хранение.

Свободный, легкий, с несколькими десятками франков в кармане, он отправился завтракать в клуб. Как всегда, его подстрекало подлое любопытство: а ну вот как теперь-то он вывернется?

XII

После завтрака, отяжелев от обильной еды, он вздремнул в читальной комнате, когда кто-то тронул его за плечо. Он вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял Воронин, в свежем, видно только-что из чистки, костюме, акуратно подстриженный.

Начинается партия, а вы спите. Не вставайте, не вставайте, я тоже присяду к вам. Там сейчас мелкота сражается. Я нарочно заехал сюда, вас повидать. Думаю, в канун Нового Года, вероятно, не на службе.

— Я потерял место, — безразлично ответил Бычков.

— Вот как, — не удивляясь ответил тот, — это называется доигрались! А впрочем, рано или поздно это должно было случиться. И чем раньше что случается, тем лучше. Несчастья в жизни человека это — станции, которые нужно проехать. И поэтому, чем больше этих станций миновало, тем легче: в конце концов куда-нибудь и доедешь.

Воронин встал, прошелся по комнате и, отчаянно куря, продолжал: — Но кроме станций, милый мой Андрей Иванович, есть и полустанки, мимо которых проскакивают поезда-экспрессы. Я их называю полустанками счастья — жизнь как поезд проходит мимо них. Мы их видим из окна вагона, когда поезд замедляет ход. Они всегда пленяли мое воображение. Маленький домик с садом, с цветами, жеребенок, шарахающийся от шума поезда, девушка, мелькнувшая в окне... Вот на таком полустанке я приглашаю вас остановиться сегодня. Вспомните, завтра Новый Год, а сегодня бал писателей. Поедем, развлечемся. Я Лизу прихвачу, авось нам не будет скучно, а? Она так мечтала поехать на этот бал! Что скажете?

— То-то вы с утра принарядились! Бал! Да я отвык от веселья! Собственно, с чего веселиться то? Когда я смотрю на танцующие пары, мне кажется, что или они сумасшедшие, или я как зачумленный, которому уже уколы шприца не

причиняют боли. Ведь я не только потерял службу, мне отказали в отеле. С сегодняшнего дня у меня нет крыши. А вы — на бал!

— Так ведь это самая большая станция! — обрадованно, или притворяясь обрадованным, воскликнул Воронин, — узловая станция с пересадкой на другой поезд. Едем, дружище! Поезд отходит в десять часов. Вокзал — зал Лютеции. Есть и билет для вас. А насчет остального не беспокойтесь. Столик заказан. Я получил наградные, а на них никогда не играю. Это мой праздник. Мой маленький полустанок. Раз или два в году надо же жить по-человечески.

И Воронин, не заходя в игорный зал, простился и ушел.

«Хороший, хороший человек», подумал Бычков и ему стало тепло на душе. Был, всё-таки, на свете человек, который вспомнил о нем сегодня. И в душе его возникло то высокое чувство смешанное с горечью раскаяния, которое он по-настоящему испытал, может быть, впервые: это была жалость к самому себе.

Он встал и, с дрожащим от слез подбородком, стараясь быть незамеченным, прошел в гардеробную, оделся и вышел на улицу.

Прохожие на улице с удивлением смотрели на молодого человека в элегантном пальто, с искаженным от горя лицом, по которому текли, скупые, трудные слезы.

Георгий Евангулов

**
*

Покоя, солнца и лазури
Почти не могут смыть следа
Ни гром, ни завыванье бури
В болотном зеркале пруда.
Но океан в часы волненья
С ожесточеньем, муки полн,
Смывает неба отраженье
Вспененными валами волн.
Вздымая горы вод и руша,
Весь тьмой и адом поглощен,
Лишь молний огненные души
В глубинах отражает он:
Их блеск, во тьме его ужасной,
Похож на слезы. Дикий вой
Подобен музыке прекрасной.
А тьма — как тень перед зарей.

**
*

Во тьме твои глаза горят.
Чей это след? Как будто женский.
Зима, усадьба, старый сад,
Поэт любви Владимир Ленский.
Что это снег? Да это снег.
Что это ветер? Это ветер.
Так одинокий человек
Встречает одинокий вечер.
И думает: пой, милый друг,
Пой, Олечка, твой голос нежный
Похож на бесконечный круг,
Где гибель — океан безбрежный.

***

Смотрел на садик, с городской улыбкой,
Где каждая (куда ни посмотреть)
Безлиственная ветка стала гибкой,
Чтоб листьями, как прежде, зашуметь.

Понятно, листья новые возникнут.
Но где увидеть след моей души,
Когда к глазам невидящим приникнут
Поистине последние гроши?

***

Прибита к столбикам доска.
Скамеечка перед плотиной.
В порыве легком ветерка
Шумят вершинами осины.
И отражаются в пруде
Бесшумно листьями мерцая,
И зыбь струится по воде
Два мира пленкой разделяя.
По водным зеркалам бегут
Серебряным сияньем змейки.
И снова в оловянный пруд
Глядят осины и скамейка.
Белея вьются облака,
На водах вспыхивают звенья,
И так идут, идут века —
Божественного наслажденья.

1

Здесь орешник
И река,
И черешни
В облаках.
Запах вешний
Из леска.
Было рано.
Стало поздно.
Сквозь туманы
Вышли звезды.
Вот меня коснулся ветер
Словно рук твоих прохлада
И замолк весенний вечер
В шелесте дремотном сада.

2

Глядит луна
Через дорогу.
Мне вера не дана:
Не верю в Бога.
Не верю, но хочу
До ужаса, до стона —
Чтоб прав был тот,
Кто набожно свечу
Перед иконой
Жжет...

А. Величковский

МАЙ СОРОК ПЯТОГО

Ночью стреляли. Гулко с захлебом
Били зенитки и на мосту
Густо вскипал пулеметный клекот
С ходу проваливаясь в пустоту.
Жили без тока. Ждали. Зевали.
И ожидания развязал
Танк подошедший к зданью вокзала
С дулом, направленным на вокзал.
Город затих. Нахмурились стены,
Двор к тишине еще не привык.
Утром на улицах брали пленных,
В городе ставили часовых.
Джипы на площади. Парк измятый
Боем, что только что здесь прошел.
В каждый подъезд стучались солдаты
В рыжей щетине небритых щек.
Май сорок пятого. Май на Рейне —
В вязких воронках стоит вода,
Листья в пыли. Окопы. Деревья.
Улицы. Рваные провода.
Дымная муть меж кровель покатых,
В душах отчаянье, стыд и страх,
И продаются за хлеб солдатам
Женщины в брошенных бункерах.
И распускается клен и тополь —
Это весна вступает в права,
Это в садах разбитой Европы
Возле воронок брызжет трава.
Это побеги рвутся наружу,
Бурые почки листьям тесны,
Это напористый, быстрый, дружный,
Непобедимый наплыв весны.

2

От листвы кустарники распухли,
Все каштаны ломятся от свеч,
Под брезентом у походной кухни
Синевато задымила печь.
Здесь вода в бензиновых канистрах
Плещется. Мальчишка-судомой
Кашу недоеденную выскреб,
Суп в ведерке уволок домой.
Старый город. Первый мирный месяц,
Солнце по асфальту бьет в упор,
Теплый ветер. Каждый тополь весел,
Каждый лист вступает в разговор.
Весь квартал снарядами расколот,
Разрослась смородина в садах,
Стаи рыбы, оглушенной толом,
Поднимает мутная вода.
Дни идут без танкового лязга,
Дни без пулеметного свинца,
Оторвавшись от военной спазмы,
Отдыхают души и сердца.
Возле кухонь блеск консервной жести,
В окнах зубья битого стекла —
Так любовь неузнанная вместе
С первым мирным месяцем пришла.
Разрастаясь, стала вдруг огромной,
Все масштабы переворошив,
Пустяки значением наполнив,
Крупное весомости лишив.
В каждом впечатлении сквозила,
Под свое владычество забрав
Даже запах масла и бензина
От заглохших танков во дворах.
Озадачила меня. Связала
С новым смыслом каждый шаг и дом,

Развороченный бетон вокзала
И кварталов обожженных лом.

.....

Это май, замолкший в сорок пятом,
Ясени у городской стены,
Это поднимается в заплатах
Город, отвыкая от войны.

ИЗ ПОЭЗИИ БОЛЕСЛАВА КОЛОСОВСКОГО

1

В лопухах, за молочной фермой,
В напухающих лопухах
Бродят гуси высокомерно,
Разговаривая о пустяках.
Переваливаются, задыхаясь
От презрения к петухам,
И пикируясь с лопухами
Принимаются хохотать.
Это мир слизняков и гусениц,
Влажных листьев, мутных канав,
Здесь в июле слепни укусами
Донимают глупых собак.
Это полдень с пчелиным пеньем,
Это пчельник на пустыре,
У канавы стоит репейник,
Простокваша киснет в ведре.
У воды репейник — великий
Сумасброд, чудак и пророк,
Воевода гусей, улиток,
И начальник скотных дворов.
Командир над сырой низиной,
Он стоит над округой всей,
Молчаливо-неотразимой
Оппозицией для гусей.
В лопухах раздолье улиткам,

Передряги гусиных ссор,
Отвори со скрипом калитку
И войди на господский двор.
Только с барином — осторожней,
Только барину не перечь:
Желваки желтоватой кожи,
Угловатость поднятых плеч.
Барин сед, как сизый репейник,
В нем живой протест воплощен,
Воплощенное нетерпенье
В серосизой щетине щек.

2

Борзятнику, стрелку, поэту
Забава шарить по кустам,
Ломать сырую заросль веток
И брать барьер и рвать кафтан.
Искусство, глазомер и навык,
Непринужденная игра —
Верхом скакать через канаву,
С конем обрушиться в овраг.
Собачий лай сбиваясь в кучи
Разносится поверх травы,
В лицо — напористые сучья,
Над бровью — ссадина в крови.
Уже долины задымились
И потемнели ветки чащ...
Я буду в кресле, у камина
Читать Вольтера при свечах.

СТУДЕНТКА

Майские дни в атмосфере спеха.
Свечи каштанов бойко цветут.
Скверик. Столовая. Библиотека.
Египтологический институт.

Грозы и радужные разводы
Пятен бензина на мостовой,
Макинтош непропускающий воду
С капюшоном над головой.
Сосредоточенность макинтоша,
Отблеск очков, потертый портфель,
Ветер и град на стеклах окошек,
На сизой туче — зелень ветвей.
На пять минут дождем охватило
Сквер, макинтош и мысли о том,
Что послезавтра платить за квартиру,
А за электричество можно потом.
О профессуре, о реферате
(На семинар в институт бегом!),
А дома с хозяйкой тьма препирательств
О праве на пользование утюгом.
Как на каштанах ветки смеются,
Как дождик блестит на листьях, на всех...
Мысли о неглаженной юбке
Мешаются в лекционный конспект.
Они на мгновение в нем застрянут,
А, встретившись, уживутся легко
И с перепиской Ромен Роллана
И с выставкой графики трех веков.

***

Она была по хрупкости фигуры
Кустарникам и озеру сродни,
Была дружна с ольхой на берегу и
С лесным оврагом в смоляной тени.
Ее овраг кустарником встречает,
Она рукой кустарник разогнет,
И зябко дрогнув узкими плечами,
Сама, как ветка, шевельнется в нем.
Лесной овраг, в награду за участье,

Пуская в жизнь ее, благословил
Всей свежестью орешниковой чащи,
Всей чуткостью осиновой листвы.
Огромный лес засыпан хвоей бурой.
Она одна. Лишайник, кочки, пни...
Она была по хрупкости фигуры
Кустарникам и озеру сродни.

НА ПАРОХОДЕ

Часть палубы застеклена,
У борта — влажные канаты,
Со всхлипом бухает волна
В слезящийся иллюминатор.
Накатывает и кривит,
И опадает постепенно,
И брызжет корабельный винт
Зеленовато-белой пеной.
Полы сверкают белизной,
Перила — блеском меди теплой,
И солнце брызгая с волной
Стекает каплями по стеклам.
И от матроса прикурив,
Под ветром спорящим с рекою
Стоит девчонка у перил
В фуражке флотского покроя.
Докуривает и блеснув
Зубами, сплевывает в воду,
В зеленоватую косу
Бегущую за пароходом.
На ней рубаха из холста,
Штаны рабочие вобтяжку
И остры, как удар хлыста,
Глаза под козырьком фуражки.
Нахально презирая всех,
Цинично выставляя грубость,

Она прищурилась на свет,
Слегка облизывая губы.
И эта близость глаз и щек,
И эти треснутые губы
С фуражкой флотской — невтерпеж
Черноволосому парнюге.
Он угреват и желтолиц,
С глазами мутными, как тина;
Его глаза скользнули вниз
К тупым концам ее ботинок.
Пьянея от избытка сил,
Дурея от тоски и страха,
Он потянулся и схватил
Ее холщевую рубаху.
Вздувается горячий холст,
И так мучителен и ярок
Фуражкой затемненный вкось
Горячий блеск ее загара.
Но, передернувшись с концов,
Сухие губы исказились —
Она в ответ ему в лицо
Плюет жевательной резиной.
И смотрит снизу вверх, как он,
Неповоротливо и кротко,
Нечистым носовым платком
Слюну стирает с подбородка.
А за бортом шумит игра
Воды, на палубах танцуют,
Проходят мимо катера,
Винтами воду полосуя.

1956 г. *Олег Ильинский*

СТАРЫЕ КНИГИ

В тесной лавке букиниста
Рядом с северною сагой
Мирно дремлет том Капниста,
Рваный сонник и Верлен.
Пахнет пылью и бумагой
Обращающейся в тлен.

Сон забытой книги долог,
Плесень склеила страницы.
Между тихих длинных полок,
Где застыл текучий миг,
Мне самой так много снится
Пред горой манящих книг.

Есть меж ними откровенья,
Духа вечные скрижали,
Есть — отжившие мгновенья,
Те, что фейерверком фраз
Славу быструю стяжали...
Славу, длившуюся час.

Тайна жизни в книге каждой:
Все, кто строк их вереницы
Пробегал с духовной жаждой,
Отдаваясь им в мечтах,
Оставлял души частицу
На желтеющих листах.

И мне дорог томик старый,
Что таинственно пропитан
Слабым запахом сигары,
Тонким призраком духов,
Кем-то брошен, кем-то читан,
Томик проданных стихов.

Наталия Дудорова

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ВЛ. СОЛОВЬЕВА

История русской эстетики очень мало разработана, и никто еще не давал себе труда дать обзор того, что было написано русскими мыслителями, писателями по общим вопросам эстетики. Известная работа проф. Замотина «Романтизм 20 годов в русской литературе» (т. I - II) дает довольно полную картину *переводной* эстетической литературы (статьи в журналах 20-30-х годов), но у нас уже в эти годы начали появляться одна за другой и русские книги по вопросам эстетики (Галич, Надеждин, Сомов и т. д.). Эстетические темы вообще занимали всё время русских людей, — и ко времени русской революции у нас накопилось очень много ценных и глубоких построений в области эстетики.

В настоящей статье я имею в виду познакомить русских читателей с эстетическими воззрениями Вл. Соловьева[1].

I. Вл. Соловьев был первым русским философом, создавшим целостную систему, до сих пор не утратившую своего влияния, — а сверх того он был и крупным поэтом, имевшим огромное влияние на целое поколение поэтов, горячо воспринимавших его эстетические идеи и фантазии. Неудивительно поэтому, что вопросы эстетики чрезвычайно занимали Вл. Соловьева. Правда, он так и не написал систематического трактата по эстетике (чего очень хотел), — этот трактат должен был составить третью часть его докторской диссертации «Критика отвлеченных начал». Но Соловьев всё же написал ряд статей по вопросам эстетики — и здесь прежде всего надо упомянуть статьи: «Красота в природе», «Общий смысл искусства», «Первый шаг к положительной эстетике». Сверх того он часто высказывался по вопросам эстетики в других своих трудах[2], — особенно в статьях о поэзии Тютчева, А. Толстого, Фета.

---

[1] Настоящая статья в несколько измененном виде входит в состав моего этюда «Очерки из истории русской эстетики», который появится на немецком языке в выходящей под редакцией проф. Д. И. Чижевского серии «Мусагет».

[2] Некоторую сводку (без достаточного анализа) высказываний Соловьева по вопросам эстетики дает кн. Е. Трубецкой во 2-м томе его книги «Миросозерцание Вл. Соловьева».

Эстетические взгляды Соловьева стояли в тесной связи с его идеей «положительного всеединства», т. е. с его метафизикой, — но многое в его эстетических воззрениях было и независимо от его метафизики. Именно в области эстетики Соловьев испытал исключительное влияние Шеллинга — и здесь он вполне примыкает к предыдущим эстетическим построениям, слагавшимся у русских мыслителей под влиянием немецких романтиков и Шеллинга (Гоголь, Достоевский, Ап. Григорьев). Однако у Соловьева выступают и новые мотивы в его эстетике, — и как раз эти новые мотивы и имели большое влияние на последующие поколения.

2. Центральная идея в системе Соловьева есть идея «положительного всеединства», т. е. всеединства, в котором ничто не исчезает, но, входя в гармонию с другими сторонами целого, дает подлинное «всеединство». Конечно, красота тоже входит в это всеединство: «если в нравственной области — писал Соловьев — всеединство есть абсолютное благо, если в области познания оно есть абсолютная истина, то осуществление всеединства во внешней действительности есть абсолютная красота». Это утверждение, близкое к эстетике Платона, Шеллинга, получает у Соловьева некоторый особый акцент — красота для Соловьева есть «*действие* Абсолюта в природе». Отсюда вытекает у Соловьева реальное понимание красоты, в чем он резко расходится с эстетическим трансцендентализмом, т. е. с признанием, что красота будто бы есть только факт субъективный (Schein в немецкой эстетике — «видимость»). Соловьев глубоко убежден в *творческой природе красоты* (из чего, как увидим, вытекало и его понимание задач искусства): красота есть как раз свидетельство преображающей силы идеального начала («красота есть преображение материи, писал он, через воплощение в ней другого, сверхматериального начала»). Идеальные основы бытия суть, даже по Соловьеву, *эстетические нормы бытия;* поэтому, по Соловьеву, «критерий *эстетического достоинства* есть наиболее законченное и многостороннее воплощение идеального начала в данном материале».

То, что совершается в природе благодаря творческому действию ее «эстетической нормы», то продолжается в человеческом искусстве[3], которое и дает наиболее глубокое и полное разрешение эстетической задачи, вложенной в бытие: эстетическая задача, как она стоит перед человеком, вытекает из непол-

[3] Идея Шеллинга.

ноты того осуществления красоты, какое возможно во внешней природе. «Красота в природе — писал Соловьев — сохраняется неизменной и вечной лишь *вообще,* в своих общих образцах — родах и видах; каждое же отдельное прекрасное явление и существо остается под властью материального процесса, который сначала прорывает его прекрасную форму, а потом и совсем его разрушает»[4]. Но именно потому человеческое творчество должно взяться за то, что неисполнимо средствами одной природы.

Эти идеи Соловьева, развитые им окончательно в более поздних трактатах, входили и в рассуждения в его раннем этюде «Философские начала цельного знания». Темы эстетики выступают здесь в мечтах о «цельном творчестве» — и чтобы понять смысл этих мечтаний надо иметь в виду всю схему, развитую в указанном этюде. «Цельное знание», «цельное творчество» в «цельном обществе» должны слиться в «цельной жизни»; эта «цельная жизнь» есть, конечно, не что иное, как Царство Божие. Лишь в завершенном слиянии веры, науки, философии, общественной активности и может быть достигнута «цельность» — поэтому невозможна «цельная наука» без «цельного творчества». Вообще ничто частичное не может явить скрытой в нем полноты — вне слияния всех видов активности *«в общении с Абсолютом»*.

Конечно, это была только схема, но место эстетики определено в ней достаточно ясно: художественное творчество есть в то же время *мистическое* приближение к Абсолюту, — и это определяет, по Соловьеву, «теургическую функцию» искусства, творчества. Этот термин «теургия», имевший несомненно огромное (но и вредное) влияние на разработку русскими мыслителя-

---

[4] На эту тему часто и много писал Тургенев, мировоззрение которого было окрашено пессимистическим натурализмом. В отрывках «Довольно» (из записок умершего художника) читаем: «Искусство сильнее природы, потому что в ней нет ни симфонии Бетховена ни картины Рюисдаля, ни поэмы Гете. Но... природа так же спокойно покрывает плесенью божественный лик Фидиасовского Юпитера, как и простой голыш, и отдает на съедение презренной моли драгоценнейшие строки Софокла. Где нам бедным художникам сладить с этой глухонемой, слепой силой, которая идет вперед, всё пожирая? Каждый (из нас) чувствует что он сродни чему-то высшему, вечному... и должен жить в мгновении и для мгновения». Метафизика Соловьева преодолевает как раз в сфере эстетики этот унылый натурализм.

ми эстетических тем[5], взят Соловьевым из оккультизма — в частности из т. наз. герметических и иных оккультных течений III - V веков по Р. Хр. (примыкавших к неоплатонизму). По существу своему термин «теургия» значит «действие Бога», однако в оккультном понимании это была скорее идея о действии *на* Бога, о некоем *магическом* овладении высшими силами. Традиции герметизма и оккультизма остались сильны и в новое время, в частности они проявились и в романтизме[6], — во всяком случае они были очень созвучны эпохе принципиального секуляризма (т. е. начиная с XVI в.). Секуляризм в философии подменяет понятие личного Бога понятием Абсолюта, а затем, связывая с Абсолютом работу мысли и чувства в человеке, отрывает Абсолют от надмирной сферы, всецело приближает его к человеку. Так в размышлениях об истории, о ходе исторической жизни в новое время постоянно проявляется «теургическое беспокойство», т. е. суетливая потребность влиять на ход истории, подменяя понятие Промысла Божия в истории рациональным вмешательством в ход истории. Различные утопии, все теории прогресса выдвинуты именно этой озабоченностью секулярного сознания, которое хочет, при устранении идеи Промысла, найти его суррогат в той или иной человеческой деятельности... Во всяком случае «теургия» означает у Соловьева не действие Бога в истории, а действие человека на высшие силы, определяющие ход истории[7].

В сфере эстетической, где творчество раскрывается как некая «магия» (в своем действии на человеческие души и на космос), понятие «теургической природы искусства» означает возможность *преображения бытия* через эстетическую сферу. Этот «эстетический утопизм» был уже у Гоголя, отчасти у Достоевского («красота спасет мир»!), но у Соловьева эта идея получает несколько иной оборот через связывание искусства с эсхатологической перспективой (т. е. с конечным завершением истории). «Художественное произведение — пишет Соловьев в статье «Общий смысл искусства» — есть изображе-

---

[5] О. С. Булгаков так и пишет: «Соловьев своим определением теургической природы искусства *повредил* в выяснении вопроса о действенности искусства». У самого Соловьева термин теургия (т. I. стр. 243) значит «мистическое творчество».

[6] См. об этом интересную книгу Viatte "Les Sources occultes du romantisme" (V. I - II).

[7] Это вполне отвечает тому смыслу термина, который усваивал ему сам Соловьев. См. выше примечание об этом.

ние какого бы то ни было предмета и явления *с точки зрения его окончательного состояния или в свете будущего мира*». Конечно, это определение имеет в виду не то «возведение жизни в перл создания», о котором мечтал Гоголь, вовсе не связывавший деяния искусства с эсхатологией. Правда, известна формула Гоголя, что «всё работает в мире для того, чтобы сделать не поэтов поэтами», — т. е. сущность истории, согласно этой формуле, состоит «в извлечении искры поэтического огня», в таком размягчении сердец, при котором душе открывается горний мир. Но тут нет и намека на эсхатологию. Нет ее и в формуле Гоголя, что «нельзя служить искусству, не уразумев его высшей цели», т. е. не уразумев подчиненности искусства высшим (внеэстетическим) задачам. У Соловьева же искусство *изнутри*, по самой своей сущности, *связано с движением истории к концу*. Поэтому нечего удивляться и таким словам Соловьева о задаче искусства (в той же статье): «Высшая задача искусства есть совершенное воплощение духовной полноты в нашей действительности, *осуществление абсолютной красоты, создание вселенского духовного организма*». Вот поистине теургическая задача для искусства — уже не Бог преображает мир, а искусство![8] «Ясно, — добавляет тут же Соловьев, — что исполнение *этой* задачи должно совпасть с концом мировой истории. Пока история еще продолжается, мы можем иметь только частные и отрывочные предварения совершенной красоты». В этюде «Философские начала цельного знания» Соловьев, говоря об «отрывочности» в изображении искусством бытия, сочувственно приводит стихи Ал. Толстого:

«И любим мы любовью *раздробленной*
...И ничего мы вместе не сольем».

В искусстве *бьется вообще пульс конца истории*, оно внутри себя движется эсхатологическим видением, т. е. оно подчинено общей задаче преображения мира. «Настоящее художество — писал Соловьев в статье «Красота в природе» — должно быть признано важным делом, — за истинной красотой надо признать способность глубоко и сильно воздействовать на реальный мир... эстетически прекрасное должно вести к реальному улучшению действительности»... Дело идет о «превращении физического бытия в духовное»[9].

[8] Отметим следы той же эстетической и теургической утопии у знаменитого композитора Скрябина, который мечтал написать такую музыкальную мистерию, при исполнении которой преобразится весь космос (т. е. наступит Царство Божие).

[9] Отметим, что и в замечательном учении Соловьева «О смыс-

3. Исходя из этих идей, связанных с общей метафизикой, как Соловьев ее замышлял уже в ранние годы, он особенно ценил у Шеллинга его понимание художественного творчества, как продолжения творчества космического. История связана с космосом у Соловьева и в общей его метафизике[10], связана она и через искусство — здесь Соловьев продолжает и по-новому толкует идеи Шеллинга. «Зиждительное (т. е. творческое) начало природы *неравнодушно* к красоте своих произведений», — пишет он в статье «Красота в природе»; вся эта статья пронизана шеллингианством. Заметим только, что эта статья написана в 1889 г., т. е. через 12 лет после этюда «Философские начала цельного знания» (1877 г.). Мы хотим этим сказать, что эсхатологический момент в понимании задач искусства был уже раньше до конца осознан Соловьевым. Иначе говоря, повторяя и вариируя мотив шеллингианской эстетики в учении о красоте в природе, Соловьев мыслил их уже в рамках эсхатологизма. Кстати сказать, говоря о красоте в природе, Соловьев любит говорить о «космическом художнике» и о «космическом уме», т. е. о силе *внутри* космоса (что соответствует в человеке его «теургическим» возможностям). Одно из определений задач искусства, приведенных выше и до конца проникнутых эсхатологизмом, взято нами из статьи «Общий смысл искусства», написанной через год после статьи «Красота в природе» (т. е. в 1890 г.). Тут же читаем и такие строки: «Совершенное искусство в своей *окончательной* задаче должно воплотить абсолютный идеал *не в одном воображении*, а и в самом деле, должно одухотворить, *пресуществить* нашу действительную жизнь». Задача искусства здесь (как у Гоголя) явно подчинена задаче преображения космоса, — только у Гоголя это просто внеэстетическая (религиозная) задача, а у Соловьева самая суть эстетического творчества *родственна мистике* и связана с общением души художника с Абсолютом. Здесь, как мы сейчас увидим, ключ к той эстетике символизма, зачинателем которой и был у нас Соловьев и которая определила направление эстетической мысли в России в XX веке.

4. Я не буду здесь входить в обсуждение т. наз. «софиологии» Соловьева, т. е. его учения о Софии, как «душе мира»

ле любви» этот смысл открывается тоже лишь через эсхатологическую тему о преображении всего космоса.

[10] «К *человеку* тяготела и стремилась вся природа, к *Богочеловеку* направлялась вся история человечества». («Чтения о Богочеловечестве»).

(в первой редакции) или «небесном существе» (во второй редакции, где душа мира является уже носительницей *хаоса,* а София — «ангел-хранитель мира», «лучезарное и небесное существо, отделенное от земной материи»). Философское учение Соловьева о Софии по новому освещается его «личной встречей» с Софией, как «вечной Женственностью». Этому посвящено его стихотворение «Три свидания», где Соловьев, нарочито в шуточной форме, прикрывающей мистический смысл этих «встреч», рассказывает о трех «явлениях» ему Софии — Премудрости Божией.

Тут же он говорит:

«Под грубою корою вещества
Я осязал нетленную порфиру
И узнавал сиянье божества»

В этих и многих близких им по смыслу стихах Соловьев становится защитником философского, а тем более поэтического символизма:

«И под личиной вещества бесстрастной
Везде огонь божественный горит».

Само по себе истолкование «видимого» бытия как «оболочки», прикрывающей подлинное («огненное») бытие, есть очень давнее мистическое переживание, много раз встречавшееся в философской и религиозной литературе. Соловьев в этом смысле не дал ничего нового, но у него это (в последний период творчества) связалось с всё возраставшим у него космологическим дуализмом. Борьба хаоса, лежащего в основе природного бытия, и идеальных начал, светящих миру, *сообщает новый смысл той задаче искусства,* о которой выше шла речь. «Красота в *природе* — писал Соловьев в статье «Общий смысл искусства», — есть только *покрывало,* наброшенное на злую жизнь, а не преображение этой жизни». «Совершенная красота предполагает глубочайшее и теснейшее взаимодействие между духовным и вещественным бытием», отсутствие же красоты есть «бессилие идеи». По справедливому замечанию кн. Е. Трубецкого, «основное предположение эстетики Соловьева заключается в том, что божественная мудрость остается всё еще бесконечно далекой человеку и миру, остается нераскрытой для него тайной и постольку невидимой». Но именно отсюда и вытекает *символизм* у Соловьева.

Вот что он говорит в одном стихотворении:

«Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами
Только отблеск, только тени
От незримого очами?»

Эстетическое созерцание может скользить по поверхности бытия, по внешней его оболочке, но подлинная реальность не только скрыта под той поверхностью, но она просто *иная,* чем эта поверхность бытия:

«... Иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий,
Только *отклик искаженный*
Торжествующих созвучий?»

Этот прорыв сквозь оболочку мира к его подлинной реальности зовет художника к более углубленному созерцанию, к вживанию в скрытый «огонь» в бытии, — иначе говоря, поверхность бытия со всем блеском его красок, со всей красотой его звучаний только мешает художнику видеть подлинный лик бытия, только заслоняет его.

В русской поэзии было и до Соловьева не мало таких поэтических созерцаний. Еще Тютчев писал:

«И мы плывем, *пылающею бездной*
Со всех сторон окружены».

У Ал. Толстого:

«И слышу я, как разговор
Везде немолчный раздается,
Как сердце каменное гор
С любовью в темных недрах бьется.
.. ..
И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет
Что бы любовью не дышало».

Как видим, в символическом понимании оболочки бытия недостатка не было и до Соловьева. Почему же поэзия Соловьева имела такое огромное влияние на целую генерацию поэтов? Конечно, не в самом принципе символизма надо искать разгадку этого. Когда теоретик символизма Вячеслав Иванов пишет: «поэзия есть отражение двойной тайны — мира явлений и ми-

ра сущностей», или когда он выражает принцип символизма в формуле: «ab realibus ad realiora» (от реальности к тому, что более реально), то всё это и не ново и не могло бы создать целое направление в русской поэзии. Повлиял здесь не принцип «двойного зрения» (ab realibus ad realiora), а *то, что* при этом открывалось этому «двойному зрению» и к чему звало художника то, что ему открывалось. В этом и заключался источник влияния Соловьева.

Чтобы уяснить себе это, надо иметь в виду его «теургическое» понимание искусства, как некоей силы, преображающей самое бытие. При «двойном зрении», т. е. при понимании того, что «всё преходящее есть только символ» (Гете), теургические возможности искусства заключаются в том, что, вскрывая символический характер «оболочки» бытия и добираясь до скрытой под ней реальности, искусство *освобождает* эту реальность от «давления» оболочки и тем создает возможность преображения бытия: оболочка должна перестать быть преградой для проявления внутреннего ядра бытия. Искусству, как мы видели, при теургическом его истолковании, ставится по существу *внеэстетическая задача.* Искусство должно превратиться в функцию теургии, в осуществление космической и исторической задачи, разрешение которой введет мир в Царство Божие... Это «видение», связывающее символизм с теургической утопией, и захватило русских поэтов, создало новое направление в поэзии, углубило те искания в эстетической области, которые начались еще до Соловьева. Но, прежде чем мы перейдем к эстетике русского символизма и его проблеме, мы должны отдать себе отчет в том, что означает это, кажущееся как бы немотивированным и неожиданным, подчинение эстетики внеэстетическому началу.

5. Тема, которая стояла и стоит в центре русских философских исканий, есть, конечно, тема *религиозная.* Она сохраняла всю свою живучесть и всю свою силу даже при наличности последовательной секулярной идеологии, — и этот парадокс русской мысли не всегда правильно истолковывается даже русскими мыслителями. Но это доминирование религиозной темы, хотя и требует *связывания* всех видов творчества с религиозной жизнью мира, вовсе не означает, что всякое творчество должно быть *подчинено* религиозной установке. Крайности секуляризма, отрывавшего всякое творчество от Церкви, привели к «автономной» философии и науке, к автономной морали, и следовательно и автономной эстетике. Но если секуляризм в области знания и морали просто неверен и даже пагубен, то в

области художественного творчества, где *освящение благодатными силами Церкви особенно нужно,* секуляризм завел искусство в тупик, привел к «умиранию искусства», как выразился Вейдле. Нечего удивляться поэтому, что именно у русских художников, у мыслителей, размышлявших на эстетические темы, прорвалась потребность связать искусство с религиозной сферой. Шеллингианство с его учением о том, что в художественном творчестве людей действует та же творческая сила, какая формировала космос, было особенно благоприятно для того, чтобы выйти за пределы «автономной» эстетики и понять метафизику красоты. Так у Гоголя мы находим подчинение искусства высшей задаче преображения жизни, у Достоевского мы находим утопическую надежду, что «красота спасет мир», т. е. что через красоту разрешится внеэстетическая, религиозная тема в мире. В ранние годы Достоевский еще размышлял о «значении христианства в искусстве», но на самом деле основным был для него обратный вопрос о «значении искусства в христианстве», т. е. вопрос о том, чем и как искусство может послужить той задаче, какая открылась миру в христианстве. Все это *предрешало* связывание художественного творчества с религиозными задачами; так было у Гоголя, у Достоевского, так вышло и у Соловьева. Так же развивалась эстетическая тема и в философии символизма; — признание, что внешняя оболочка мира закрывает от нас подлинную реальность, сливалось с религиозной задачей «спасения» этой реальности от «слепых» сил, от хаоса, который действует на поверхности бытия. Искусство, конечно, не может не иметь дела именно с «оболочкой» бытия — с красками, звуками, движениями, оно только в них и через них «воплощает» подлинную реальность, но тут как раз оказывается, что оно призывается не только к тому, чтобы *изобразить* сокровенную суть бытия и ослабить непроницаемость внешней оболочки его. «Двойное зрение» у художника, о чем твердит символизм, оказывается призванным не только к тому, чтобы ввести нас в подлинную реальность (ab realibus ad realiora), но и к тому, чтобы обеспечить торжество этой подлинной реальности, содействовать преображению, «спасению» мира. Эта, уже теургическая функция искусства именно у Соловьева и была глубоко связана с его символизмом, в котором открывался ему «под личиной вещества бесстрастного божественный огонь», под грубой «корой вещества» открывалась «нетленная порфира» и он узнавал «сияние божества».

Всё это не было случайным у самого Соловьева, — оно не было случайным и у его эпигонов, как в этом мы сейчас убедимся. Эстетика Соловьева с его признанием двойного состава бытия и с утверждением «теургической» задачи искусства воспламенила ряд выдающихся поэтов, вызвала к жизни русский символизм. Вячеслав Иванов, Блок, Андрей Белый и другие dii minores приняли горячо к сердцу поэтические и философские фантазии Соловьева. Вяч. Иванов писал: «символизм не хотел и не мог быть только искусством». В чем же дело? В «теургической задаче», которая разрешима через искусство и только через него: «искусство, писал В. Иванов, есть одна из форм *действования* высших реальностей на низшие». Эта теургическая задача фактически начала *оттеснять* непосредственное художественное творчество, как это с особой силой сказалось у Блока (отчасти и у Белого). «Символист, утверждал Блок, — *изначала теург,* обладатель тайного знания, за которым стоит тайное действие». «Неужели я подхожу, — писал в своем дневнике Блок, — к отрицанию чистого искусства, к неумолимому его переходу в религию?». «Трагедия символистов, — писал Блок, — в том, что они не смогли стать святыми (!), и пожелали остаться поэтами». «Я знал нечто большее, чем искусство, — с горькой иронией говорил о себе Блок, — и теперь стал художником».

Не будем следить дальше за тем, как злосчастная идея теургической задачи искусства извнутри искажала эстетическое самосознание в символизме. Приведем только несколько выдержек на эту тему из эстетических высказываний о. С. Булгакова. «Теургия, как задача для человеческого усилия, невозможна — и есть или недоразумение или богоборчество». Фактически в эстетических фантазиях (от Соловьева до Бердяева[11]) было и недоразумение и богоборчество... Булгаков очень трезво отодвигает от искусства несвойственную ему задачу «преображения мира». «Искусство, писал Булгаков, не призвано дерзновенно посягать на теургические эксперименты». И еще: «искусство не имеет самодовлеющего значения, оно есть только *путь* к обретению красоты... Можно, конечно, влюбиться в красивость, устроить свой особый мир — но это есть уже эстетизм, наиболее тонкий соблазн духовного мещанства». «Жажда красоты слишком легко удовлетворяется суррогатами и эстетизм быта легко принимается за жизнь в красоте».

---

[11] Я имею в виду книгу Бердяева «Смысл творчества».

Не будем входить в подробное изложение интереснейших эстетических идей Булгакова, — нам хотелось лишь отметить, что только у него намечается правильное соотношение эстетического творчества и внеэстетических (религиозных) задач жизни. Идея «теургического» служения искусства, составлявшая самую суть соловьевских эстетических исканий, окончательно была дискредитирована Булгаковым, — и этим для искусства вновь открывается путь «служения», но в свободе от всяких навязываемых ему задач.

Прот. В. Зеньковский

ТИБЕТСКАЯ ПЕСНЯ

Хвала вам, шесть концов: Восток, Юг, Запад, Север,
Зенит, Надир;
пусть будет мир для всех; для ангела, для зверя
пусть будет мир.

Я одолел подъем дороги нетенистой —
вот верх горы;
привет вам, шесть концов, с вершины каменистой
земной коры.

Как все, кто до меня стоял на перевале —
я вниз гляжу;
пред спуском, — как и те, что здесь перебывали, —
я положу

на кучу камень мой. Хвала живущим, жившим
вблизи, вдали —
на грани облаков свой камень приложившим
к трудам земли.

Александр Гингер

О ТВОРЧЕСТВЕ ИОСИФА ВИТТЛИНА

(К 60-летию со дня рождения)

> «Я черпал 'содержание' для этих произведений из действительности, но не с целью ей льстить... а только для того, чтобы эту страшную и позорную действительность преодолеть и уничтожить поэзией».
>
> *Иосиф Виттлин*

Иосиф Виттлин, один из виднейших писателей польского зарубежья, вошел в историю польской литературы как автор «Гимнов», переводчик «Одиссеи» и создатель «Соли земли»[1], первой части трилогии о «терпеливом пехотинце» первой великой войны. За эту книгу, переведенную на тринадцать языков, Виттлин был награжден Польской Академией Независимых, редакцией и читателями лучшего польского литературного журнала Wiadomości Literackie (теперь выходящего в Лондоне под названием Wiadomości). В Америке эта книга сделала его в 1943 г. первым польским лауреатом American Academy of Arts and Letters. В 1939 году Виттлин был польским кандидатом на получение Нобелевской премии.

Мне кажется, что в этом внешнем признании блестящего поэта и писателя выразилось не только преклонение перед его мастерством, но и внутренняя признательность читателей за такое отношение к человеку, которое необычайно редко в наш век у крупных представителей литературы и искусства.

Любовь к человеку, жалость к нему, впервые вылились у Виттлина в поэтической форме в «Гимнах», раннем цикле стихов, написанных во время братоубийственной польско-украинской войны 1918-19 гг. Эти напряженные молитвы-песнопения почти библейской силы и насыщенности спасли моло-

---

[1] *Hymny* (1920, переиздано в 1925 и 1929 гг.); *Odysseja* (1924, переиздано в 1931 г.); *Sól ziemi* (1953, переиздано в 1936, 1938 и 1954 гг.).

дого поэта, только что вернувшегося с фронта и горячо боровшегося за мир, от внутреннего отчаяния, порожденного новой войной. «Гимны» насыщены темой и ритмами смерти и острым ощущением присутствия Бога, к которому автор обращает свой страстный монолог. Тема смерти варьируется. Ужас смерти и ужас перед смертью диктовали поэту и раздирающие душу строки об умирающей матери, которая прощается с единственным сыном, и вырывали у него признание об «отравленном сердце» солдата, которому велено похоронить убитого врага. Страстное желание жить — «Боже, мы все не хотим умирать!» — соединено в них с раскаянием:

«Друг друга резать уж больше не будем,
Грусть об утерянном рае пробудим:
Смоем вину».

Это чувство перерождается в бунт, доходя до богохульства: «Сын мой, зачатый в лоне моей мысли, о мнимый наш Отец!» И вместе с «гимном беспокойства, безумия и скуки», в котором сменяются настроения поэта-Протея, всё заканчивается грандиозным образом скуки:

«Раскрыло пасть мирозданье,
Мильон языков показало,
Зевает
Уаааааааа — — а — — — —»

Но тут же рядом — стихи, полные пламенного религиозного экстаза, как «Гимн гимнов», «Псалом» или «Гимн безмятежности духа». Однако самым характерным для творчества Виттлина этого и более позднего периода надо признать «Гимн о ложке супа», доставивший автору прочную славу. Привожу это стихотворение в моем переводе:

Гимн о ложке супа

Я Тебе хочу дать ложку супа,
Мой, замёрзший на чужбине, брат.
Ты, что шёл в теченьи долгих зим,
Шёл в течении трех знойных лет
По пространству необъятных нив
Шёл и шёл,
И шёл всё без конца.
И на мокрых кочках ночью спал,
И в вагонах Ты, как скот, лежал,

Ел во рвах заплесневелый хлеб,
И табак-навоз не раз жевал,
Из болот вонючих воду пил,
Шёл и шёл
И шёл всё без конца —
Рыжие Тебя кусали вши,
Жалили огнем свинцовым пули,
Пока алчная Тебя не съела смерть,
Пока смерть не выпила до дна,
Да, Тебя, иссохшего не раз
В жар июльский словно этот пруд,
Мрака полный в час после заката.

Я Тебе хочу дать ложку супа!
Может быть, очнешься вдруг опять
Ты, в стрелковом рве окостенелый
И забытый сменой часовой!

Ты мой брат, за что там бился Ты,
И вши рыжие за что Тебя кусали,
И за что тащился Ты вперед,
Стебли ел
И жижу пил —
Этого ни Ты, ни я не знаем.
Может быть Тебе то скажет Бог.

Но одно, одно лишь знаю я,
Что в минуту, когда смерть пришла,
Смерть пришла, окованная льдом,
Смерть пришла на цыпочках к Тебе,
Ты не звал ни матери своей,
Ни отца, и ни жены не звал Ты,
Но взывал своей больною грудью,
Но взывал Ты судорогой рук,
Рук и ног и страшными глазами
И взывал Ты стынущею кровью:
«— Ложку супа! — Дайте ложку супа!»
Что напрасно дать теперь хочу.

(1918-19 гг.)

Войну Иосиф Виттлин считал злом, самым страшным преступлением перед человеком и перед Богом, у которого дьявол «украл пятую заповедь и продал ее императорам» («Соль земли»). Впоследствии автор занял более умеренную

позицию по отношению к войне, но всё-же никогда не соглашался с тем, что существуют «справедливые войны», которые санкционирует даже церковь. Если во время второй мировой войны он был внутренне готов умереть на баррикадах Парижа, то всё же никогда не мог найти морального оправдания войне как таковой. Моральная сторона человеческой жизни всегда и больше всего занимала поэта. Подобно Гоголю[2], с горькой звездой которого Виттлина связывают многочисленные нити, Виттлин «от юности своея» обладал необычайной моральной впечатлительностью, и подобно Гоголю, создал в молодости «эстетическую утопию», надеясь «красотой спасти мир». Он и позже не перестал мечтать о том времени, когда «с изменением морали изменятся... и экономические отношения».

Во время создания «Гимнов» Виттлин занимался также переводом на польский язык «Одиссеи» Гомера. В войну «Одиссея» ожила для автора, вдохновляя его жаждой жизни и преодоления гибели, подстерегающей человека на всех путях. Одиссей отождествился тогда для Виттлина с солдатом, стремящимся к мирному уюту утраченного дома и семьи. Позже великий греческий скиталец, взыскующий своей Итаки, представлялся Виттлину уже символом всего страждущего человечества, которое, повинуясь слепой судьбе, неспособно отыскать дорогу домой.

«Мы все — мореплаватели,... странники по неизмеримому океану мира и все мы тоскуем по нашей прародине... Каждый из вас Одиссей, а вот история ваших скитаний... Вы скитаетесь среди повседневных огорчений и бедствий, вы скитались среди ужасных войн за человеческие и божеские законы... Вы скитаетесь в поисках славы, хлеба и вина. Но больше всего вы тоскуете по любви... Итака — только грудь, на которой хочет отдохнуть всё человечество...»[3]

В «Одиссеи» воплощена «тоска человека по самом себе,

---

[2] Виттлин посвятил Гоголю юбилейную статью «Tragiczny Gogol» в польском парижском ежемесячнике Kultura, а в 1934 году напечатал в «Wiadomosciach Literackich» свои замечания о «Шинели» Гоголя в связи с ее постановкой в Варшаве в сценической переделке Юлиана Тувима. Виттлин не раз говорил, что «Шинель» Гоголя уже в юности поразила его в самое сердце.

[3] *Odysseja* в переводе И. Виттлина, 2-ое изд., 1931, стр. 8 и 9.

по родине нашей души, по утраченной простоте, религиозности, свежести восприятия мира».. «Одиссея — вечная легенда о нас самих».

«Одиссея» была для Виттлина той академией, в которой он обучался художественному мастерству, искусству поэта и прозаика. Семилетняя работа над поэтическим переводом этого «решительно совершеннейшего произведения всех веков» (Гоголь) поглотила его так, что он внутренне отошел даже от «ужасов войны», потрясших его в юности. Но тема войны, тема отношения человека к войне, всё же так и осталась центральной для творчества Виттлина. Свое слово о войне Виттлин сказал в эпопее о «терпеливом пехотинце» и сказал так, что его услышали далеко за границами Польши. Однако, прежде чем окончательно выйти на путь эпического прозаика, он мечтал еще проявить себя в музыке и драматургии. Следы глубокого увлечения музыкой заметны в прозе Виттлина. К нему также можно отнести то, что сказал Р. Б. Гуль о прозе Цветаевой, назвав ее «изумительным композитором и дирижером с необычайным искусством ведущим симфонический оркестр своей прозы». Для Виттлина поэзия постепенно становилась лишь «контрабандой», несмотря на то, что те немногие стихи, которые он написал за последние годы, могут справедливо считаться лучшими образцами новой польской поэзии. Приведу лишь одно, написанное в 1933 году (перевод мой).

Колыбельная моей дочери

Ради Тебя, светлая, рвут люди чёрные
Бананы зелёные близь знойной пустыни;
Ради Тебя, всяким добром нагружённые,
Плывут суда в Гдыню.

Ты спишь и не знаешь об этом.
С каждым рассветом, когда зори на небе
С войсками мрака бой ведут кровавый,
Молоко белое издалека Тебе
Везут в Варшаву...

А Ты со сна улыбаешься.
И непонятные звуки-снаряды
В стены кроватки бьют как в преграду —
Панцырь незнанья Тебя тишиною
Нежно, как старая няня, закроет.

Так по волнам плывешь времени.

Прежде чем ангельский сон Твой прервется,
Прежде чем стон до Тебя донесется,
Прежде чем вол заревет, умирая,
Прежде чем в радости горе узнаешь,
Спи и не знай ни о чём!

Виттлин, по собственному признанию, сначала стеснялся печатать свою прозу. Он предъявлял к эпическому писателю чрезмерные требования, настаивая на объективности, доходящей до мнимого равнодушия, за которым скрывается и ненависть и любовь; изображения великого и мелкого с одинаковым вниманием; умения воспроизвести не только материальные подробности среды, но и ее душу, «душу движения, душу шума и тишины, душу битвы...»; умения описать «внутренние баталии и пейзажи, скрытые под поверхностью сознания». Виттлин понимал, что настоящее эпическое творчество — аморально: оно одинаково относится к добру и злу. Толстой не был милитаристом, но как он изобразил войну в «Войне и мире»!.. Виттлин называет «Войну и мир» самой совершенной военной эпопеей со времен Гомера. Этими высказываниями, рассеянными по многочисленным статьям в польских журналах, Виттлин как бы намечал пути обновления эпики, доведенной до труднопревосходимого совершенства великими эпическими писателями XIX века. Он чувствовал, что надо найти новые силы эпического искусства, которые сообщили бы умирающему эпосу новую жизнь. Сознавая всю трудность такого «воскрешения» эпоса во второй четверти XX века, Виттлин всё-таки начал в 1925 году работать над современной эпопеей, дав ей скромное название «повести». Десять лет спустя вышла в свет первая часть «повести о терпеливом пехотинце», под заглавием «Соль земли».

В ней за объективизмом и изумительной осведомленностью автора всюду всё-таки чувствуется его любовь и ненависть к своим героям. Поэтическое и даже патетическое (в прологе) изображение апокалиптических перспектив нашей эпохи уравновешивается точным и мастерским воспроизведением повседневной жизни тыла, которую ставит под удар война. Изображение событий мирового значения ничуть не мешает поклонению автора «Богу деталей» (Пастернак), может быть, даже усиливает их. Душа мифической местности Топоры-Чернелица (где-то в Галиции), описанной автором, душа хат, садов, полей, животных открыта автору так же,

как открыта ему, утонченному интеллигенту, душа неграмотного гуцула, Петра Невядомского, которого он сделал героем свой «повести». Для этой души маленького мирка, а, может быть, мировой души, у автора есть добрая и полная понимания улыбка, какой улыбаются детям. Для того, чтобы лучше ввести нас в этот хорошо знакомый ему мир Петра Невядомского, и чтобы избежать «лукавого мудрствования», которое так сушит нашу современную литературу, автор часто прибегает к т. н. приему «остранения». Этот прием помог Виттлину также разрешить сложный вопрос об отношении между автором и героем книги, хотя он и не избежал упреков критики в том, что его Петр — «психологическая загадка» (Виктор Вейнтрауб) или, что он не гуцул, а гомункулус (К. Вежинский).

Петр Невядомский, неграмотный носильщик на станции Топоры-Чернелица, неумеющий даже отличить правой стороны от левой, в своих реакциях и переживаниях не только не разнится от более умных и образованных людей, но часто даже превосходит их. Он — мечтатель по природе, каких много среди крестьян, неосуществивший себя поэт, наделенный редчайшим даром создавать свои собственные мифы и метафоры. Петр не утратил еще связи с окружающим его Божьим миром, он вырастает из него. Он узнает «голос собственной души» в мычании коров, «боль существования», «нищету рода» разделяют с ним животные и даже насекомые. Когда Петр уходит на войну, «расставание с миром мертвых вещей причиняет ему больше грусти, чем разлука с живыми». В день отъезда на фронт происходит затмение солнца, которое местные жители считают концом мира и непосредственно связывают с войной.

«Петр Невядомский принадлежал к тому роду людей, для которых самые разнообразные явления вытекают из той же причины и находятся в очевидной связи с их собственной жизнью. Поэтому в затмении солнца Петр видел не только тесную связь с войной и смертью папы римского, как другие гуцулы, но и со своими собственными грехами».

Именно такого человека ставит Виттлин в центре своего повествования, как «малого», но достоверного свидетеля и участника мировых событий. Петр призван раскрыть правду о великой войне. Хорошо ли он это делает? Почему книга Виттлина не просто еще один «военный роман», которыми

была наводнена литература послевоенного времени? Сила «Соли земли», по-моему, прежде всего в силе слова, в той динамической, красочной и звучной жизни, которой наделяет его автор. Для Петра Невядомского слово, как и весь окружающий мир, не утратило еще своей свежести, цвета, запаха, звука. Для него камень был еще каменным, а соль — соленой.

«Целый мир цвел красивыми названиями, как луг. Вероятно, сам Господь посеял их века назад. Были названия ароматные, сладкие, нежные и были названия острые, грозные, ожесточенные. Откуда, например, взялось название: Топоры? Вероятно, тут были когда-то одни леса, и пришли дровосеки с топорами и выкорчевали их...»

В прозе Виттлина всё тянется к человеку, к жизни, к выражению себя, к движению. Река Дунай у него — Дед-Дунай, лампа сравнивается с ребенком, пальцы на ногах новобранцев «беззащитны, невинны и стыдливы, как маленькие девочки», рука (Франца Иосифа З. Ю.) опускается «на сушу бумаги как летчик, который почувствовал в воздухе почву под ногами», а вокзал сравнивается с костелом, в котором «горячо молятся столбами дыма и кадят паром несколько локомотивов...» Особенно одушевлены и персонифицированы слова «жизнь» и «война» и само «слово», которое «летает», «оживает» и даже «выходит в мир, волоча за собой черный, траурный шлейф...»

В творчестве Виттлина человек ставится на один уровень с животными и предметами. Это «разжалование» человека, снижение его осуществляется особенно ярко именно во время войны, которая превращает его в «пушечное мясо», в «бифштексы для русской артиллерии», в «топливо тел», бросаемое в «железные печи войны» и наконец просто в «рекрутскую падаль», по которой «не заплачет даже собака». Не только люди превращаются в падаль. Война разлагает всё: даже солома, которой рекруты набивают тюфяки, у Виттлина становится «останками мадьярских хлебов», а штатская одежда новобранцев, висящая на крюках, представляется ему «разлагающимися трупами повешенных». Война, как смерть, всё уравнивает, на всё накладывает свой отпечаток. Отсюда такое обилие «военных» метафор и сравнений в «Соли земли»: «на армиях людей плывут армии пуговиц, свистков, ремней...»; армия людей, возвращающихся с фронта, была

как «армия потухших фонарей»; даже копны сена «стоят в неподвижной стрелковой цепи как зачарованное войско», а черные горшки, макитры... «торчат на колах заборов, как шлемы на головах крестоносцев». Война охватывает не только землю, но и небо: и там происходит «мобилизация» при надвигающейся грозе, а потом солнце разбивает «крепость туч»[4].

Виттлин старается смотреть на всё глазами своего героя. Язык его образен и лапидарен, сравнения и метафоры — точны, почти техничны. Они почерпнуты большей частью из быта простых людей, крестьян: солдаты — овцы, вагоны — гробы, плачущие гуцулки — побитые собаки, старики — кусты, иссохшие на ветру, волосы как конопля, дома как снопы, машинка для стрижки волос как жнейка и т. п. Если автора можно всё-таки порой упрекнуть, что в метафоризации он не всегда всё видит глазами своего героя, то надо сказать, что это удается ему лучше там, где для углубления «остранения» он «раскрывает» метафоры, как например, метафору «сеять панику», которая представляется Петру каким-то «ядовитым семенем, чем-то вроде табака», который было строго запрещено сеять.

Петр — хороший католик, хотя и «греческого, восточного» обряда. Книги Ветхого и Нового Завета — единственные книги, которые знает ходящий в церковь, неграмотный Петр. Они и есть главный источник цитат, метафор и сравнений «Соли земли». И эпиграф, и название книги взято из Евангелия. Есть в книге и другие библейские и евангельские цитаты и образы, однако чаще всего пропущенные через сознание Петра.

Затмение солнца вызывает в душах гуцулов целый ряд образов гибели, известных им из Библии. «Деревня Топоры превратилась в объятых страхом душах в библейский город Содом, а Чернелица — в Гоморру, и для многих долина Прута, пахнущая мятой в летние вечера, — стала долиной Иосафата. Все помнили из Священного Писания — египетскую тьму и помнили, что в минуту, когда на Голгофе распинали Христа, солнце потухло и наступила ночь средь бела дня, так же, как сегодня. И был в снятынском уезде «плач и скрежет зубовный». Петр Невядомский впервые уясняет себе тя-

[4] Подобные образы «войны» на небе во время грозы есть и в поэзии Лермонтова, Андрея Белого и польского поэта Юлиана Тувима.

жесть греха строителей Вавилонской башни и справедливость наказания за него, когда сталкивается на венгерской станции с венгерским жандармом, который не понимает его и его спутников и хотя «как каждый человек, имеет глаза, уши, губы, но не может произносить человеческих звуков. Нет, мадьярский язык не был человеческим языком. Он был огнем, серой и паприкой». Библейских и евангельских цитат и метафор можно было бы привести множество. Но важнее то, что вся сущность книги Виттлина носит легендарный, библеобразный характер. Книга построена как бы на своего рода противопоставлении библейской и евангельской (от десяти заповедей Ветхого Завета до десяти заповедей блаженства) богоданной морали, крепче всего сохранившейся среди крестьян, и какой-то дьявольской перестановки всех ее основ, осуществляемой в армии во время войны. Автор — мастер противопоставлений, о чем свидетельствует хотя бы большое количество антитез и оксюморонов (один из них — «здоровая смерть» — заглавие второго тома трилогии), производит эти противопоставления путем перенесений, когда Петр, этот «новый Адам», попадает из гуцульского «рая» прежней жизни в армейский ад.

В армии Бог превращается в какого-то абстрактного, военного Бога. Зато там есть свои кумиры, свои божества, которым служат фанатические жрецы, принося им даже человеческие жертвы! Первое место в этом своеобразном пантеоне занимает божество Военной Дисциплины (Субординации), которому поклоняется по своего рода «священным книгам» Военного Устава, сам фельдфебель Бахматюк. Бахматюк — блестящее воплощение идеала солдатчины, тупой, жестокой и бессмысленной. Он занимается «чистой военщиной, как занимаются чистой поэзией»... Именно Бахматюк — своего рода новый создатель новой породы людей — солдат!

«Страшной силой обладало его слово. Когда он орал: 'Я сделаю из тебя человека!' несчастное существо, к которому были обращены эти слова, чувствовало, что перед ним стоит настоящий создатель, чувствовало, что через минуту начнутся ужасные дела, произойдут окончательные бытийственные вещи, что через минуту начнется творение. Бог-Отец — уже не в счет, потому что маленький, смуглый, волосатый палец фельдфебеля выделяет ток, способный убить всё живое и наново призвать его к жизни. А когда в минуту большого гнева он подходил к виновному и бледный, придушенным голосом, почти шопотом, дышал ему в лицо: 'Я из тебя, сынок, вы-

трясу душу!' — тогда 'сынок', сын земли, сын женщины, уже знал наверняка, что у него есть душа, так как через минуту он ее потеряет».

«Все чувствовали, что этот человек в длинных брюках, с медалями на груди, перечеркивает, отменяет всю их прежнюю жизнь. Это были младенцы с седыми и лысыми головами... которых великая мать Военная Дисциплина научит сосать из своей груди... В начале было Слово. Слово, разглаживающее волны, слово, которое, прозвучав, вызывает смертельную тишину. Бахматюк зажмурил глаза как ханжа в самый важный момент литургии или как любитель музыки на симфоническом концерте. Он вытянулся в струнку и запел протяжно, как петух: 'Смирно!'»

После этого он прочел 37 военных статей, как читают символ веры, нагоняя страх на несчастных рекрутов перечислением всех преступлений, за которые им грозит смерть.

«Бахматюк смотрел на неподвижные лица, мундиры и сапоги. В его ушах звенела идеальная тишина, которая родилась из его слова. Он вдыхал сладкий дурман послушания и страха. И был счастлив. В этот первый день Творения, когда он брал в собственность души ополченцев — он уже видел свой труд доведенным до конца. И видел, что он был прекрасен».

Это ироническое перенесение Библии приближает нас вплотную к миросозерцанию Петра. Петр чувствует, что война тесно связана с дьяволом, ведь именно чорт старается подражать Создателю, хотя и неудачно. Во время войны чорт, играющий в произведении Виттлина, как и у Гоголя, выдающуюся роль, проявляет особенную активность. Петр даже додумывается до того, что это именно дьявол обманывает Бога, «украв пятую заповедь и продав ее императорам...» Иначе он никак не может объяснить себе, почему даже Церковь санкционирует войну, а тем самым и насильственную смерть.

С виртуозной художественностью именно благодаря герою Петру Невядомскому абсурдность бытия выявлена Виттлиным в момент перехода целой империи из состояния мира в состояние войны. Петр мечтатель и дуалист. «Как бы это было хорошо, если бы у человека было две жизни: одна для императора, для родины, а другая — для себя», мечтает Петр. «Отдав жизнь за императора на суше, на воде или в воздухе, всегда еще можно было бы вернуться домой с другой жизнью. А так нельзя угодить ни себе, ни императору». Вместо двух жизней у человека во время войны ока-

зывается две смерти: одна «гражданская, из-за болезней и страданий, так сказать, домашнего характера, а другая военная, насильственная, берущая организмы, наделенные прекрасным здоровьем. Такая смерть действует панически на человеческое воображение своей немедленностью, а также тем, что как по 'нашу', так и по 'неприятельскую' сторону делается всё, чтобы облегчить ее человеку». Как ни любил и даже не обоготворял Петр своего императора, он не был настолько наивен, чтобы считать его в праве распоряжаться человеческой жизнью уже по одному тому, что он не был ее источником. Между тем император забирал в армию не только тело, но и душу. Он тоже был дуалистом и «не отказывал в праве иметь душу самому последнему из своих подданных, самому темному гуцулу. Однако он любил порядок. Отдельно брал тела, а отдельно души... Тела — по одиночке, а души — коллективно...» «При наборе в армию тело подлежало подробному освидетельствованию врача, а душа, существование которой считалось не подлежащим сомнению благодаря премудрости военного устава, переходила во власть императора при помощи коллективной присяги, которую приносили на трех языках и атеисты, и анархисты, и социалисты без различия 'вероисповедания'». Ирония писателя здесь глубока: ведь именно тела, а не души составляют коллектив, а душа, с христианской точки зрения — единственная в своем роде, глубоко-индивидуальная ценность, которая стоит перед Богом в полном одиночестве и сама за всё отвечает...

Эта человеческая душа, сложная и непонятная, эта «сумеречная, неделимая, несообщаемая сущность каждого из нас» (Анненский) как раз больше всего и интересует Виттлина. Ее надо только уметь увидеть и раскрыть в каждом человеке, как бы мал, сер, прост ни казался он на первый взгляд. И даже чем проще, серее и мизернее, тем неожиданнее может оказаться такое «раскрытие». Виттлин наделен умением раскрывать и оценивать человеческую душу, может быть, именно потому, что он наделен любовью и состраданием к человеку, умеет радоваться всякому существованию, всякому «дыханию», которое «хвалит Господа» и глубоко скорбеть об его уничтожении. Однако наравне с таким глубоко-христианским подходом к человеку, у Виттлина заметна и большая требовательность к нему, библейская строгость. Он как бы хочет спасти человека даже помимо его самого и вопреки ему. Строгость и требовательность, иногда

почти жестокость, выражаются чаще всего в иронии, в шутке, доходящей до сарказма. В этом отношении очень интересна небольшая статья, помещенная в польском парижском журнале Kultura за 1950 г. под названием «По в Бронксе». Там, рядом с резко-отрицательным описанием земного рая теперешних еврейских жителей Бронкса, стоит молитвенная просьба — «Боже, Ты, Который судишь души евреев и неевреев, будь милостив к жителям Бронкса!», — так хорошо выражающая веру Виттлина в конечное милосердие Господа к человеческому роду. Статья о По в Бронксе вообще очень характерна для Виттлина. В ней хорошо видно, как вся его иногда почти жестокая зоркость к повседневной жизни, зоркость, которая может обмануть любого любителя реализма и «жизненной правды» в литературе, нужна ему прежде всего для того, чтобы и в мелочах раскрыть «экзистенциальные глубины». Так в другой статье в специальном номере «Wiadomości Literackie», посвященном проблемам польского моря, Виттлин вдруг переходит от самых насущных и злободневных тем к вечному, обращая взор в «Jenseits» (название статьи), чтобы там искать последних ответов на последние вопросы.

Современность как таковая никогда особенно не привлекала Виттлина. Впрочем и человек, как таковой, со всеми его «эксцессами» тоже занимал Виттлина только в молодости. Позже на смену ему пришел интерес к человеку, как проявлению действия высших сил. Современность, особенно XX век (началом которого Виттлин считает 1914, а не 1900 год), вызывает в Виттлине отвращение. Автор борется со своей эпохой, с «адом XX века», в котором гибнет Орфей. Он упрекает ее в мелочности, шумливости, заглушающей созерцательные способности человека, в бездушности цивилизации и дегуманизации культуры. Со временем эти отрицательные отзывы еще обостряются: задолго до начала второй мировой войны писатель чувствует ее приближение.

Война унесла материалы, рукописи и даже законченные главы второй и третьей части трилогии Виттлина, но, что хуже всего, оборвала ту эпическую песнь, которая звучала в душе автора «Соли земли»... «Соль земли» писалась как симфония. Виттлин сам говорит, что не может писать, пока не услышит внутренним слухом ритм и тон повествования. Как Гоголь, как Ремизов, он пишет не столько с литературной интонацией, как скорее подражая интонации живой речи, хотя в «Соли земли» и поражает почти полное отсутствие

диалогов. Проза Виттлина — опять таки как проза Гоголя — насквозь ритмична с ее загадочными мелодическими каденциями, контрапункта которых не может определить даже сам автор. Виттлин употребляет в своей прозе различные комбинации ритмических созвучий, которые раскрыты ему как поэту: аллитерации, ассонансы, повторы, инверсии, лейтмотивы с вариациями. Но это — особая тема.

Проза Виттлина знает еще и лейт-мотив другого рода, так сказать, сюжетный, я бы сказала — символический, который, как в симфонии, передается с инструмента на инструмент. Таков мотив «правой руки» — сначала по отношению к Петру, который в простоте душевной и смирении не умеет отличить правой стороны от левой, потом — по отношению к немецкому оберлейтенанту Лейтхуберу, который в гордости и высокомерии считает себя способным командовать полком на фронте одной только левой рукой, так как правая у него не действует... Читатель уверен, что лейт-мотивы первой части трилогии снова всплывут, разовьются и получат свое завершение в двух ее последующих частях. Книга Виттлина «сделана» так, что не оставляет сомнения в глубокой продуманности и целесообразности ее стиля и композиции. Виттлин принадлежит к числу тех писателей, которые никогда не бросают на произвол судьбы ни одной детали: если в «Соли земли» на странице 120-й совершенно второстепенный персонаж (гимназист Тадеуш) разбивает без всякой видимой причины стекло кухонной лампы, то мы без удивления на странице 147-й находим его осколок, в который гимназист наблюдает полное затмение солнца.

Именно поэтому легко понять почему Виттлину так трудно продолжать начатую эпопею, тон и мелодию которой он утерял в катастрофах второй мировой войны. Хорошо отдавая себе отчет в коренном различии между первой и второй мировой войной, автор вообще даже усумнился, стоит ли возвращаться к событиям истории так неожиданно превратившейся в древнюю... Однако есть много доказательств тому (например, новые издания «Соли земли» на разных языках и письма, которые получал автор из Польши и других стран), что «Соль земли» не только не утратила своей актуальности, но, наоборот, приобрела еще новое измерение, как это часто бывает с «вечными спутниками». Пророчество фигур «Соли земли», из которых одна — Бахматюк, получивший свою подлинную реализацию в гитлеровской армии, — тянется

далеко в будущее. Какие бы перемены ни произошли в душе автора за последние десятилетия, памятник Неизвестному Солдату, который он начал воздвигать, ждет своего завершения. Нет оснований сомневаться, что он будет в целом прочнее и драгоценнее всех тех памятников, у которых кладут венки в дни национальных торжеств. Такова прочность великой литературы. Герои «Соли земли», уже призванные автором к той вечной жизни, связанной с вечной памятью, которая не боится никаких войн и потрясений, ждут еще только своей смерти на страницах дальнейших частей трилогии, чтобы окончательно воскреснуть.

Творчество Виттлина, одного из немногих защитников «умирающего гуманизма» (концепция Г. П. Федотова) своим вечно-живым словом, заслуживает особенного внимания. Его свидетельство любви об эпохе ненависти ценно вдвойне: преодолением «сопротивления материала» и свойством пробуждать эту любовь в других.

Зоя Юрьева

Душа пассивна,
Дух активен.
Н. Бердяев

Душа смиренна. Дух мятежен.
Душа покорна. Дух свободен.
Душа безвольна. Дух настойчив.
Душа неясна. Дух отчетлив.
Душа пуглива. Дух бесстрашен.
Душа печальна. Дух восторжен.
Душа бездумна. Дух разумен.

А. Горская

ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

1.

Мы все еще, разумеется, очень молоды: кому 50, кому 60, кому за 70. Единственный груз, который начинает нас тяготить, это груз воспоминаний. Когда воспоминания становятся слишком обременительными, мы сбрасываем их по дороге, где придется и сколько удастся. И мы облегченно вздыхаем.

Однако бывают воспоминания, которые не только внешне отлагаются на поверхности нашей памяти, загромождая ее, но органически дополняют и обогащают нашу личную жизнь: их мы не отдаем и не отбрасываем, мы только *делимся* ими. К числу таких воспоминаний относится у меня всё то, что связывало меня с Александром Блоком. Их начало восходит к моей ранней юности, ушедшей уже в далекое прошлое...

2.

Ранняя юность, это последние классы гимназии и первые годы студенчества.

Первокурсники, второкурсники, мы торопились по вечерам в театр Коммиссаржевской смотреть Метерлинка и Пшибышевского, Ибсена и Леонида Андреева. Светлый, единственный голос актрисы улетал под колосники, унося нас с собой в легчайшей корзинке воздушного шара. Очнувшись при последнем падении занавеса и еще не в силах освободиться от ощущения полета, мы отправлялись из театра гурьбой в подвал к «Черепку», на Литейном проспекте, или к «Соловью», на углу Морской и Гороховой, в пивные «Северный Медведь» или «Северная Звезда» — на Песках, на Петербургской стороне, на Васильевском острове, в знаменитую литературную «Вену», на Малой Морской, где Петр Потемкин, «сатириконец», нацарапал на стене:

В Вене — две девицы.
Veni, vidi, vici.

В подвале «Черепка» лакей, похожий на профессора, скользил на плоских ступнях с подносом от столика к столику. Студенты кричали ему:

— Петражицкий, пол-дюжины Старой Баварии!

— Профессор, копченого угорьку! Селедку с луком!

— Слушаюсь, коллега, — отвечал Петражицкий, по профессорски.

И вот, в отдельном кабинетике с красным диванчиком, один из нас, первокурсников, второкурсников, читал вслух стихи Блока. Непременно Блока. Стакан за стаканом, страница за страницей. Окурки на тарелках, чайная колбаса, салат из картошки.

По вечерам, над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух...

Это — из так называемой «Незнакомки».

Слова у чтеца заплетались от выпитого пива. Петражицкий, с салфеткой в руке, слушал, почтительно отойдя в угол комнаты.

И каждый вечер, в час назначенный,
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями
И в кольцах узкая рука.

Студенты, всяческие студенты, в Петербурге знали блоковскую «Незнакомку» наизусть. И «девочка» Ванда, что прогуливалась у входа в ресторан «Квисисану», шептала юным прохожим:

— Я десь Незнакоумка. Хотите ознакоумиться?

Девочка Мурка из «Яра», что на Большом Проспекте, клянчила:

— Карандашик, угостите Незнакомочку. Я прозябла.

Две девочки, Сонька и Лайка, одетые как сестры, блуждали по Невскому (от Михайловской улицы до Литейного проспекта и обратно), прикрепив к своим шляпам черные страусовые перья.

— Мы — пара Незнакомок, — улыбались они, — можете получить электрический сон наяву. Жалеть не станете, миленький-усатенький.

В подвале «Черепка» чтение продолжалось до рассвета. Язык повиновался всё неохотнее, но за «Незнакомкой» шли другие и еще другие стихи.

Я пригвожден к трактирной стойке.
Я пьян давно. Мне всё — равно.
Вон счастие мое — на тройке
В сребристый дым унесено...

...И только сбруя золотая
Всю ночь видна... Всю ночь слышна...
А ты, душа... душа глухая...
Пьяным пьяна... пьяным пьяна...

Мы пили и пьянели, читая стихи Блока, как Блок пил и пьянел, создавая их.

3.

Наша юность проходила под знаком Блока. Сборники его стихотворений были нашими настольными книгами. К какому литературному течению, к какой литературной школе принадлежала поэзия Блока, нас тогда не интересовало: мы ее *слушали*, она проникала в нас и запоминалась мелодически. Впрочем, Блок сам говорил: — «Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах... Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм».

Теории в нашем возрасте были нам еще не по вкусу. Не следует, однако, думать, что мы не были с ними знакомы; но теории, школы, направления, течения — представлялись нам в то время не более, чем темой для «умных» разговоров. Мы ждали от поэзии другого, и Блок не был для нас случайностью: он был нашим избранником. Мы недолюбливали Бальмонта, называли его «подкрашенным» поэтом. Посмеивались над Зинаидой Гиппиус, потому что она писала от своего имени в мужском роде. Предпочитали им Брюсова, но он был сли-

шком холоден и академичен, почти так же, как Вячеслав Иванов. Ближе других был Андрей Белый. В Сологубе нам больше нравилась его проза. Городецкого сравнивали с кустарной игрушкой. Тепло прислушивались к Кузмину. Долетали до нас слухи и об Иннокентии Анненском. Но избранником был Блок.

Почему именно Блок? Вряд ли мы могли бы ответить удовлетворительно. Мы сближали Блока скорее с Сервантесом, чем с символистами. Рождение иллюзий, гибель иллюзий не были для нас символизмом, но жизнью. Вульгарный термин «донкихотство» казался неприменимым к поэтическому образу Дон-Кихота. Дорэ и Домье, его портретисты, несомненно были с нами согласны. Как знать, может быть крылья ветряных мельниц — действительно не только *их* крылья? Быть может, кровь — тоже *не только* кровь?

Вдруг паяц перегнулся за рампу
И кричит: — Помогите!
Истекаю я клюквенным соком!
Забинтован тряпицей!

«О блоковской Прекрасной Даме много гадали», — писал Гумилев, преступно расстрелянный Гумилев, — «хотели видеть в ней то Жену, облеченную в Солнце, то Вечную Женственность, то символ России. Но если поверить, что это просто девушка, в которую впервые был влюблен поэт, то, мне кажется, сам образ, сделавшись ближе, станет еще чудеснее и бесконечно выиграет от этого в художественном отношении».

Такое объяснение казалось нам «упрощенством», но сами мы приблизительно так и верили.

Теории подкрались к нам потом. По счастью, теории вообще приходят с опозданием, особенно — среди самих авторов. Теории раздают этикетки, контролируют и охлаждают вдохновение. Мы применяли к теориям формулу Буало, а может быть — Малерба: «L'ennui naquit un jour de l'uniformité». «Прямая обязанность художника — показывать, а не доказывать», — писал в 1910 году сам Блок, говоря о символизме, сквозь экран которого ему удалось вскоре прорваться. «Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов больше — один отвечаю за себя», — добавил он, спустя три года. «Поэзия не имеет никакого отношения к теоретическим определениям. Пикассо никогда не мог *объяснить* кубизма, хотя Пикассо его создал, прожил и пережил», — повторил Макс Жакоб, спустя тридцать лет.

4.

Наше студенческое «землячество», устраивая благотворительный литературный вечер, решило обратиться к Блоку с просьбой прочесть на нем свои произведения. Одним из делегатов был избран я. На следующее утро мы робко позвонили у дверей его квартиры. Навстречу нам вышел хорошо знакомый сомовский рисунок: высокого роста, стройный, Блок был одет в темно-коричневую длинную художническую блузу, из под которой выступал белый мягкий отложной воротник рубахи. Несколько удлиненное, спокойное, чисто выбритое лицо, чуть-чуть высокомерный, а, может быть, потусторонний взгляд, светлые волосы курчавым полукругом окаймляли высокий лоб. Блок принял нас не сухо, но и не очень приветливо, внимательно выслушал нас, угостил шоколадными конфетами и, без задержки, ответил согласием. На вечере землячества Блок, однако, не появился. Леонид Андреев и Александр Куприн оказались более сговорчивыми и не забыли нас посетить. Это было в 1910 году.

5.

Вскоре я уехал заграницу, и мое подлинное знакомство с Блоком произошло лишь много лет спустя. Знакомство, перешедшее вскоре в дружбу, носило вполне профессиональный характер. Ни Блок, ни я ни разу не вспомнили о нашей первой встрече.

В середине июля 1918 года, мой гимназический товарищ и одноклассник, Самуил Миронович Алянский (для меня — Муня), героически ставший в первые месяцы после Октября издателем («Алконост»), предложил мне иллюстрировать новую поэму Блока: — «Двенадцать», написанную в январе того же года и уже дважды появившуюся в печати. Я не задумываясь принял предложение, так как еще раньше, читая «Двенадцать», пришел от этой вещи в радостное недоумение:

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

Эх, эх, без креста!

или:

Помнишь, Катя, офицера —
Не ушел он от ножа...
Аль не вспомнила, холера?
Али память не свежа?

Эх, эх, освежи!
Спать с собою положи!

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила —
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх согреши!
Будет легче для души!

Неужели, спрашивал я себя, то были стихи Александра Блока, поэта уже начинавшего остывать и уже входившего, в читательском сознании, в хрестоматию символизма, несмотря на отрыв от него? Поэта, к которому начинали уже приклеивать и другую кличку: «цыганский романс»? Здесь был новый поэт, новый голос, новая — ахáльная, хулиганская, ножевая (а не «скифская»), но несомненная — поэзия.

В 1918 году я жил в Москве, Блок — в Питере, и мы не могли сразу встретиться. Недели через две я послал Алянскому, с попутчиком, десяток первоначальных набросков. И сейчас, несмотря на то, что люди, цитирующие Блока, приводят обычно его стихи, я воспроизведу здесь его прозу, мне особенно близкую:

«Многоуважаемый Юрий Павлович![1]

Пишу Вам, по возможности, кратко и деловито, потому

---

[1] «Юрий Павлович» — это я. В последующих записках, которые мне приходилось получать от Блока, «многоуважаемый» превращался постепенно в «дорогого», в «милого» и, наконец, в «милого друга». Вот единственная, сохранившаяся у меня, из этих записок:

«Милый Ю. П.

Итак, завтра в 6.

Ваш А. Б.»

Где? Когда? Зачем? — не помню.

что Самуил Миронович (Алянский) ждет и завтра должен отправить письмо Вам.

Рисунков к «Двенадцати» я страшно боялся и даже говорить с Вами боялся. Сейчас, насмотревшись на них, хочу сказать Вам, что разные углы, части, художественные мысли — мне невыразимо близки и дороги, а общее — более, чем приемлемо, — т. е., просто, я ничего подобного не ждал, почти Вас не зная.

Для меня лично, всего бесспорнее — убитая Катька (большой рисунок) и пес (отдельно, небольшой рисунок). Эти оба в целом доставляют мне большую артистическую радость, и думаю, если бы мы, столь разные и разных поколений, — говорили с Вами сейчас, — мы многое сумели бы друг другу сказать полусловами. Приходится писать, к сожалению, что гораздо менее убедительно.

Писать приходится вот почему: чем более для меня приемлемо всё вместе, и чем дороже отдельные части, тем решительнее должен я спорить с двумя вещами, а именно: 1) с Катькой отдельно (с папироской); 2) с Христом.

1) «Катька» — великолепный рисунок сам по себе, наименее оригинальный вообще, думаю, что и наиболее «не ваш». Это не Катька вовсе. Катька — здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка: свежая, простая, добрая — здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется; всему этому не противоречит изящество всей середины Вашего большого рисунка (два согнутые пальца руки и окружающее). Хорошо также, что крестик выпал (тоже на большом рисунке). Рот свежий, «масса зубов», чувственный (на маленьком рисунке он — старый). «Эспри» погрубее и понелепей (может быть без бабочки). «Толстомордость» очень важна (здоровая и чистая, даже — до детскости). Папироски лучше не надо (может быть она не курит). Я бы сказал, что в маленьком рисунке у Вас неожиданный и нигде больше не повторяющийся неприятный налет «сатириконства» (Вам совершенно чуждого)[2].

2) О Христе: Он совсем не такой: маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и у х о д и т. «Христос с флагом» — это ведь — «и так и не так». Знаете ли Вы (у

---

[2] Блок не знал, что я, в течение 1913-14 годов, был постоянным сотрудником «Сатирикона», может быть, впрочем, и без «сатириконства».

меня — через всю жизнь), что когда флаг бьется под ветром (за дождем, или за снегом и г л а в н о е — за ночной темнотой), то под ним мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как — не умею сказать).. Вообще, это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею, как, может быть, хуже всего сумел сказать и в «Двенадцати» (по существу, однако, не отказываюсь, несмотря на все критики).

Если бы из левого верхнего угла «убийства Катьки» дохнуло густым снегом и сквозь него — Христом, это была-бы и с ч е р п ы в а ю щ а я о б л о ж к а. Еще так могу сказать.

Теперь еще: у Петьки с ножом хорош к у х о н н ы й н о ж в руке; но рот опять старый. А на целое я опять смотрел, смотрел и вдруг вспомнил: Христос... Дюрера, (т. е. нечто совершенно не относящееся сюда, п о с т о р о н н е е в о с п о м и н а н и е).

Наконец последнее: мне было бы страшно жалко у м е н ь ш а т ь р и с у н к и. Нельзя ли, по Вашему, напротив, увеличить некоторые и издать всю книгу в размерах Вашего «убийства Катьки», которое, по моему, настолько grand style, что может быть увеличено еще хоть до размеров плаката и всё-таки, не потеряет оттого. Об увеличении и уменьшении уже Вам судить.

Вот, кажется, всё главное по части «критики». Мог бы написать еще страниц десять, но тороплюсь. Крепко жму Вашу руку.

12 августа 1918 т. Петербург.

Александр Блок».

Да, я убрал папироску и отыскал новую Катьку, хотя эта тоже курила. Я встретил ее в одном из московских трактиров и срисовал с натуры. Звали ее Дуней, и о Блоке она не слыхала.

Да, я нашел и нового Христа, или, вернее, я убрал совсем Христа, заменив его прозрачным и бесформенным силуэтом, слившимся с флагом. Впрочем, с литературным образом Христа в поэме «Двенадцать» у Блока вообще было много сомнений. На вопрос Гумилева, он ответил:

«Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда же я записал у себя: «К сожалению, Христос».

Закончив двадцать рисунков, я приехал с ними в Петербург. Там сразу же, произошло мое знакомство с Блоком. Новой критики не последовало, и через полчаса нам уже казалось, будто мы знаем друг друга давным давно. Комната, книги, письменный стол, какие-то обои. Довольный Алянский. За окнами, «на улицах, плакаты. Бушует ветер. К вечеру ураган (неизменный спутник переворотов)»[3]. Промерзший Петербург. Кровь. Пищевые нехватки. Одетый в пиджак, поверх толстой шерстяной фуфайки, Блок говорил, что иллюстрации, в сущности, совсем не иллюстрации, а «параллельный графический текст, рисованный близнец»; что поколение «Мира Искусства» не создало ни одного подлинного живописца, но дало плеяду прекрасных иллюстраторов, таких как Бенуа, Добужинский, Сомов, Бакст, Рерих, Остроумова-Лебедева, Нарбут, Кордовский, Чехонин, Кругликова, Митрохин; что самым плохим иллюстратором был русский Боклевский, прорисовавший «Мертвые Души», а самым замечательным — француз Гранвиль, последователи которого еще не успели сорганизоваться; что, к сожалению, у него, у Блока, водки дома нет, но что хорошо бы... И опять о том, что рисунки к «Двенадцати» следует увеличить до плакатного размера. Но как? Для чего? По какому поводу?

Книга вышла в конце ноября; она была отпечатана в большом формате, Алянский, без возражений, согласился на дополнительный расход. Он ничего не потерял. Мне неизвестно в точности, сколько изданий выдержала наша книга. Во французском издании «Двенадцать», с моими рисунками, хоть и без моего ведома, вышли в Париже в 1923 году (изд. «Au Sans Pareil», перевод И. Сидерского). Должен прибавить, что в 1920 году, тоже в Париже, «Двенадцать» уже были отпечатаны с отличными рисунками моего друга, Михаила Ларионова, в переводе Сергея Ромова (изд. «La Cible»).

6.

В 1919-м году желание Блока исполнилось: не помню, по какому поводу (возможно, что без всякого специального повода), в Москве, в помещении Московского Совета, был устроен литературный вечер, на котором молодой актер театра имени В. Ф. Коммиссаржевской, перешедший впослед-

[3] Слова из записной книжки Блока.

ствии к Станиславскому, Кторов, читал «Двенадцать», в то время, как на огромном экране проектировались волшебным фонарем мои иллюстрации, увеличенные до плакатных размеров и даже раскрашенные мною к этому случаю. Припоминаю, как предварительно Кторов тщательно репетировал блоковский текст со мной наедине, так как актеры обычно читают стихи довольно своеобразно. Один посетитель Ясной Поляны сказал как-то Льву Толстому, что приедет к нему в следующий раз с знаменитым актером Орленевым, который-де замечательно читает стихи.

— Но ведь вы знаете, — возразил Толстой, — что я не люблю стихов.

— В том-то и дело! — воскликнул гость, — Орленев так читает стихи, что вы даже и не скажете, что это стихи!

Организатором московского вечера был расторопный и чрезвычайно симпатичный юноша, казавшийся почти подростком, Костя Уманский, о котором его мамаша, весьма буржуазная дама, печаловалась мне:

— Из-за этой противной революции Костя совсем отбился от рук и даже отказался кончить гимназию!

Впоследствии Костя Уманский, с детской готовностью хлопотавший тогда вокруг волшебного фонаря и бесконтрольно чтивший поэзию Блока, сделал «блестящую» и неожиданную дипломатическую карьеру: он был назначен послом СССР сначала в Коста-Рику, затем в Мексику и, наконец, в Соединенные Штаты Америки. В 1945 году, однако, переезжая из Мексико в Вашингтон, Костя Уманский погиб в авиационной катастрофе. Виктор Серж (Кибальчич) утверждал, что гибель Уманского была предумышленным убийством.

Мне неизвестно, как проявил себя Уманский на политическом и дипломатическом поприще, но свою любовь к искусству он доказал, выпустив в Мюнхене (изд. Hans Goltz 1920) книгу о русских художниках «Neue Kunst in Russland», очень толковую, хотя и несколько диллетантскую, где упоминается, между прочим, и о «Двенадцати» Блока.

7.

Со дня моего знакомства с Блоком начинаются наши частые встречи, личные, деловые, «общественные»: в издательстве «Всемирная Литература», у Горького, у А. Н. Тихонова; в «Театральном Отделе Наркомпроса», у М. Ф. Андреевой; в

«Доме Литераторов»; в «Доме Искусств»; на театральных премьерах; у друзей; у Алянского; у меня; на пьянках с «самогоном»...

О чем мы говорили с глазу на глаз? О революции? Конечно и о революции. Был ли автор кровавых «Двенадцати» революционером в привычном смысле этого слова? Считал ли он революцию действительным обновлением?

В 1917-19 годах Блок, несомненно, был захвачен стихийной стороной революции. «Мировой пожар» казался ему ц е л ь ю. Мировой пожар не был для него даже символом разрушения: то был «мировой оркестр народной души». Уличные самосуды представлялись ему более оправданными, чем судебные разбирательства. «Ураган, неизменный спутник переворотов». И снова, и всегда — Музыка. «Те, кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души, если не сегодня, то завтра», говорил Блок еще в 1909 году. В 1917 году Блоку почудилось, что он ее услышал. В 1918-ом он призывал интеллигенцию: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — с л у ш а й т е Революцию». Эта фраза была ровесницей «Двенадцати».

Но для многих из нас (и для меня в том числе) революция тогда была еще только спектаклем. Всё страшное, что обрушилось вместе с ней на человеческую жизнь в потрясенной России, казалось нам эпизодом; захватывающим, трудным, может быть — необходимым, даже погибельным, но, несмотря на это, — не более, чем эпизодом. Сегодня нам в этом уже можно сознаться. Мы не бились ни в рядах революции, ни в рядах ее противников. Но мы не были к ней равнодушны: каждое утро, в ее первые годы, мы ждали новых впечатлений. Мы были, по слову Мих. Осоргина, «свидетелями истории» — впрочем, довольно поверхностными: мы смотрели и слушали, не всматриваясь и не прислушиваясь, как к тому призывал Блок. И мы стали п р о т и в революции лишь когда ее бессмысленная, позорная бесчеловечность сделалась для нас о ч е в и д н о с т ь ю. Или — в иных случаях — когда революция просто надоела нам, как может надоесть любое, слишком затянувшееся зрелище.

Революция превращалась для нас в «окружающую обстановку». Наша в н у т р е н н я я жизнь попрежнему была заполнена искусством. Искусство было для нас главным. Но революция социальная, материалистическая, хронологически совпала с революцией в искусстве, и это совпадение спо-

собствовало ряду недоразумений и даже оказалось для некоторых из насъ — художников и поэтов — роковым.

Если революция кончилась для нас, когда ее эксцентричность и наше опасное хождение по проволоке над бездной сделались будничной ежедневностью, — для Блока революция умерла, когда ее стихийность, ее Музыка стали уступать место «административным мероприятиям» новой власти[4]. Уже в 1919 году самосуды перешли в руки состоявших на месячном жаловании палачей из Чрезвычаек. Мировой пожар, мировой оркестр всё заметнее начинали подчиняться коммунистическим пожарным и дирижерам. Преображение мира превращалось в дозволенное и декретированное разрушение. Нет, это было уже не то.

«Не так, товарищ!» — обращался Блок к Маяковскому, еще воспевавшему в те годы разрушение, — «не меньше, чем вы, я ненавижу Зимний Дворец и музеи (?). Но разрушение так же старо, как строительство, и так же традиционно, как оно. Разрушая постылое, мы так же скучаем и зеваем, как тогда, когда смотрели на эту постройку. Зуб истории гораздо ядовитее, чем вы думаете, проклятья времени не избыть. Ваш крик — всё еще крик боли, а не радости. Разрушая, мы всё те же рабы старого мира; нарушение традиций — та же традиция... Одни будут строить, другие разрушать, ибо «всему свое время под солнцем», но все будут рабами, пока не явится третье, равно не похожее на строительство и на разрушение».

Этого третьего Блок не дождался. Мы пока еще — тоже. Впрочем, может быть, мы его видим: не в консерватизме и не в революции, но — в постоянной эволюции, без разрушений и без убийств...

В последний год его жизни разочарования Блока достигли

---

[4] На эту «музыкальную тему» о Блоке опубликовано уже большое количество статей. Наиболее давняя и, может-быть, лучшая из них принадлежит перу нашего общего товарища, композитора (ему и книги в руки) Артура Лурье: написанная всего три месяца после смерти Блока, в ноябре 1921 года, она тогда же была прочитана в Вольфиле, то-есть — в Петербургской Вольной Философской Ассоциации (где Блок читал доклады о «Крушении гуманизма» и о «Владимире Соловьеве в наши дни»), и напечатана в сборнике «Стрелец» (№ 3, 1922, Петербург).

крайних пределов. В разговорах со мной он не боялся своей искренности:

— Я задыхаюсь, задыхаюсь, задыхаюсь! — повторял он, — не я один: вы тоже! Мы задыхаемся, мы задохнемся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу!

или:

— Опротивела марксистская вонь! Хочу внепрограммно лущить московские семячки, катаясь в гондоле по каналам Венеции. O, Ca' d'Oro! O, ponte dei Sopiri!

Такие фразы не забываются... Уже в апреле 1920 года Блок писал о «Двенадцати»: — «В январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907, или в марте 1914. Оттого я не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было написано в согласии со стихией... Те, кто видят в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой...

Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение «Двенадцати» к политике... Поэма написана в ту исключительную, и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства; в море человеческой жизни есть такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой... Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугою над ними. Я смотрел на радугу, когда писал «Двенадцать», оттого в поэме осталась капля политики.

Посмотрим, что сделает с этим время... Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией...»

Почти полное сорокалетие, прошедшее со дня написания «Двенадцати», ничуть не состарило поэму: потому что рядом с мертвой Маркизовой лужей тогдашней политики, рядом с задушенной революцией — в поэме ж и в е т художественная форма.

. . . . . .

29 января 1921 года, в Доме Литераторов, уже больной, Блок произнес (в речи, посвященной 84-й годовщине смерти Пушкина), следующие слова:

«П о к о й и в о л я необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И по-

эт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл... Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение».

Я осторожно оглянулся в эту минуту на присутствующих: беспокойство отражалось на многих лицах. Голос Блока был, как обычно, ровен, тих и тверд.

После «Двенадцати» и «Скифов» (обе вещи были написаны в январе 1918 года) Блок, как поэт, замолчал. В конце июня 1920 года он сам сказал о себе: — «Писать стихи забывший Блок».

Поэма «Двенадцать», однако, успела пробить Блоку брешь в широкую толпу, ту толпу, которая никогда раньше его не читала. Поэму «Двенадцать» эта толпа опознала по слуху и, несмотря на наступившее творческое молчание поэта, его популярность росла со дня на день.

Помню, как по поводу выпуска первого номера «Записок Мечтателя», Муня Алянский, в начале октября 1919 года, устроил у себя на Троицкой улице вечеринку. Присутствовали: Блок, Белый, голодный и страдавший одышкой Пяст, Зоргенфрей, кажется Иванов-Разумник, Оленька Глебова-Судейкина, еще человек пять... Муня Алянский собственноручно состряпал громадный форшмак из мерзлой картошки лилового цвета; вместо селедки он размочил в воде вяленую воблу, мяса же не достал вовсе. Форшмак, тем не менее, удался на славу (последний форшмак, съеденный мной в России), хотя и вышел настолько соленым, что под него можно было выпить небольшое озеро. Муня Алянский «расшибся в доску» и выставил три бутылки аптечного спирта, который и заменил нам озеро, а также и быстро угасавшую печурку, называемую «буржуйкой». Произносились речи, читались стихи (стихи Белого были написаны на синей оберточной бумаге), потом говорили все разом, и наконец случилось так, что все заночевали у Алянского, расположившись, не раздеваясь, кто где смог — в столовой на диване, на полу, на составленных стульях, а в спальне, отдельно — Оленька Глебова-Судейкина, на хозяйской кровати. Сон был крепок, от запретного спирта не осталось ни капли, и когда, ближе к утру, в сон ворвался стук, проснулись только Алянский и я, так как мы спали в ближайшей к входным дверям комнате. Мы сразу поняли, что двери придется отворить непременно.

— Братская могила! — сказал вошедший комиссар, бросая на стол портфель, — открыли бы фортку, что-ли... Документы в порядке?

Комиссар звенел, бренчал, звякал, несмотря на отсутствие шпор и шашки (кобура не в счет, кобура — до ужаса молчаливая вещь). Комиссар звенел и брякал всем своим существом. Топтались милиционеры.

— Не шумите, товарищи, — произнес Алянский, — там спит Александр Блок.

— Деталь! — ответил комиссар, — который Блок? Настоящий?

— Стопроцентный.

Комиссар осторожно заглянул в соседнюю комнату:

— Этот?

Алянский кивнул головой. Комиссар взял со стола звенящий портфель, смял его, привел к молчанию, и, шепнув Алянскому с улыбкой «хрен с вами!», вышел на цыпочках, уводя с собой милиционеров...

Откуда, из каких социальных слоев вышел этот устрашающий, «фатальный» ночной комиссар в кожанке? Знал ли он имя Блока только по наслышке, так же, как имя Максима Горького, встретив которого, несомненно, встал бы «во фрунт»? Или он слышал от соседней портнишки плаксивый рассказ о Катьке, сгоревшей при первой вспышке «мирового пожара»? Или, как и мы все, прочел он в последнем классе «городского училища» Незнакомку? Не думаю... Его ржавые волосы, кожаная, казавшаяся клеенчатой, фуражка и снисходительная улыбка, смешанная с презрением (к «интеллигентам»), запомнились мне до сих пор.

...В предутренний снегопад, мы возвращались втроем: Блок, Белый, я. Блок в добротном тулупе, Белый — в чем-то, в тряпочках вокруг шеи, в тряпочках вокруг пояса. Невский проспект. Ложился снег на мостовую, на крылья Казанского собора, на зингеровский глобус Ленгиза. Блок уходил налево, по Казанской, Белый продолжал путь к Адмиралтейству, к синему сумраку Александровского сада. На мосту, над каналом пронзительный снежный ветер, снежный свист раннего утра, едва успевшего поголубеть. Широко расставив ноги, скучающий милиционер, с винтовкой через плечо, пробивал желтой мочей на голубом снегу автограф: «Вася».

— Чернил! — вскрикнул Белый, — хоть одну баночку

чернил, и какой-нибудь обрывок бумаги! Я не умею писать на снегу!

Седые локоны по ветру, сумасшедшие глаза на детском лице, тряпочки: худенький, продрогший памятник у чугунных перил над каналом.

— Проходи, проходи, гражданин, — пробурчал милиционер, застегивая прореху.

Записки мечтателей...

9.

Поэты, мечтатели блуждали в умиравшем Петербурге по улицам, проспектам, ротам, линиям, площадям и переулкам, по торцу, по булыжнику, по снежным сугробам, путями Пушкина, путями Гоголя. Вокруг — ни души. Темнели на домах красные флаги, провалы выбитых окон. Розовела заря на зеленом небе.

Так, во время очередного блуждания (мы были вдвоем), после затянувшегося заседания «репертуарной комиссии» (где одни голосовали за Шекспира, другие — за Карла Чапека), ранним апрелем 21-го года, Блок, остановившись, сказал просительно:

— Прочитайте мне, если помните, что-нибудь... из Блока: мне кажется, что я уже всё забыл.

Я прочел:

Над черной слякотью дороги
Не поднимается туман.
Везут, покряхтывая, дроги
Мой полинялый балаган.

Лицо дневное Арлекина
Еще бледней, чем лик Пьеро.
И в угол прячет Коломбина
Лохмотья, сшитые пестро...

Тащитесь, траурные клячи!
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!

— Вам нравится? — спросил Блок задумчиво.

— Очень. Как прежде, — ответил я, — а вам?

Блок снова приостановился.

— Мне тоже, — произнес он, — как начинает нравиться всё прошлое, когда настоящее отвращает.

И вдруг, изменив голос, он бодро и певуче сказал, почти воскликнул:

— Finito! Теперь поговорим о Кукольнике!

Мы рассмеялись. «Почему — о Кукольнике»? — хотел я спросить, но не спросил. Впрочем, о Кукольнике мы так и не заговорили. Заговорили, должно быть, о пайках или о жареных рябчиках. Недоедая и питаясь дрянью и гнилью, все много (и почти серьезно) говорили в голодные годы на кулинарные темы. Блок упоминал не только о рябчиках, но даже о лягушечьих лапках. У многих из нас осталась эта привычка. В том числе — у меня.

. . . . . .

Самым характерным в нашей жизни времен «военного коммунизма» было то, что все мы, кроме наших обычных занятий, таскали пайки. Пайков существовало большое разнообразие, надо было только уметь их выуживать. Это называлось «пайколовством». Блок в этой области оказался большим неудачником. В еще худшем положении находились Белый и, в особенности, Аким Волынский, исхудавший, изнемогший до чрезвычайности, нищий, приютившийся в богадельне «Дома Искусств», своем последнем земном убежище. А был Волынский в то же время «почетным гражданином города Флоренции», за свои труды о Леонардо-да-Винчи...

Многие из нас, напротив, не жаловались. Я получал общий «гражданский», так называемый «голодный» паек. Затем — «ученый» паек, в качестве профессора Академии Художеств. Кроме того, я получал «милицейский» паек за то, что организовал культурно-просветительную студию для милиционеров, где престарелый сенатор Кони объяснял основы уголовного права, балерина обучала милиционерок пластическим танцам, Максим Горький читал лекции по истории культуры, Корней Чуковский — историю литературы и Мстислав Добужинский рассказал (всего один раз) о петербургских памятниках искусства и старины, которые питерским милиционерам надлежало охранять. Я получал еще «усиленный паек Балтфлота», просто так, за дружбу с моряками, и, наконец, самый щедрый «паек матери, кормящей грудью» за то, что в Родильном Центре «Капли Молока имени Розы Люксембург» читал акушеркам лекции по истории скульптуры. Лю-

бопытная подробность: акушерки никак не интересовались живописью, их интересовало искусство трехмерное.

В приемной зале Центра висели поучительные афишки (воспоминание, касающееся поэзии):

«В бурном жизни кратере
Лучшие друзья младенца —
Это грудь матери
И чистые полотенца».

—

«Крепите жизнь в ребенке:
Меняйте чаще пеленки
И подстилочные клеёнки!»

—

«Алкоголики и рабы наркотиков!
Вы рождаете идиотиков,
А также — преступников,
Белогвардейскую сволочь и спутников!!!»

И еще одна, красным карандашом и в прозе: — «Подстилочные клеёнки в распределителе Центра еще не получены».

Автора стихотворных афишек звали Изюмин; он тоже получал паек матери, кормящей грудью, но почему-то вскоре повесился.

В культ-просвете «Капли Молока» (молоко там, действительно, выдавалось по каплям) сотрудничал также Корней Чуковский. Какие лекции читал он акушеркам и повивальным бабкам, я запамятовал. Но наиболее всего преуспевал в пайколовстве молодой поэт Николай Оцуп: он даже был избран коллективом «Всемирной Литературы» заведующим пайковой частью и, в этом качестве, принес ее сотрудникам немалую пользу.

Пайковые неудачи Блока принимали иногда острый характер, так что его друзья приходили к нему спешно на выручку. Пищевые неурядицы несомненно отразились на его здоровье.

. . . . . .

«Записки Мечтателей». Их вышло, кажется, не более двух номеров. Вневременный, беспредметный анахронизм. Блок находился в его абстрактном центре. А как же — «Двенадцать»? Кто знает? Возможно, что от «Двенадцати» не

осталось бы ничего, если бы там не было вот этих вневременных и безнадежных строк, казавшихся читателю «литературными отступлениями»:

Разыгралась что-то вьюга,
Ой вьюга, ой, вьюга.
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага.

Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...
.....
...И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

10.

Жена Блока, Любовь Дмитриевна, была дочерью прославленного химика Д. И. Менделеева. Вскоре после октябрьской революции его вдова укрылась на юге, тогда еще не занятом большевиками. В то время имя Менделеева не могло уберечь его опустевшую квартиру от конфискации. Зная, что я искал себе помещение в центре города, Любовь Дмитриевна предложила мне «вселиться» в это помещение, что я и сделал без излишних промедлений.

Квартира выходила парадным подъездом (впрочем, уже заколоченным наглухо) на Сергиевскую улицу, и черным ходом, через двор — на Захарьевскую. О Сергиевской улице, следовательно, пришлось забыть: входили с Захарьевской, через кухню. Из кухни в жилые комнаты вел длиннущий безоконный коридор. Стены зала, рабочего кабинета и коридора были закрыты книжными полками. Но библиотека была не для меня: море книг, на разных языках, по математике, не пригодившейся мне в жизни, по химии, по физике. Энциклопедические словари. Было, правда, несколько разрозненных томов Толстого, Тургенева, Гончарова, «Разбойники» Шиллера, Библия, Евангелие, Жюль Верн, Зола, «Потерянный рай» Мильтона... В зале, на крышке рояля, кипа потрепанных нот, и, в простенке между книжными полками, — какой-то этюд Репина; в кабинете — огромный холст в грузной золотой раме: Менделеев, в естественную величину, за лабораторным сто-

лом. Портрет этот был всеобще известен, но я, к стыду моему, не помню, кто был его автором: Ярошенко или, быть может, Крамской? Вольтеровское кресло. Статуэтки и фотографические карточки на камине. Тяжелые шторы на окнах, на дверях. Зажиточный буржуазно-барский уют девяностых годов.

Как-то, придя ко мне, Блок сказал:

— Я забежал на минутку — к вам и к моей юности...

Сколько народу перебывало у меня в менделеевской квартире, в страшные до-нэповские годы: от безымянных, пропавших без вести друзей, до будущих лауреатов сталинской премии. Поэты читали стихи, влюблялись в танцовщиц и в драматических актрис. Впрочем, в них влюблялись и художники: «мир-искусственники», кубо-футуристы, супрематисты, конструктивисты, рисовавшие для получения пайков пропагандные плакаты РОСТА. Оптимисты еще пытались верить в тождественность политической революции с обновлением художественных форм. Скептики уже подготовляли побег заграницу. Алхимики, приходившие с бутылками, процеживали политуру сквозь семидневный черный хлеб, приготовляя самогон: они назывались «менделеями»...

Присев к роялю, Мишенька Кузмин напевал, вполголоса, под собственный акомпанимент, столь несвоевременные куплеты:

Если завтра будет солнце,
Мы на Фьезоле поедем;
Если завтра будет дождь, —
То карету мы наймем.

Если денег будет много,
Мы закажем серенаду;
Если денег нам не хватит —
Нам из Лондона пришлют.

Если ты меня полюбишь,
Я тебе с восторгом верю;
Если не полюбишь ты, —
(Кузмин делает здесь длинную паузу)
То другую мы найдем...

И так как я увлекался тогда цирком (и даже напечатал в «Жизни Искусства» нечто вроде цирковой апологии под названием «Веселый Санаторий»), знаменитый клоун Дельва-

ри, по-приятельски, обучал меня в менделеевской зале хождению на руках...

Потом подошла зима. Топлива не было. Зима разъярялась. Я ложился спать в тулупе, в валенках, в барашковой шапке, накрываясь одеялами и коврами. К утру металлический остов кровати, мои брови и ресницы покрывались крепким инеем. Самогонная химия уже не помогала. Водопроводные трубы сначала замерзли, потом полопались. Уборная не действовала. По всяким пустякам приходилось спускаться во двор. Умывание стало редкостью. Я сжег в печи сначала дверь, отделявшую ученый кабинет от прихожей, затем дверь из коридора в кухню. Потом наступила очередь паркетин: я начал с прихожей... Затем мной овладел ужас: еще немного, и мне придется кощунственно сжигать библиотечные полки, если не самые книги. Однажды утром, по сигналу одного из друзей, я в тулупе и в валенках (а, может быть, и с менделеевским стеганным одеялом) — перекочевал на Кирочную улицу в покинутую квартиру какого-то сбежавшего заграницу «свитского» генерала. Менделеевская библиотека была спасена — по крайней мере с моей стороны.

11.

Это там, в менделеевской квартире, во время ночной засидки, Блок читал мне стихи, как будто написанные им для меня.

Ты помнишь? В нашей бухте сонной
Спала зеленая вода,
Когда кильватерной колонной
Вошли военные суда.

Четыре — серых. И вопросы
Нас волновали битый час,
И загорелые матросы
Ходили важно мимо нас.

Мир стал заманчивей и шире,
И вдруг — суда уплыли прочь.
Нам было видно: все четыре
Зарылись в океан и в ночь.

И вновь обычным стало море,
Маяк уныло замигал,
Когда на низком семафоре
Последний отдали сигнал...

Как мало в этой жизни надо
Нам, детям — и тебе и мне.
Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне.

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

Почему мне было так близко и так волновало меня это стихотворение? Оно было написано в 1911 году, в Абервраке, на севере Бретани. В том же году и в те же месяцы, по случайному совпадению, я тоже жил на севере Бретани, в приморском городке Роскофе, всего за 35 километров от блоковской гаваньки, в которую я заехал как-то раз, но где ни Блока, ни военных кораблей не видал. Париж, Лондон, Канны, столицы, большие курорты принадлежат международному хаосу, общепринятому безличному маршруту. Но столкнуться в безвестном иностранном захолустье — это уже не маршрут, а личный зигзаг судьбы, который часто содержит для многих из нас эмоциональный элемент. Не помню, с чего начался наш разговор, приведший к бретонским воспоминаниям. Я практиковался в Роскофской Лаборатории Экспериментальной Зоологии в научной зарисовке невидимого невооруженным глазом мира, просиживая долгие часы над микроскопом, открывшим мне ту «новую реальность», которую я встретил впоследствии на холстах Кандинского и многих других живописцев, претендовавших на изобретение «беспредметного» искусства. Блок удивленно слушал меня и вдруг спросил, не лежал ли на плоской крыше этой лаборатории гигантский скелет кита?

— Да! — закричал я, — конечно, лежал!

И я припомнил, что я спал иногда в его челюсти, слишком ясными и звездными ночами, подкладывая под голову мой пиджак. Блок дважды был в Роскофе во время каких-то экскурсий, заходил осматривать аквариумный зал лаборатории и подымался на крышу. Блок добавил, что у него хранилась даже открытка с фотографией скелета.

Дружба с загорелыми и закорузлыми рыбаками, зеленое море, черные силуэты бретонок в кружевных головных уборах, прибрежные камни и скалы, ночная игра маяков, цокот деревянных сабо... В менделеевской квартире, при стеарино-

вом огарке (так как электричество тоже «не действовало»), мы были в ту ночь далеко от «революционной советской действительности». Нас вернули в нее бледные вертикальные полосы рассвета в разрезах оконных штор.

Далекая Бретань (Конец земли — Finistère) «предстала» для нас в ту ночь «закутанная в цветной туман». Сегодня, в Париже, возникает передо мной в этом цветном тумане далекая Россия, трагический, неповторимый тогдашний Питер...

12.

Там же, на Захарьевской улице, происходил наш спор:

Я: — Вы родните поэзию с музыкой. Но их сущность, кажущаяся однородной, диаметрально противоположна одна другой. Музыка совершенно интернациональна, над-национальна, общедоступна: она не нуждается даже в переводчике. Поэзия, напротив, глубоко национальна, замкнута и даже не поддается переводу, непереводима.

Блок: — Но звук скрипки тоже непереложим на звук рояля, флейты, арфы или барабана. Жермэн де Сталь уже 110 лет тому назад, говоря о переводах поэтических произведений, писала, что «une musique composée pour un instrument, n'est point exécutée avec succés sur un instrument d'un autre genre». Однако, взятые вместе все эти инструменты составляют оркестр. Непереводимые Пушкин, Байрон, Гейне, Мицкевич и Альфред де-Виньи, взятые вместе, представляют собой эпоху...

13.

Блок был очаровательным другом: ровным, открытым и верным. О моих встречах с ним я мог бы написать большую книгу, несмотря на то, что наша дружба длилась всего неполных два года.

В середине 1920 года здоровье Блока ухудшилось. Максим Горький и литературные учреждения хлопотали перед правительством о выдаче больному разрешения на выезд заграницу для лечения, ставшего невозможным в обнищавшей России.

У меня сохраняется следующий советский документ тех лет:

«Городским врачам, больницам и амбулаториям предпи-

сывается относиться к выдаче рецептов с высшей осмотрительностью, указывая в каждом случае имя, фамилию, возраст, адрес и классовое происхождение больного.

Примечание: доводится до сведения, что иода, идоформа, ол. рисини, препаратов мышьяка, абсол. спирта, сулемы, брома, хины, опия и его производных (кадеин и пр.), борной кислоты, салицилового натра, аспирина и др. производных салициловой группы, тоника (валерьян. капель, дигиталис и пр.), александринского листа, а также марли, ваты, бинтов и других перевязочных материалов, зубного порошка, туалетного мыла и посуды в городских и коммунальных аптеках в настоящее время не имеется. Граждане должны приносить свою посуду».

Хлопоты оказались тщетными: репутация Блока в большевистских кругах пошатнулась.

В конце июля 1921 года прибежал ко мне Алянский и сообщил, что Блок теряет рассудок, и что положение его безнадежно. Седьмого августа Блок скончался. Через час после его смерти пришло разрешение на его выезд заграницу.

Говоря со мной, однажды, о смерти, Блок назвал ее тоже «заграницей», той «в которую каждый едет без предварительного разрешения». Это звучало не очень ново, но вспомнилось с грустной иронией.

Я провел наедине с трупом Блока не менее двух часов, в его квартире на Офицерской улице. Сначала я плакал, потом рисовал его портрет. Перемена была чрезвычайна. Курчавый ореол развился и тонкими струйками прилип к голове, ко лбу. Всегда выбритое лицо было завуалировано десятидневной бородой и усами. Если не ошибаюсь, перед положением в гроб, Блока побрили.

На подушке были вышиты красным две буквы: А. Б.

. . . . . .

Несколько лет спустя, Нина Берберова опубликовала стихотворение: «8 Августа 1921 года». Я запомнил две строфы:

На одеяле первые цветы,
Покой и хлад в полузакрытом взоре,
И женщины увядшие черты,
Немеющей от бедности и горя.

Я помню день, унылый, долгий день,
В передней — плач, на лестнице смятенье,
И надо всем — нездешней жизни тень,
Как смертный след, исполненный значенья...

Евгений Замятин писал тогда о моем последнем портрете Блока[5]:

«Блок в гробу... беспощадный лист, потому что это — не портрет мертвого Блока, а портрет смерти вообще, — его, ее, вашей смерти и после этого, пахнущего тленьем лица, нельзя уже смотреть ни на одно живое лицо».

. . . . . .

Блока хоронили на Смоленском кладбище. Вместе с Алянским и двумя другими друзьями покойного (кто именно — не помню) мы держали канаты, на которых, под руководством профессиональных могильщиков, гроб опускался в могилу.

Было ужасно ветренно...

И в этом зябком, осеннем, питерском ветре жизнь потащила нас дальше: в сумерках того же дня я уже «заседал» в какой-то комиссии «по делам искусства».

1956. *Юрий Анненков*

---

[5] Я снова прочел эти слова в вышедшем в Нью-Йорке, в 1955 г., сборнике статей Евг. Замятина «Л и ц а».

ВСТРЕЧИ С АНДРЕЕМ БЕЛЫМ*

ОТ «КРЕМНЕВЫХ ЛЮДЕЙ» К «ПЕТЕРБУРГУ»

Летом 1908 г. А. Белый уезжал из Москвы. Жил сначала в Тульской губернии, в бывшем имении его матери, потом в Тверской губернии, а в августе ездил в Петербург к Мережковским. Между этими выездами появлялся в Москве то на три-четыре дня, то на неделю. Во время таких его возвращений я раза три встретился с ним. Одна из встреч (кажется в июле) особенно запомнилась: А. Белый казался «доппингированным» революционным духом, он утверждал, что в деревне под внешним спокойствием скрывается «вулкан», прежняя власть становых и урядников, терроризировавших крестьян, исчезла после 1905-6 гг. Теперь сдерживающая сила — только «попы», «агенты синодальной идеологии». В сборнике стихотворений «Пепел», посвященном памяти Некрасова, Белый изображал положение страны роковым, невыносимым:

Роковая страна, ледяная,
Проклятая железной судьбой!
Мать Россия, о, родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?

Долго так продолжаться не может, уверял он меня, вулкан откроется, лава потечет, всё сжигая; пусть сжигает, пусть выжигает этот проклятый режим. О нем говорил с великой ненавистью, цитируя при этом Некрасова: «то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть». Я слушал его, пожимая плечами. Откуда вдруг этот «левый заскок»? Наши оценки политического положения резко расходились. От доводов Белого несло несерьезной, неубедительной «беллетристикой». Я не видел никаких признаков нового взрыва. И не я один. Даже большевики перестали говорить о новой немедленной революции и Ленин приказывал большевистской армии не бойкотировать третью Государственную Думу, а постараться в нее войти.

---

* См. книги 45 и 46 «Нов. Журнала».

С конца августа Белый больше никуда не выезжал и мы встречались очень часто. В сентябре (приблизительно в половине месяца) он пришел ко мне с предложением поехать в Петровско-Разумовское: «мне кое-что там нужно понюхать». Я в этом месте никогда не бывал, хотя раза два получал от студентов тамошней сельско-хозяйственной Академии приглашение участвовать в прениях по вопросу об аграрной программе. Предложение Белого я охотно принял. Хотелось среди зелени подышать воздухом наступающей осени. До Бутырской заставы доехали на трамвае, потом пересели в поезд, тащимый паровичком. Белый держал в руках, повидимому, дамский ридикюль — какой-то палевый мешочек с вышитым на нем букетом темных цветов. Строго придерживаясь правила, усвоенного в сношениях с Белым, — ничему не удивляться, — не спрашивать ни о чем, что могло быть похожим на «любопытство к мухе с оторванной головой», — я не спросил зачем он взял этот странный мешочек и что в нем. Думаю, что мое правило иногда раздражало А. Белого — он любил эпатировать и хотел, чтобы словам и поступкам его удивлялись. Белый был очень весел, в вагоне, размахивая своим мешочком в такт стуканью колес, сначала мурлыкал, а потом уже громко стал распевать тонким голоском:

Век и Век и Лев Камбек,
Лев Камбек и Век и Век.

Соседи по вагону поглядывали на него и смеялись. Толстая торговка с большой корзиной овощей, заливаясь смехом, тыкала Белого пальцем: ишь ты, какой студент веселый! Белый ласково дарил им обворожительную улыбку и не переставал распевать о Льве Камбеке. В таком настроении я видел Белого первый раз.

В Петровско-Разумовском он стал таскать меня по обширному парку — было видно, что он здесь не впервые. Но от этой беготни я отказался: у меня, при выходе из вагона, от неловкого движения подвернулась нога и стало больно ходить. Солнце пекло, жара была тягостная, я лег в тень под липою недалеко от пруда, предоставив Белому делать что он хочет. Он куда-то скрывался, а, возвратясь, расхаживая по аллее взад и вперед, вынул из мешочка книгу, перелистывал ее, что-то бормотал про себя и, наконец, подняв ее над головою, крикнул мне:

— «Они его убили и должны были убить!»

— «О ком вы говорите? Кто это он, кто они?»

— «Шатов, я говорю о Шатове — столь дорогом лживому попу и лжепророку Федору Михайловичу Достоевскому».

Очевидно в палевом мешочке были «Бесы» и Белый приехал в Петровско-Разумовское не просто погулять, а на самом деле «кое-что понюхать». Песенку о Льве Камбеке и Веке он вытащил из «Бесов». Ее под стук вагонов лепетал Степан Трофимович Верховенский. Наименованию Достоевского «лжепророком» я совсем не удивился — в течение 1907-1908 г. Белый относился к нему с великой злобой. Достоевский в «Бесах» достаточно ясно объяснил мотивы, толкавшие Петра Верховенского убить Шатова. Белый не мог их не знать, почему же в это убийство он вносит странно звучащее, как бы одобрительное, «долженствование»?

— «Что значит они должны были его убить? Значит вы совершенно расходитесь с Достоевским, для которого, с чем нельзя не согласиться, это убийство было гнуснейшим и мерзейшим актом?»

— «Могу вас уверить, когда, касаясь самой глубинной сути этого вопроса, Достоевский говорит «да» — я говорю «нет», а его «нет» противопоставляю «да».

— «Послушайте, Борис Николаевич, вы выражаетесь так темно и загадочно, что мой бедный мозг отказывается вас понимать. Будем говорить проще и яснее: здесь в каком-то гроте Петровско-Разумовского знаменитый Нечаев и его сообщники убили студента сельско - хозяйственной академии Иванова, который не хотел поддаваться мистификации Нечаева, и труп его бросили, вероятно, вот в этот пруд. Это бессмысленное и мерзкое политическое убийство произвело в свое время громадную сенсацию и нашло себе отражение в «Бесах». Петр Верховенский прообразом имеет Нечаева, а Шатов в какой-то степени — студента Иванова. Я спрашиваю, почему Верховенский-Нечаев «должен» был, как вы говорите, убить Шатова-Иванова? Говоря «должен», — вы как будто становитесь на сторону Нечаева. Не забываете ли вы, что это фигура аморальная, отвратительная? За исключением временно им околпаченного Бакунина, никто из руководителей русской революции Нечаева своим не считал».

— «Вы говорите, что нужно проще отнестись к сути вопроса, всё-таки эту простоту нельзя же доводить до последней степени. Достоевский для образа Петра Верховенского карикатурно воспользовался фигурой Нечаева, как в том же романе под видом Кармазинова он высмеял Тургенева, а под

видом отца Верховенского — Грановского. Это всем известно, известно даже гимназистам, и меня право удивляет, что вы на этом открытии так настаиваете. Неужели вы думаете, что «Бесы» Достоевского — бытовой романчик, вроде произведений Мачтета или Боборыкина? В «Бесах» — символика. Меня интересует, хотите-ли вы понять, что за нею скрывается или не хотите? О себе скажу — Достоевский меня не о-б-манет! С другими это может случиться, не со мною».

— «Славянофильствующий Шатов, объявляющий русский народ единственным в мире богоносцем, — мне чужд. Вы это знаете. Следует ли из этого, что, с благословения и одобрения Белого, его нужно убить руками аморального авантюриста Петра Верховенского?»

В ответ Белый разражается потоком слов.

— «Я удивляюсь, что вы так мало нашли сказать о Шатове! Марксисты гордятся своими социально-политическими анализами, однако, чутье реакции в данном случае у вас отсутствует. Шатов самая черная, беспримесная, лампадная реакция, он представитель синодальной темной силы. Никогда непокидающей тенью Шатова является пророчествующий, вонючий, гнусавый, юродивый Семен Яковлевич. Полюбуйтесь этим красавцем. Желтый, лысый, с жидкими волосами, с раздутой правой щекой, перекосившимся ртом, большой бородавкой близь левой ноздри. Эта промозглая дрянь — есть тень Шатова, его проекция на экране. Семен Яковлевич, видите ли кушает уху из мелкой рыбки и картофель в мундире, а вокруг него «миловзоры» стоят на коленях, взирают на святого, крестятся, ждут вещания, милости Господа, благодати. А не к этому ли, в конечном счете, сводится синодальщина, работу которой я недавно видел в деревне? Разве это христианство? Это мерзкая каррикатура на него!»

— «Всё, что вы говорите, — только беллетристика. Вы художник, если понатужитесь, сможете нарисовать еще более хлесткую картину для характеристики Шатова. А по адресу «бесов» — Верховенского, Липутина, Шигалева и прочих — у вас слов осуждения нет. Отвечайте, без увертюк, — кого вы предпочитаете Шатова или Верховенского-Нечаева?»

— «Не делайте мне допроса! Моих убеждений никогда не скрываю. Я открыто заявляю, что лживому христианству Шатова и правительственному православию, я, не атеист, предпочитаю открытый атеизм Верховенских или их прообраза Нечаева. Нечаев — личность-статуя, а не мразь, не улитка. В

Петропавловской крепости силою своего слова он распропагандировал всю стражу. Слово его могло открывать двери тюрьмы. Достоевский подсовывает два символа: Шатов и Петр Верховенский, стремясь со свойственными ему шулерскими приемами возвысить Шатова и огадить Верховенского. Этому шулерству я не подчиняюсь. Достоевский устами Шатова говорит, что Верховенский клоп, невежда, ничего не понимающий в России. Это Шатов и все современные Шатовы ничего не понимают. Они не видят, что Россия беременна революцией, они не чувствуют, что она приближается. Только она спасет распятую Россию. Из вулкана уже доносится предвещающий грохот. Предвестники взрыва уже ходят по городам и селам. Я их вижу, я их слышу, а глухие их не слышат, слепые их не видят, тем хуже для них. Каков конечный символистический смысл образа Шатова и его тени Семена Яковлевича, если перенести их на политическую почву? Пропитанный реакцией, Достоевский предназначает им миссию закрыть кратер вулкана, чтобы лава из него не полилась. Они хотят законопатить кратер тюфячком Семена Яковлевича с желтенькими пятнышками от неудержанной сим святым ухи и картофеля в мундире. Вот куда гнет Достоевский своими поучениями. *Взрыва не избежать. Кратер откроют люди кремневые, пахнущие огнем и серою*».

— «Так как вы находитесь сегодня в трансе вещания и пророчества, — соблаговолите поведать где, в каких это кругах находятся или из каких кругов придут вами призываемые кремневые люди?».

— «Кремневых людей не ищите среди членов Государственной Думы, ни среди тверских земцев, ни среди Мережковских, заявляющих — «мы и никто кроме нас», ни среди дурачков — мистических анархистов, вроде Чулкова, ни среди марксистов с потухшей идеей взрыва в черепной коробке. Вулкан откроют, взрыв произведут люди, на которых указывает перст Ничше. Они не будут добрыми; добрые, говорит Ничше, не могут созидать, они начало конца»...

Размахивая мешочком, куда он вложил книгу, Белый быстро ходил по аллее, то приближаясь ко мне (я продолжал сидеть под липой), то далеко уходя от меня. И говорил, говорил без конца. Речь его становилась всё более темной и путанной, а когда он отходил от меня — я даже не был в состоянии уловить, что он говорит. На мои вопросы и замечания он отвечал обидчивым тоном — «не делайте мне допроса». В жела-

нии Белого подкрасить Верховенских, сделать из них каких-то больших революционеров, спасителей «распятой России», я видел только мозговой выверт, «словесную смутку», оригинальничанье. Белый вызывал у меня раздражение, я переставал быть вежливым и когда он начал доказывать, что Лжехристы (нужно думать идеи Шатова) хуже чем Антихристы (Верховенские?) — я уже не выдержал и крикнул:

— «Чепуха! Всё это чепуха! Недостает лишь ссылок на Апокалипсис и на Жену, облеченную в Солнце!»

Белый находился в это время от меня шагах в пятнадцати. Он остановился и, топая как маленькие дети ногами, визгливо крикнул:

— «Вы против меня потому, что до смерти боитесь Верховенских. *Вы боитесь взрыва,* большой революции. В этом основная причина нападок на меня. Вы во власти буржуазных страхов и чувств. *Вы хотите не настоящей революции, как я, а революции лимонадной».*

Это словечко переполняет мое раздражение и я пускаю в Белого первым попавшимся на язык ругательным словом.

— «Затыкаю уши! Бугаев — вы сегодня просто балда, воображающая себя ультра-революционером».

— «Вы не переставая меня оскорбляете! — вопит Белый. За это я вас накажу». С протянутой, сжатой в кулак, рукой, сгибаясь, припадая, он угрожающе направляется ко мне. Я вскакиваю. Меня бросает в пот. Вот сейчас произойдет что-то идиотски ненужное, дикое, нелепое, постыдное, страшное. Он меня ударит, я потеряю всякое самообладание, превращусь в зверя, изобью его, изувечу, сброшу в пруд. Но я этого не хочу. Всё молнией проносится в мозгу... Происходит нечто абсолютно неожиданное, это мог сделать лишь Белый. Он подбегает ко мне, я жмурюсь (разобьет пенсне, поранит глаз!), ожидаю удара, вместо этого — Белый подхватывает меня под руку и тащит:

— «Ну, теперь пойдем повидать Алексея Федоровича».

Почти бессознательно спрашиваю:

— «Какого Алексея Федоровича?».

— «Профессора Фортунатова, он в главном здании Академии».

Белый держит меня за руку, что-то мурлыкает. Человека, только-что желавшего меня «наказать», уже нет. Я силюсь сделать вид, что между нами ничего не произошло. Но мое волнение не могло так быстро пройти. Шотландский душ был

слишком неожидан. Ноги мои подгибаются как макароны. Плетусь, а не иду, и вдруг в сознание острой шпилькой влетает:

— «А ведь Белый сумасшедший, конечно, сумасшедший! Может быть, всё это только шутка? О, нет, шутки тут не было».

Повидимому, Белый привел меня в библиотеку Академии, а не в личную библиотеку Фортунатова. Там я никогда потом не бывал. Много полок с книгами по стенам и в середине помещения. У окна маленький бородатый человечек держит книгу. Где видел его? В Киеве, шесть или семь лет назад. Он был профессором Политехнического Института, читал на сельскохозяйственном факультете лекции по экономике и статистике. Я не имел с ним дела: был на механическом факультете. Белый меня представил ему, но Фортунатов, почти не обращая на меня внимания, тянется к Белому. Не желая мешать их разговору, отхожу в сторону, к книжным полкам. Белый с большим оживлением что-то рассказывает Фортунатову, оба смеются. Фортунатов ласково похлопывает его по щеке, а Белый ластится, прижимаясь головою к плечу Фортунатова*.

Рассматривая книги на полках и их перелистывая, — набредаю на одно, мне неизвестное, и вообще мало известное, итальянское издание (название его теперь забыл) с некоторыми данными о сельско-хозяйственных производственных ассоциациях в Италии, найти которые я до сих пор не мог. Среди всяких других вопросов, меня тогда интересовали все формы сельско-хозяйственных организаций в Европе; я считал, что

---

* В «Петербурге» Белого в главе «Бал» изображается некий профессор статистики, который «пофыркивая в клочковатую бороду» и «защипнув двумя пальцами пуговку сюртука» земского деятеля, докладывал ему о «годовом потреблении соли нормальным голландцем». На кого этот шарж? На проф. Янжула или проф. А. Ф. Фортунатова? Имя Янжула несколько раз упоминается в мемуарах Белого, но нигде я не нашел у него даже малейшего указания на А. Ф. Фортунатова. Упоминается только А. А. Фортунатов, вероятно, сын А. Ф. Фортунатова. По оживленному разговору Белого с А. Ф. и ласковой фамильярности с какой проф. Фортунатов похлопывал Белого по щеке, — нужно заключить, что они были близко знакомы. На мой вопрос, был ли А. Ф. Фортунатов посетителем семьи Бугаевых, Эллис ответил, что в последние годы жизни отца Белого его кажется довольно часто посещал Фортунатов и они, конечно, «угощали друг друга всякой цыфирью».

их образование, усиливая и преобразовывая мелкое хозяйство, свидетельствует, что аграрное развитие идет не по законам, формулированным Марксом. Увидев, что Фортунатов и Белый, как будто, кончили разговор, — я подошел к Фортунатову и спросил его — не позволит ли он мне взять эту книгу на сравнительно длительное время, так как итальянский язык я почти не знаю и читать ее мне придется с помощью словаря. Фортунатов ответил: «Вас я не знаю, но если Борис Николаевич поручится, что книга не пропадет, вы можете ее взять». «Ручаюсь за Валентинова — как за самого себя» — воскликнул Белый и мы оставляем Фортунатова, Белый — помахивая своим мешочком, я — держа итальянскую книгу. Об этом эпизоде упоминаю потому, что. по великой халатности Белого, она в библиотеку не возвратилась и полгода спустя (я уже не был в Москве) явилась предметом моей переписки с Белым.

Добиваться от Белого объяснения более чем странной сцены в парке — в мои намерения входить не могло. Если он сумасшедший, — искать объяснения его нелепостей и всяких мозговых вывертов — излишне. Мысль, что он психически болен впервые влетела в меня только в парке. До сих пор я никогда об этом не думал. Никогда этого не чувствовал. Я прекрасно видел, что Белый ни на кого не похож — этим-то он и заинтересовал меня. В этом смысле он выходит из ранга нормальных людей, из поля обычных психических норм, но это не значит еще сумасшествие в клиническом смысле слова. Мысль о помешанности Белого у меня вспыхнула и погасла, но в Петровско-Разумовском в моем отношении к нему что-то перевернулось и не столько сознательно, скорее бессознательно, потом подкатило решение: лучше подальше от него. В последующие дни, думая о нем, я чувствовал, что прежних отношений между нами быть уже не может, возникла невидимая стена, а через три с половиной месяца, после свидания с ним в присутствии Гершензона, Белый стал для меня уже и по другой причине далеким и неприятно чуждым.

В вагоне, возвращаясь из Петровско-Разумовского, я всё-таки не удержался спросить Белого — для чего он взял с собою «Бесы» Достоевского?

— «Я хотел в себе некоторые думы и чувства проверить. *Вдохнул переживания в одном месте, выдохну их в другом.* Уже два года как я задумал большой роман о революции. В фундаменте его — революция 1905 г., а от нее этаж повыше, *путь дальше.* Основные символы романа у меня смонтирова-

ны. Я, вероятно, дам ему название «Тени» — «тени прошлого, тени будущего».

О каком будущем романе говорил Белый? В его мемуарах («Между двух революций», стр. 93) есть такое указание: «август 1906 г. дал весь материал для романа «Серебряный Голубь», написанного в 1909 г., а месяц сентябрь — собрал весь материал к «Петербургу», написанному в 1912 г.».

Очевидно, о будущем «Петербурге» мне и говорил Белый. Название романа ему подсказано Вяч. Ивановым. Сам Белый долго колебался как его назвать и кроме «Тени» — у него были и другие названия: «Красное домино», «Злые тени», «Путники», «Адмиралтейская игла», «Лакированная карета». За писание «Петербурга» А. Белый взялся в 1911 г. для журнала «Русская Мысль», однако, редактор ее — П. Б. Струве, прочитав врученную ему первую часть романа, пришел от нее в ужас и категорически отказался рукопись принять. Сделав несколько изменений текста, Белый продал роман издательству Некрасова в Ярославле. Около 10 печатных листов были им набраны, но с согласия Белого переданы издательству «Сирин», в сборнике которого в 1913-1914 гг. роман и был напечатан полностью. Во время бегства Белого из СССР (1922-23 г.) и пребывания его в Берлине выпущено новое издание «Петербурга», в сравнении с изданием «Сирина» сильно сокращенное и очень измененное. Наконец, в 1924 г. «Петербург» переделан Белым в драму и в ноябре 1925 г. впервые представлен на сцене. Роль сенатора исполнял М. А. Чехов, сына сенатора — Берсенев. Оба, особенно Чехов, играли изумительно, оставляя незабываемое впечатление. Драма Белого всё-таки на сцене продержалась недолго. «Коллективное» руководство того времени нашло, что не годится давать какое-то прославление террористических деяний эс-эров. На этом больше всего, как говорили, настаивал Сталин.

Говоря о «Петербурге», я не могу забыть сцену, какой меня так поразил Белый в Петровско-Разумовском. Не могу забыть *что* он тогда мне вещал, вопя, топая ногами. Это вещание самым ясным образом определяло содержание задуманного им романа. «Символике» лжепророка Достоевского, изгнанию революционных «бесов» из тела России, ее исцелению духом «синодального православия», торжеству в ней людей, подобных Шатову, Белый намеревался противопоставить другую «символику», другую перспективу: *грядущий революционный взрыв, победу не «лимонадной», а «настоящей» революции,*

торжество в ней не «клопов» вроде Шатова, а людей типа Верховенского-Нечаева, людей «кремневых», пахнущих «огнем и серою».

Если бы Белый в 1911-1912 г. написал роман с таким содержанием, предвещавшим появление коммунистических Верховенских, предсказал в своем «Петербурге» победу людей «пахнущих огнем и серою», — его пророческое прозрение нужно было бы признать поистине феноменальным. О том, что осенью 1908 г. Белый задумал именно такой роман, повидимому, *известно лишь мне одному.* Об этом замысле Белого я никаких указаний в печати не встречал. Речи, подобной той, что я слышал от него в Петровско-Разумовском, он перед другими как будто не держал. Для осмотра грота, где произошло убийство Иванова, инспирировавшее аналогичную сцену в «Бесах» Достоевского, — Белый приезжал в Петровско-Разумовское и до нашей туда поездки. Очевидно, это место его притягивало, соединяясь с какими-то переживаниями и планами. В 1909 г. Белый был снова в Петровско-Разумовском с Ходасевичем и они осматривали грот. Но Ходасевич в «Некрополе» ни одного слова не говорит о том, что посещение грота Белым стояло в какой-то связи с затеваемым романом «Петербург». Это понятно. Белый в это время, уже выбросил полностью из головы свое пророчество о победе кремневых людей, пахнущих огнем и серою. Выбросил не в 1909, а уже в 1908 г., вероятно месяца через полтора или два после нашей поездки в Петровско-Разумовское. Мне приходится и в этом случае сказать, что, повидимому, только я знаю в какой обстановке, под чьим влиянием произошла эта удивительная смена вех. Об этом я скажу позднее, а пока хочу возможно точнее — это очень важно — установить чем он заменил в «Петербурге» выброшенную из головы революционную, окрашенную нечаевщиной, концепцию.

Присмотримся к главным «символическим» фигурам «Петербурга». Прежде всего — сенатор Аполлон Аполлонович Аблеухов. Сугубо подчеркивается, что он имел предком киргизкайсацкого мирзу Аб-Лай, в крещении Ухов. Мочульский утверждает, что сенатор отражает черты К. П. Победоносцева и толстовского Каренина. Полагаю, что это ошибка. Если речь идет о внешности сенатора, то моделью его взята «сухая и черствая» Мария Ивановна Лесковская — крестная мать Белого. «Приставьте бачки, вставьте якуньи глазенки — получится вылитый сенатор». Для внутреннего мира прообразом взят не Победоносцев, а Плеве. «Я, сударь, человек школы

Плеве». — К этим чертам, пишет Белый, «я прибавил некоторые чудачества и черты нежности отца». Прибавлены и другие черты, в том числе огромная рассеянность. Читая «Преступление Николая Летаева», ясно видишь как многое, присущее своему отцу, Белый придал сенатору Аблеухову.

В сыне сенатора — «кантианце» Николае Аполлоновиче — местами явно узнается сам Белый. Автобиографическая струя в романе очень сильна. Например, в романе Николая Аблеухова с Лихутиной проступает несчастный роман Белого с женою Блока. Ожидая ее окончательного ответа — любит ли она его или нет, едет ли с ним заграницу, — Белый с мучительной тоской метался по Петербургу, а после отрицательного ответа-приговора, — хотел броситься в Неву. Всё нашло свое отражение в «Петербурге».

— «Воспоминанья о неудачной любви охватили его. Николай Аполлонович вспомнил одну туманную ночь; той ночью он перегнулся через перила; обернулся, приподнял ногу; и гладкой калошей занес ее над перилами; казалось бы, дальше должны были и воспоследовать следствия; но... Николай Аполлонович опустил свою ногу».

Иногда Белый до такой степени сливается с Николаем Аблеуховым, что вместо Аблеухова просто ставит «я»:

— «Петербург, Петербург! Осаждаясь туманом, меня ты преследовал: мозговою игрою. Мучитель жестокосердечный... Бегал я на ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот блистающий мост... О, зеленые, кишащие бациллами, воды! Помню роковое мгновение: через сырые перила сентябрьской ночью (1906 г. Н. В.) и — я перегнулся».

Ходасевич в очерке о Белом напоминает, что и в «Петербурге», и в «Котике Летаеве», и в «Крещеном китайце», и в «Московском чудаке», и в «Москве под ударом» — завязкой служит один и тот же семейный конфликт, разыгравшийся в семье Бугаевых. Сцены между его отцом и матерью наложили неизгладимую печать на всю психику Белого и хотя виновником их был не только отец, но и истеричка мать, у него родилась и долгие годы таилась ненависть к отцу». Недаром потенциальные или действительные преступления против отца (вплоть до покушения на отцеубийство) составляют фабульную основу всех перечисленных романов. Борьба с носимым в душе зародышем предательства и отцеубийства сделались на всю жизнь главной центральной темой всех романов Белого, за исключением «Серебряного голубя». Эта тема выдвинута в

«Петербурге» с такой ясностью, что настаивать на ее присутствии не приходится. По ходу романа, его логике, нужно было бы ждать, чтобы бомба, врученная провокатором сыну Аблеухова, убила его отца, что с некоторыми изменениями и происходит в драматической переделке «Петербурга». В романе этого нет. Вложенные в сенатора черты отца, черты «нежности», видимо, заставили Белого «папочку» пожалеть. Бомба разрывается в кабинете сенатора, его не убивая, даже не раня. Преступного сына он отсылает заграницу, а сам переселяется с возвратившейся к нему женою в имение Пролетное и там строчит свои мемуары. Последние годы его жизни изображены почти идиллическими красками. «Колокольчики раскрывали лиловые зевы; в сплошных колокольчиках стояло тяжелое переносное кресло; морщинистый Аполлон Аполлонович с непробритой щетиной, серебрящейся на щеках, — под парусиновым зонтиком: сидел в кресле». Сенатор заслуживает этой идиллии. Среди дрянной и больной человечины «Петербурга» — этот представитель реакции, в сущности здоровая и симпатичная персона.

Третья — главная фигура «Петербурга» — провокатор Липпанченко. В нем, объясняет Белый, «вплоть до меня впоследствии удививших подробностей, конечно, отразился Азеф. Но мог ли я тогда знать, что Азеф в это самое время жил в Берлине под псевдонимом Липченко; когда много лет спустя я это узнал, изумлению моему не было пределов; а если принять во внимание, что восприятие Липпанченко как бреда построено на звуках л-п-п, — совпадение выглядит поистине поразительно». Белый стремился уверить, что это он «открыл» Азефа, так же как в «Серебряном голубе» в лице столяра Кудеярова, будто бы, предсказал фигуру Распутина и «услышал распутинский дух до появления на арене Распутина». Детская похвальба в натуре Белого. Ведь уверял же он, что, будучи в конце 1910 г. в Италии, уже тогда почувствовал появление будущего фашизма, а в своем «Петербурге» «предсказал» падение царской власти. Открывать в лице Липпанченко Азефа Белому было очень легко. «Петербург» писался в 1911-1922 гг., а Азеф был раскрыт в 1908 г. и 13 февраля 1909 года В. А. Маклаков в Государственной Думе уже держал свою знаменитую речь о «противоестественном союзе преступника и правительства».

Четвертая видная фигура «Петербурга» — «неуловимый» революционер, Александр Иванович Дудкин. О «неуловимости»

его говорится, разумеется, в насмешку. Он под неотступным присмотром полицейского и действует по указке главного провокатора. Белый поведал, что под видом Дудкина он изобразил одного из виднейших руководителей боевой организации эсэров — Савинкова конца 1905 г. Делал это, опираясь на то, что ему рассказывала С. П. Ремизова, встречавшаяся с Савинковым. О схожести Савинкова с Дудкиным может итти речь лишь при желании дать злостный шарж на Савинкова.

Отец и сын Аблеуховы, Липпанченко и Дудкин — центральные, символистические фигуры «Петербурга»; жена сенатора Лихутина, ее муж и другие лица, за исключением, как увидим, Степки, имеют второстепенное значение. Они — только приложение, смысла романа не определяют. В чем же он? Его нельзя, как это делает Ходасевич, исчерпать отношениями между отцом и сыном Аблеуховыми, смутным желанием последнего убить отца. Пиксанов видел в «Петербурге» — синтезированное изображение политического центра страны в 1905 г. Такой целью Белый сначала как будто задавался. О том ясно говорят слова, сказанные мне им в Петровско-Разумовском.

— «Фундаментом моего будущего романа — революция 1905 г., а на этом фундаменте, в этаже повыше — *путь дальше»*, т. е. новая революция которую произведут «люди кремневые, пахнущие огнем и серою». Этот замысел из «Петербурга» исчез. Революция 1905 г. присутствует в романе на заднем, незаметном плане. Она почти не чувствуется. Обрисована осколками фраз вроде «слышал ли ты октябревскую песню тысяча девятьсот пятого года» или такими знаками: «Ууу-ууу-ууу». Гудело в пространстве и сквозь «ууу» раздавалось подчас: «Революция... Эволюция... Пролетариат... Забастовка...» Опять: «Забастовка»... Еще: «Забастовка».

Революционные массы в романе лишь привеска, «безголовая многоножка», «сколопендра». Революция делается не народом, не пролетариатом, не массой, а отдельными лицами, при том бросается в глаза, что эти лица одно другого мерзее, ничтожнее, дряннее. Среди них важнейшая «особа» — Липпанченко, и он провокатор. Как бы на секунду вспоминая о былом замысле показать «кремневых людей», Белый говорит о Липпанченко, что с ним можно «слиться в желании истребить», что он может «порабощать волю», что у него «зловещая голова». Всё это немедленно стирается и рисуется другой, настоящий Липпанченко. Если это Азеф, то на девять десятых укороченный, ничего люциферского, сатанинского не имеющий, настоль-

ко маленький, что для его убийства сошедшему с ума Дудкину нужен не револьвер, не большой нож, а «миниатюрные ножницы, которыми франтики стригут ногти».

Нечего и говорить о таком «деятеле» революции как Николай Аблеухов. Он «изучал Маркса» и «методику социальных явлений», читал «рефератики, ниспровергающие ценности» — но разве не видно, что он только крошечный, трусливый, бредящий «красный шут»? Третьего представителя революции — Дудкина Белый, как будто, тоже хотел наделить некоторыми «нечаевскими» чертами людей, «пахнущих огнем и серою». Мельком упоминая, что Дудкин проповедывал ниспровержение всей культуры, конец гуманизма, провокацию во имя великой идеи, Белый всё это перечеркивает, смахивает. «Неуловимый» предстоит в виде теряющей разум мокрицы, отравленной алкоголем, галлюцинациями, развратом. Это ли Савинков? *Такими же мерзкими мокрицами оказываются все революционеры,* это совершенно ясно из слов, вкладываемых Белым в уста Дудкина:

«Тоска, галлюцинации, водка, курение; частая и тупая боль в голове... Вы думаете, я — один? Больны — почти все... Все сотрудники партии — больны той болезнью; черты во мне разве что подчеркнулись... Многочасовое собрание, дела, разговоры о благородном, возвышенном; потом, знаете ли, товарищ зовет в ресторан... Ну — водка; и — прочее.»

В своем «нехорошем помещении» на чердаке Дудкин однажды прочитал Степке «писулю», полученную из заграницы от некоего теософа. Писуля гласила: «Ваши (т. е. революционеров) политические убеждения мне ясны, как на ладони: та же бесовщина и то же всё содержание».

В берлинском издании нет всего письма, между тем, оно более чем важно. Его нужно извлечь из первой редакции «Петербурга» в 1911 г.:

«В социализме, так же как в декадентстве, идея непроизвольно переходит в эротику. В терроризме тот же садизм и тот же мазохизм, как в желании растлить, как и в ложном искании ложного крестного пути. Чаяние светлого воскресения человечества переходит в сладострастную жажду крови, чужой, своей собственной (всё равно). Отряхни от себя сладострастную революционную дрожь, ибо она — ложь грядущего на нас восточного хаоса (панмонголизм)».

Мы видим, что в «Петербурге» Белый отошел на громадное расстояние от какой-либо идеализации революции, от како-

го-либо признака сочувственного к ней отношения. От недавнего ее прославления ничего не осталось. В 1911-12 гг. революция 1905 года ему представляется «приневской» бесовщиной, блудливым одержанием, ничем больше. В Петровско-Разумовском, взывая к революции, Белый мне говорил, что отрицающий революцию Достоевский — реакционер, шулер и лжепророк. В 1910 г. он уже читал о нем восторженный реферат, а в 1911, в книге «Трагедия творчества Достоевского и Толстого» объявлял Достоевского пророком, предчувствующим грозу.

Если до воцарения коммунизма в России «Бесы» Достоевского часто считались пасквилем на революцию, то «Петербург» Белого нужно было бы считать пасквилем не меньшим, а бо́льшим. «Достоевскому я никогда не подчинюсь», — с раздражением уверял меня А. Белый, а потом подчинился до такой степени, что перенял из «Бесов» не только дух и стиль, но даже самые незначительные мелочи. Например, из «Бесов» он взял фамилию «Липутин» и переделал ее в «Лихутин». С помощью такой же переделки появляется Липпанченко. В «Бесах» убитого Шатова тащили Виргинский, Эркель, Липутин и Толкаченко — «странная личность, славившаяся огромным изучением преимущественно мошенников и разбойников». Белый соединяет Липутина с Толкаченко, берет от первого «Лип», от второго «анчепко», прибавляет имеющую для него особенное значение букву и (Пепп Пеппович Пепп) и получается Липпанченко. А сделав эту операцию, с «изумлением без пределов» сообщает, что Азеф в это время жил в Берлине под псевдонимом Липченко и «это совпадение поистине поразительно, если принять во внимание, что восприятие Липпанченко как бреда построено на звуках л-п-п».

Отдавал ли себе Белый отчет в том, что в «Петербурге» он создал отвращающее изображение революции 1905 г.? Вполне. Об этом свидетельствует следующий факт. Вырвавшись в 1922 г. из России, он не нашел в Германии того за чем ехал. Жить в Дорнахе, продолжая там свое «антропософическое бытие», он уже не мог. Его «великий учитель» Рудольф Штейнер поддерживать с ним прежних отношений не хотел, порвала с ним связь и А. А. Тургенева. В этой обстановке у Белого укрепилась мысль, что заграницей ему нечего делать и нужно возвратиться в Россию. И вот, при выпуске в Берлине второго издания «Петербурга», с целью показать советской власти, что он отказывается от своих прежних «контр-революционных» настроений, Белый тщательно вычеркивал или при-

глушал в новом издании «Петербурга» места, где в первом издании особенно проглядывает его отвращение к революции 1905 г., каррикатура и шарж на нее в духе и стиле «Бесов». К сожалению, я не мог найти в Париже первого издания «Петербурга». Но я его помню и вижу, что прежний текст вычищен, переработан и резко сокращен — почти на одну четверть. Мочульский имел в руках первое издание и он указывает следующие в этом тексте изменения: резкие выпады против «социалистов» и «террористов» смягчаются; выпускается глава «Митинг», исчезают «интеллигентный партийный сотрудник», пролетарий сознательный, пролетарий бессознательный, два еврея-социалиста, бундист, мистический анархист, «Рхассея» и «тва-рры-шшы».

Белый не ограничился тем, что изобразил революцию в духе «Бесов». Он прибавил к этому и нечто другое. Прочтя стихотворение Блока «На поле Куликовом», Белый был им «потрясен». «Действие этого стихотворения на меня было действием грома». «Куликову полю» Блока давались различные толкования. Мочульский уверяет, что в дни его создания «ясновидцу Блоку было открыто будущее»: он «знал, что Россию ожидают огненные испытания, море крови, беспримерные испытания» и уже «слышал торжественную и грозную музыку испепеляющих годов 1914 г., 1917 г., 1941 - 45 г. г.». Но даже и это меркнет пред другим толкованием «Куликова поля», которое дают советские редакторы Госиздата, выпустившего, в 1946 г. сочинения Блока в одном томе. В статье Блока «Народ и интеллигенция», пишут они, «образы цикла» «На поле Куликовом» расшифровываются с полной ясностью: русский стан Дмитрия Донского — это полуторастамиллионный народ, а «вражий стан поганой орды» — «несколько сот тысяч интеллигентов». Думаю, однако, что полезнее прочитать следующую заметку Блока в дневнике от 14 ноября 1911 г.: «Неудержимо и стремительно пурпуровая кровь арийцев становится желтой кровью. Остается маленький последний акт: военный захват Европы. Ловкая куколка-японец положит дружелюбно крепкую ручку на плечо арийца и глянет живыми, черными, любопытными глазками в оловянные глаза бывшего арийца».

Если уже расшифровывать «смысл» «Куликова поля», то нужно итти в этом направлении. В этом направлении и пошел А. Белый, ухватившись за строфу Блока:

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь.

Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.

Грудь России навеки пронзила стрела «татарвы» — губящей силы Востока. Такая теза тем легче входит в сознание Белого, что хорошо увязывается с концепцией Соловьева о грядущем панмонголизме. Отныне на всем, что совершается в России, Белый видит следы, признаки нашествия Востока; и под революцией, и под реакцией одна и та же восточная стихия — разрушительное «монгольское дело». «Красное домино» прежде мыслилось Белым как эмблема желанного восстания. Оно делается ныне символом надвигающегося на страну восточного хаоса. В тексте «Петербурга» Белый в разных местах вставляет слова: «туранец», «туранство», «татары», «монгол», «монгольское дело», «всадники Чингиз-Хана», «японцы». Разрисовка текста подобными пятнами должна означать восточную заразу. Он подчеркивает, что глава реакции, сенатор Аблеухов, из черепной коробки которого стремительно несутся управляющие Россией циркуляры — киргиз-кайсацкого происхождения. Значит — туранец. Сын сенатора Николай в бредовом сне видит туранца. Он сознает, что в его крови — «монгол» и ощущает арийство только как свою «оболочку»... Туранец воплотился в кровь, в плоть столбового дворянства, чтоб исполнить заповедную цель: расшатать все устои. Дудкин уверен, что «во всех русских — монгольская кровь». В бреду он постоянно видит «монгола на темно-желтых обоях своей комнаты». Провокатор Липпанченко — «помесь семита с монголом». «Желтые монгольские рожи прорезают площади Петербурга». Давление Востока ощущает и Степка — простой, «без понятиев», парень. На вопрос Дудкина — «а с Петербургом что будет?» он многозначительно замечает: «кумирню какую-то строят китайцы». Сливая представления Соловьева с «жуткими предчувствиями» Блока, Белый пророчествует:

«Бросятся с мест своих... все народы земные; брань великая будет, — брань небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обагрят поля европейские океанами крови; будет, будет — Цусима! Будет — новая Калка. Куликово поле, я жду тебя! Воссияет в тот день и последнее Солнце над моею родною землей. Если, Солнце, ты не взойдешь, то, о Солнце, под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, и над этими берегами закручивается пена; земнородные существа вновь опустятся ко дну океанов — в прародимые, в давно-забытые хаосы.»

Здесь Белый, как будто предвосхищает «Скифы» того же Блока. России предназначается на новом «Куликовом поле» отразить нашествие Востока, спасти этим Европу. Однако, так ли уж страдал в то время Белый от мысли, что европейские берега могут опуститься под тяжелой монгольской пятой? В «Петербурге», в самом конце, мы узнаем, что культура Европы — «*трухлявая голова*», «*в ней всё умерло: ничего не осталося: будет взрыв; все — сметется*». Жалеть значит нечего. Ведь если Восток несет тень, азиатчину, хаос, отсутствие ценностей, «превращенных в ничто», то и Запад — мир перспектив и «Медного Всадника» — тоже ничего доброго не дает. Он «омертвляет культуру», подменяет духовную революцию механизацией», вместо ценностей устанавливает «нумерацию по домам, этажам и по комнатам на вековечные времена», а вместо нового строя — «зарегистрированную циркуляцию граждан Проспекта». Запад Белый отвергает и в «Петербурге» хоронит и отвергает Петербург Медного Всадника. Он отвертывается и от революции, и от реакции, и от Запада, и от Востока. Чего же он хочет, куда идет?

Намек на ответ — в конце романа. После смерти родителей Николай Аблеухов возвращается на родину, живет в деревне, в имении Пролетном. Прежнего Аблеухова уже нет. Бредящий шут исчез. В драматической переделке «Петербурга» Аблеухов (в угоду большевикам) изображен сходящим с ума. В романе, наоборот, он показан душевно выздоровевшим, переродившимся. «Носил он поддевку верблюжьего цвета, поскрипывал сапогами: золотая, лопатообразная борода изменяла его; а шапка волос выделялась серебряной прядью; та прядь появилась внезапно... Он жил одиноко; никого-то не знал, ни у кого не бывал; видели его в церкви, в последнее время читал он философа Сковороду».

С этим оригинальным украинским философом конца 18-го века, во многом напоминающим Льва Толстого, пожелавшим, чтоб на могиле его была помещена сочиненная им эпитафия — «*мир ловил меня, но не поймал*», Белый познакомился по вышедшей в 1912 г. книге Эрна. Кажется более всего его привлекали слова Сковороды: «не хочу наук новых, кроме умностей Христовых, в коих сладостна душа».

Еще более отчетливый ответ на вопрос — куда же в «Петербурге» шел Белый? — находим в словах Степки. В романе ему отведено мимоходом десятка полтора строчек. От этой мимолетной фигуры, казалось-бы, ничего важного услышать

нельзя, однако, несколько его слов, среди неуклюжих других, намечают направление, в котором нужно искать *заключительный религиозный смысл «Петербурга»*. Степка верует, что «Рассея Христова» и «барину» Дудкину предлагает «пошептаться». О чем? «Всё о том, об одном: *о втором о Христовом пришествии*». На замечание Дудкина — «всё это вздор»; Степка восклицает: «ей, гряди Господи». Сравним с «Бесами». Конечный смысл произведения Достоевского сводится к вере, что больная Россия, разлагаемая бесами и бесенятами, выздоровеет и сядет у ног Иисуса. Шатов убежден, что второе пришествие Христа произойдет именно в России, стране народа богоносца. Ряд мест в «Петербурге» свидетельствует, что подобная мысль бродит и у Белого. Он высказывает ее в форме, которая, вероятно, должна шокировать верующих людей.

В самом деле, обратимся к тексту.

София Петровна Лихутина явилась на бал к Цукатовым, не слушая просьбы ее мужа туда не ехать. Слоняясь по залам, Лихутина увидела белое домино.

«Кто-то печальный и длинный, кого будто видела многое множество раз, весь обвернутый в белый атлас, ей навстречу пошел по пустеющим залам; из под прорезей маски смотрел светлый свет его глаз, заструился с чела, от его костенеющих пальцев.»

Лихутина подумала, что это ее муж, приехал за ней — увезти. «Ведь это вы?»

«Но печальный и длинный так медленно покачал головой; и велел ей молчать».

«Уже они проходили в переднюю: невыразимое окружало их: невыразимое тут стояло вокруг... Печальный и длинный... своей маски не снял. С изумлением София Петровна глядела на длинного: удивлялась тому, что не подали офицерской одежды, но — рваное пальтецо, из которого как-то странно просунулись кисти, напомнивши лилии. Вся рванулась к нему от лакеев, смотревших на зрелище; невыразимое окружало их; невыразимое тут стояло вокруг, но печальный и длинный на освещенном пороге так медленно покачал головой и велел ей молчать».

Они вышли на улицу.

«Очертание неизвестного спутника высилось перед нею. Рукой помахало в тумане: «извозчик». И — всё поняла: у печального очертания был ласковый голос — ею слышанный многое множество раз. «Кто мог это быть?» Неизвестное очертание возвышало голос:

он креп, креп и креп; и казалось, под маскою Кто-то, Безмерно-Огромный. Молчание кидалось на голос; ответствовал пес...

— Кто же вы?

— Вы вот все отрекаетесь от меня: я за всеми хожу. Отрекаетесь, а потом призываете...

София Петровна Лихутина тут на миг поняла, что такое перед ней: слезы сжали ей горло; она хотела припасть к этим тонким ногам и руками обвиться вокруг тонких коленей неизвестного, но в это мгновение загремела пролетка; и Ванька — вдвинулся в светлый свет фонаря; очертание ее усадило в пролетку; когда умоляюще протянула ему из пролетки дрожащие руки, то очертание ей велело молчать. А пролетка уж тронулась: если бы остановилась и, о, если бы повернулась назад в светлое место, где мгновение перед тем Он стоял, и где Его не было».

Печальный и длинный появляется не перед одной Лихутиной. Его присутствие чувствует и Николай Аблеухов и хочет пасть на панель.

— «Я больной, я глухой... Успокой меня».

— И услышать в ответ:

— «Встань!»

— «Иди».

— «Не греши».

«Печальный и длинный» проходит и около Дудкина.

— «Кто-то, кого Александр Иванович не раз видывал, показался опять в глубине восемнадцатой линии (Васильевского острова Н. В.): тихо вступил в светлый круг фонаря, но казалось, что свет застроился от головы, от его костенеющих пальцев. Александр Иванович вздрагивал, когда печальный и длинный всегда обращал на него свой всевидящий взор, свои впалые щеки».

Мочульский много говорит в своем анализе «Петербурга» об «ослепительном видении» и «тяжело-звонком скакании Медного Всадника», но не промолвил ни слова о видении «печального и длинного». Как это ни странно, на эту религиозную струю «Петербурга» Мочульский — верующий человек — не обратил никакого внимания, на нее приходится указывать мне, «секуляристу» и позитивисту.

«Петербург» не только мир «извращенных перспектив», картин бреда, галлюцинаций, видений монголов, Пеппа Пепповича Пеппа, вывертываний себя наизнанку, провокации, одержимости, бесовщины. В *нем «невыразимо» присутствует «печальный и длинный», «Безмерно-Огромный»*. Значит, Степ-

ка не ошибается: несмотря на всех бесов «Рассея — Христова», ну, а раз так — нужно «пошептаться» о втором пришествии Христа. Эта тема издавна глубочайше запала в душу Белого. С 18 лет она около него и в нем. К ней Белый шел и в своей «Симфонии» 1902 г. Не он ли изображал Москву, освещенную огнем апокалипсических чаяний, и почившего В. Соловьева, разъезжавшего по городу, крича: «конец уже близок, желанное сбудется скоро». И не о том ли говорил в «Симфонии» отец Иоанн: «разве не видите, что близко, что уже висит над нами? Что недолго осталось терпеть?» «И казалось где-то за спиной *близились чьи-то шаги*».

Приглушенная в «Петербурге», еле отмеченная там мимолетными словами Степки, идея о втором пришествии снова взлетает у Белого в Дорнахе, то выделяясь из сумбура его помешенного сознания, то утопая в нем. Он верит, что «второе пришествие началось... Второе пришествие — пресуществление в Христе всей планеты и «я», обитающих в Базеле, в Петербурге, в Саратове, совершится воистину. Знание это теперь математика новой души».

Уезжая в августе 1916 г. в Россию, плача, что она «погружена в ночь», Белый, однако, верит, что «за ночью — Он» — близятся его шаги. Через год, в августе 1917 года, Белый уже видел в России — «Мессию грядущего дня».

Н. Валентинов.

ДАВНО МИНУВШЕЕ*

ЭПОХА «САМООБРАЗОВАНИЯ» 80-Х И 90-Х Г. Г.

Как жаль, что в наших скитаниях теряются дневники, фотографии, разные семейные реликвии, оживляющие прошлое — в воспоминаниях. Как исторические документы, дневники ценнее последующих записей: это — реальность несомненная и живая. В воспоминаниях кое-что забывается, уплывает и — это самое главное — в суждениях несомненно отчасти окрашивается сравнением с настоящим. Вот так ярко встает в памяти эта русская эпоха «самообразования», — такая своеобразная и теперь, издалека, кажущаяся — несколько наивной. Однако, это ведь она воспитала целое поколение, на плечи которого история возложила непосильные задачи. Как были бы ценны дневники — тогда вели их многие, несмотря на запрет тревожить свои головы расширением умственного кругозора! Нет их... Для всех типов русской полиции «дневничек» — самохарактеристика, документ — важный. Редкий храбрец их сохранял.

Но сначала надо закончить этот период юности в личной жизни, о чем просят в письмах читателей моих записей.

ЗАМУЖЕСТВО.

Став невестой И. П. Ювеналиева, я продолжала свою жизнь почти без изменений — до самой свадьбы. Так же проходил день — в работе на службе и в приюте, так же радостно — по вечерам — бежали мы с сестрой навстречу Ювеналиеву, чтобы ехать на Зеленый Остров или просто кататься на лодке и весело смеяться, когда неожиданно налетевшая волна с шумом падала на дно и обливала нас пенистой водой. Однако, Ювеналиев торопил со свадьбой. Он получил в гимназии месячный отпуск и надо было вернуться во-время. Но странное дело: со мной он обо всем практическом совсем не говорил. Я знала только, что после дня свадьбы мы куда-то

---

* См. №№ 43, 44 и 45 «Нового Журнала».

уедем, — даже не знала куда. Все приготовления он возложил на ангела-хранителя нашей семьи, на добрую и милую А. И. Городысскую. С ней он очень подружился. Один только раз он мне сказал:

— Друг мой юный, я должен познакомить вас с моей семьей... Моя замужняя сестра так счастлива, что я нарушаю, наконец, свое одиночество... Свою сестру я очень люблю. Надеюсь, что и вы ее полюбите.

Оказалось, что сестра его жила на далекой окраине Саратова, — в прекрасной казенной квартире железно-дорожных мастерских, где муж ее, А. И. Флеровский, был видным инженером. Нас тепло встретила очень симпатичная полная женщина, поразившая меня своей необычайной бледностью. Вскоре же я узнала, что несмотря на полноту, она часто страдала бронхитами, плевритами и глухо как-то кашляла почти всегда. Несмотря на свою боязнь «чужих людей», я быстро привязалась к ней, и после замужества часто бывала у нее: дом Флеровских был одним из «притонов» передовой саратовской интеллигенции: кого только я не встречала там! Но в первый визит — как это часто бывает при первом знакомстве — ничего значительного не было сказано. Только при прощаньи она увела меня в свой кабинетик, крепко поцеловала и, тихо заплакав, сказала:

— Будьте счастливы, дорогая... А главное — берегите Ваню, он очень в этом нуждается... Я всё-таки не думала, что он решится прервать свое монашество — так вы разбередили его душу.

Только потом стала мне понятной эта ее просьба. Тут я ее приняла как обычное дружеское пожелание.

А потом начались разные неожиданности, показавшие мне, что за спиной моей что-то делается, далеко не всегда мне понятное и симпатичное. Вот явился сторож нашей гимназии и заявил мне, что меня просит придти начальница, г-жа Кандыба, присланная года два тому назад министерством «подтянуть нас и исправить распущенные нравы». Это была очень красивая женщина лет 45-50-ти, но мы её «терпеть не могли», как говорили в классе. Зачем я ей понадобилась? Явилась в назначенный час в знакомую приемную. Холодным взглядом она окинула меня, как-то особенно неприятно, и затем:

— Наш уважаемый коллега, И. П. Ювеналиев, просил меня быть вашей посаженной матерью... Я согласилась несмотря на то, что не одобряю ранних браков. У нас в Смольном го-

сударь всегда протестовал против этой скороспелости. Но ведь там всё же детьми распоряжались родители, а тут... А тут даже не знаешь, как всё это произошло — брезгливо закончила она свою тираду.

Я стояла в недоумении перед этой величественной дамой, она даже не предложила мне сесть. А уж потом я и совсем была ошарашена.

— Есть у вас икона, перед которой вы молитесь? Я же должна вас благословить... Пришлите мне ее заранее. Кто делает вам подвенечное платье?

Я просто задыхалась от негодования на... на моего жениха! Зачем он связал меня с этой противной мне женщиной? Но его тут не было, она зло смотрела на меня и видела мое волнение.

— Итак, я вам всё сказала.

— Благодарю вас за ваше внимание ко мне... Всё будет сделано, как вы желаете.

Вылетела из этой гимназии, где ведь всё же зародилось мое счастье, в глазах — темно, а в душе решение: всё похерить, всё разорвать — не позволю никому мной распоряжаться как пешкой... Вот и конец неначатому счастью... А в самом деле: с кем я навсегда связываю свою жизнь? Почему всё делается без меня?

А вечером сказала сестре, чтоб она осталась дома: гулять не пойдем. Только буду в Липках говорить с Ювеналиевым о делах...

— Что с тобой, Катя? — заботливо спросила сестра, — ты расстроена?

Успокоив ее, занялась обычными домашними делами, а в душе буря всё разгоралась и стучало в висках: конец, конец, конец...

Когда стемнело, пошла в Липки, — к нашему обычному месту встречи. Даже ведь комнаты не было, где бы жених и невеста могли встречаться. Не законен ли вопрос всех этих «посторонних», да как же всё это произошло?

Мой жених был просто поражен моим состоянием. Что же это? Внезапно сошла с ума? А я всё сыпала и сыпала обидные для него слова и с апломбом заявила, что эту нелепую свадьбу надо расстроить. Я его не люблю и никогда не любила, а главное, главное, вот это — главное! — не позволю ему мной распоряжаться! Больше всего на свете люблю свою

свободу, — столько времени не имела ее! Он сидел, низко опустив голову. Молчал долго. Замолчала, наконец, и я.

— Девочка... Какая же ты девочка.. Очень сердитая, но я тебя не боюсь и на свободу твою никогда не посягну. А люблю тебя очень, даже такую ведьму... Ты не знаешь жизни, не знаешь ее непреложных обычаев, принудительных и скучных. Надо всегда стоять выше этого внешнего. Знаешь ли ты, что ты хочешь сделать? В груди людей находится драгоценная коробочка... Зовут ее люди — сердцем. Ты хочешь разбить эту коробочку, без которой жизнь человека — ничто...

Это было в первый раз за всё наше жениховство, что он перешел на ты...

И вот тут, в темноте Липок, вдруг как-то всё просветлело... Из-за Кандыбы потерять вот этого человека? Он тихо взял мою руку и — злобного бенгальского красноречия как не бывало... Еще крепче почувствовалась связь вот этих двух «человеческих коробочек»... Тихо, так тихо... Тихо стало и в душе.

Он проводил меня домой и объяснил мне, почему он, член гимназической коллегии, должен так поступать. Вся эта коллегия будет у нас на свадьбе. В виду отсутствия у меня родителей Кандыбе необходимо было предоставить почетное место. И не нужно ни на что сердиться. Нужно проделать всю эту процедуру, обязательную и неустранимую. Обсуждать все эти мелочи со мной нет никакой надобности и — бесполезно: всё должно быть сделано так, как требуют какие-то условия...

Однако, ночью сон не наступал: его умиротворяющие слова упирались в какой-то резкий протест: зачем люди создают так много условностей? Кому и зачем они нужны? Зачем вот эта суета, подвенечное платье и досадливые замечания портнихи, что я не умею его надеть? Впрочем, были и такие «условности», которые рвали душу, а иногда казались даже бесчеловечными. Объяснения «старших» не всегда устраняли острую болезненность восприятия. В этой вечной своей занятости, с детских лет, я как-то не заметила, что все «костюмные» приготовления делаются только для меня. А Манюша? Сестра?

— Анастасия Ивановна, дорогая! А Маня, — какое же платье она наденет, когда мы поедем? И шляпу?

— Куда «поедем»? — с удивлением спросила Городысская, ведавшая моим гардеробом.

— Вы же сказали, что тотчас же после венчания мы должны куда-то уехать?

— Катюша, Бог с тобой! Да думай ты получше о том, что тебе предстоит! Мане нельзя ехать с вами... Да что ты, Катюша? Ведь ты без Мани выходишь замуж... Мы с Иваном Петровичем решили, что во время вашего отсутствия она останется со мной. Не беспокойся, не беспокойся: в приюте она не останется...

— Ни за что! Ни за что! Без Мани я никуда не поеду! Мы теперь всегда вместе, — втроем... Это вам Иван Петрович сказал, что он не хочет с Маней?

— Боже мой, Катюша... Никто мне ничего не сказал. Несчастные дети без родителей! Разве ты не понимаешь, что это просто смешно: брать Маню в свадебное путешествие?

— Ну, смейтесь... Я никуда не поеду... Манюша... Одна тут... — слезы мешали мне объяснить Городысской как это бесчеловечно оставлять тут Маню. Что за новая, что за нелепая «условность»? Никуда, никуда не поеду...

— Катюша, перестань! Подумай только: если б была жива твоя мама, она ведь тоже осталась бы дома: ни родители, ни сестры не ездят с новобрачными. Знаешь поговорку: «отрезанный ломоть». От семьи прежней — отрезанный. Закон природы...

Подходя к двери нашей комнатушки, услышала грустное пение сестры. Нет, нет, не могу. Что за нелепый «закон природы»? И как это пережить? Останется одна тут, вот с этой грустной песней... Что за жизнь? Почему в ней нет чистой радости? Всё какие-то пороги, условия, предрассудки.. Надо всё это переменить...

И потом — длинная беседа с моей «практической» и будто бы знающей жизнь, подругой Муромской... Перебираем, спорим... И ее вывод:

— Нет, Есипова, ты не права... В этом деле Маня совсем ни к чему. Ее надо оставить тут. А вот один предрассудок ты испробуй. Я много о нем слышала и всё проверяю. Слышишь, Есипова: во время венчанья не зевай и встань первая на коврик... Уж очень они зазнаются и гордо кричат о своем превосходстве!

— Кто?

— Ну, мужчины... Будто бы даже мозг у нас, женщин, меньше ихнего. А посмотришь, сколько гадостей и жестокостей творят эти мозговики. Нам, женщинам, нужно выдвинуться, и

если пока не всюду, ну, хоть в замужестве не давать им воли. Не забудь же коврик - то!

Милая, милая подружка юности моей. Будущая русская суфражистка и враг мужчин. Злые языки лопотали: — Да очень просто: потому что — некрасива. А попадись в ее сети мужчина, с восторгом будет слушать слова обряда: «жена да повинуется мужу»... Женщины, очевидно, больше нуждаются в любви, чем мужчины. Знаменитый математик, — Софья Ковалевская, писала в одном из своих интимных писем, к подруге: «Свою любовь к науке, свою славу — не задумываясь отдала бы за взаимность человека, о котором тоскует мое сердце!».

Нет, это неправда. Русская женщина в особом роде суфражизма не нуждалась. Своим трудом неустанным, своей борьбой за просвещение и свободу она стала равна мужчине и в семье, и на всех поприщах жизни, и — в делах милосердия, и на эшафоте...

Но многие, многие предрассудки дожили и до наших дней. И потому — не забыть бы встать первой на коврик...

***

Оставалось еще выполнить необходимую повинность: проститься с Кривской и поблагодарить ее за все благодеяния, оказанные нашей семье. Она вернулась из-заграницы, но в приют приезжала в такое время когда я была на службе. Лидия Николаевна рассказала ей суть того, что произошло. Этим моя задача облегчилась. Подхожу к знакомому особняку, где часто дрожала за судьбу «отчета» и матери моей. Дверь отворил тот же ливрейный швейцар, тот же ливрейный лакей провел в знакомый кабинет, где я сидела когда-то на скамейке. Но... как резко и за какой короткий срок изменилась я сама!

Кривская осмотрела меня в лорнет, поднялась с кушетки и предложила мне сесть — на этот раз на кресло.

— Я уже слышала о вашем поступке. И даже имела возможность навести справки, — кто этот господин, ваш жених. Мне сказали, что это приличный человек... Авось вы теперь угомонитесь? Кто будет вашей посаженной матерью?

— Наша начальница гимназии, г-жа Кандыба.

— Ах эта!.. Я ее не принимаю... В Петербурге моему мужу сказали, что ее миссия не увенчалась успехом: Саратов

тонет в нигилизме. Гимназистки распущены и постоянно торчат у дверей мужской гимназии.

— Это же неправда, ваше превосходительство!

— Pardon, как-же неправда? Даже моя Лили заразилась этой несносной атмосферой и отказала жениху, которого мы с мужем ей выбрали... Верх вероломства этого несчастного поколения... Даже в нашем кругу! А что же ниже? Ниже?

Лорнет дрожал в руках разгневанной дамы... Я постаралась прервать ее тирады и выразила ей слова благодарности.

— Да, я много потрудилась над этим заведением. Но вчера в комитете постановили гимназисток больше не брать. Эта категория призреваемых действует на нервы... До свиданья... Желаю вам счастья и поздравляю с редкой удачей: девушек без приданого просто ведь не берут...

В последний раз закрылась дверь этого особняка. Я его часто вспоминала потом в 900-х г. г., когда в таких же великосветских палатах родились совсем другие речи прекраснейших людей: Долгоруких, Шаховских, Трубецких и Гейденов.... Русская жизнь тоже эволюционировала гигантскими шагами.

***

Но вот, наконец, наступил день, когда мне нужно было первой ступить на коврик. Венчание происходило в Кафедральном Соборе, — наш приход, около любимых Липок. Народу было многое множество: в провинциальных городах — свадьбы и похороны — зрелище. Чудесно пел хор гимназистов: в мужской гимназии была своя церковь. Православные обряды, особенно в соборных церквах, — красивы и величественны. Они волнуют даже людей нерелигиозных. Замужество — серьезный этап в жизни молодой девушки. Простая запись в мэрии (и уж тем более в советском Загсе) не отмечает с достаточной силой этого психологического перелома души при переходе в новую стадию существования. Впрочем... Не только ведь обрядность и отношение к ней изменились в новом веке: самый брак воспринимается теперь иначе, чем тогда, в далекие годы нашего прошлого.

А потом — вокзал, горестное прощание с сестренкой, еще более какой-то затихшей и сосредоточенной, и — едем куда-то... Поездка была не очень длинной, с пересадкой на узкоколейку и с остановкой на станции Бековo, которую я помнила по своим графикам. Но новым оказалось впечатле-

ние, произведенное на меня большой вывеской на вокзале: *«Кумысо - лечебное заведение»*, — перечень отелей, указание, где достать экипаж. Что-то вдруг всплыло в памяти... Степь, ковыль, юрта, киргизы, больная мать... Кумыс — без курорта, маленькие растрепанные лошади, хлопанье пробок бутылей и — пенистая вкусная жидкость, которую глотали в изобилии мать и мы, очень любившие это целебное питье. Но почему мы здесь теперь с моим спутником жизни? Почему на курорте - лечебном? Я с недоумением смотрела на Ювеналиева и он понял мое волнение... Но всё двигалось быстро, носильщики уложили в пролетку багаж и мы через полчаса оказались перед подъездом отеля, где нам уже были приготовлены комнаты. Мимолетное воспоминание киргизской юрты исчезло и заменилось восхищением местностью. Беково стояло в центре замечательного березового леса (я таких высоких, сочных берез потом никогда не видала); белизной коры этих великанов как-то окрашивалось всё окружающее, — сияло голубоватым светом, особенно в эту прекрасную саратовскую осень, не жаркую, но прогретую откуда-то идущими струями мягкого тепла. Но.... Как в жизни всё смешано! Потом, когда мы обжились, я старалась убежать от этих березовых аллей. Пейзаж портили люди, — бледные, истощенные, тихо двигавшиеся по аллеям с бутылками кумыса или сидевшие в креслах с пледами на коленях — в такое тепло! Курорт для чахоточных... Значительно позже, когда один раз я сидела вдвоем с сестрой моего мужа, уже совсем больной, она рассказывала мне о «мучениях» своего брата. В Кадникове, месте его ссылки, у него открылся туберкулез. Залечить его было в те времена трудно. Кроме того вся семья Ювеналиевых была наследственно туберкулезная. Три брата умерли незадолго до возвращения Ювеналиева в Саратов. Сам он, как и сестра, часто страдал бронхитами и раза два перенес тяжелое воспаление легких. О женитьбе поэтому он не думал. Но когда его захватила эта встреча с мятежной гимназисткой, он стал думать, — как же быть? Это был человек долга и совершенно особой, «тревожной» морали. Связать свою жизнь — непрочную и, быть может, недолгую с юным существом, — можно-ли? Но ведь нет более повелительного стимула, чем любовь. Она ведет — и очень часто — человека не только к нарушению обычных правил морали, но и к преступлениям. А любовь Ювеналиева к его юной подруге была очень сильна. Неизмеримо сильней чем ее... Его сестра, наблюдая эту

его душевную борьбу, посоветывала ему поехать в Москву, — за советом к тогдашней знаменитости, проф. Захарьину. Сделав все анализы, профессор сказал:

— Вы, я вижу, человек мужественный. Жениться вам не советую.

— Это ваш приговор окончательный?

— К сожалению, окончательный...

Ничего «окончательного», однако, не вышло и мы — очутились в Бекове уже по совету врача саратовского: для укрепления кумысом и замечательным лесным воздухом Бекова.

И потекла жизнь... Пока еще не больная, а какая-то ликующая с его стороны. Я постоянно видела устремленные на меня блестящие глаза и готовность исполнить каждое мое желание, малейшую прихоть... Уж очень не избалованная в моей прежней жизни и даже не подозревавшая, что может существовать такая чудесная человеческая близость, я всё более и более привязывалась к этому человеку... Под конец пребывания в Бекове мы были неразлучны. Один раз мы слушали плохенький оркестр в курзале курорта. Я музыки не понимала и слушала рассеянно. Но вдруг на эстраду вышла худенькая брюнетка и, поклонившись публике, села за рояль. Оркестр смолк, а пианистка так увлекла публику, что ее заставили играть эту вещь три раза. Меня она захватила необычайно. Слушала, затаив дыханье.

— Ты знаешь, что она играет?

— Нет...

— Это «Песня без слов» Мендельсона...

САМООБРАЗОВАНИЕ.

Вернувшись в Саратов и устроившись в старом доме Ювеналиевых — двухэтажный домик с небольшим садом на той-же Армянской улице, где стоял наш приют, — мы с мужем тотчас же принялись за деловую жизнь. Он — в гимназии, а я — дома, за «учебой». Много хозяйством мне заниматься не приходилось: недостатка в прислуге в те времена не было, и хорошая кухарка имелась даже в очень небогатых семьях. И эти кухарки, няньки были тогда особенные. Они привязывались к хозяевам и часто очень любили их, считали «своими». Тогда ненависти к «буржуям», особенно в том виде, как она обнаружилась потом, не было и следа. В этом отношении жизнь была покойная, без этих мелких хозяйст-

венных пут, и можно было всецело отдаться интеллигентным занятиям. Мой муж всегда твердил, что мы, кончая гимназию, почти безграмотны. В Саратове в те времена не было, конечно, высшего учебного заведения не только для женщин, но и для мужчин*. Оставалось одно средство: самообразование. Не следует понимать это слово в узком смысле. Правильно понятое, оно означает множество иногда незаметных влияний на умственное развитие и психику людей. Встреча с человеком, способным поднимать «высокие» вопросы или указать хорошую книгу, — тоже относится к области самообразования. Хорошо помню, какое влияние оказал на меня д-р Шпаковский. А в 80-х, 90-х г. г. с этими встречами происходило вот что. Эпоху эту называют темной, мрачной, — особенно люди радикальных воззрений. Кончина «Народной Воли» и ее последний акт — убийство Александра II-го в обществе вызвали затишье, страх перед чем-то грозным для России, а со стороны самодержавия — месть, выискивание малейшего повода для ареста «причастных», закрытие многих просветительных обществ, торжество катковщины и Победоносцева, одним словом — всё более и более сильное укрепление реакции. С таким именем эта эпоха и вошла в историю. Не щадили никого. Бор. Ник. Чичерин, избранный одно время московским городским головой, в своей вступительной речи сказал: «Успехи подполья возможны лишь в стране, где отсутствует организованное общественное мнение. Самоуправление и самодеятельность — залог мирной жизни». И такая речь вызвала острое недовольство: Чичерин вскоре же должен был подать в отставку. Казалось, всё повиновалось высшим велениям и революция стихла...

А как глумились над эпохой освободительной! Над всеми этими деятелями, содействовавшими освобождению крестьян! — Салтыков-Щедрин — любимец притаившихся радикалов — изобразил эту эпоху в образе «торжествующей свиньи, решившей пожрать солнце». Но и в России, крайне неумелой в политике, пожрать солнце не может никакая самая взбесившаяся свинья. Кажется, вот-вот всё потушено. Ни одной

---

* Теперь в Саратове два университета и 13-14 разных высших технических школ. Качество преподавателей, говорят, довольно низкое, но при тяге к самообразованию и теперь недостаток качества преподавания возмещается умелой самодеятельностью и тягой к книге самих учащихся.

точки, ни одной человеческой души, в которой гнездится жажда свободы, тяга к умственному просвещению и гуманитарным идеалам. И вдруг... Точек — много, точек неуловимых для полиции, но улавливающих души людские. Вот высланный в «глушь, в Саратов» крамольный студент. Велено сидеть тихо. Сидит? Да ничего подобного! Быстро организует кружок, собирает вот этих русских суфражисток вроде Муромской и — всего лишь «вместе читают»... Студент-просвещенец кроме того часто получал место в усадьбах помещиков, подготовляя неуспевающих дворянских детей к экзаменам. Но там — скучающие барышни, старшие братья учеников, иногда приезжающие в отпуск офицеры... Задушевные беседы в малинниках и в лодках на помещичьих прудах, споры, чтение, — «новый мир», приносимый в дворянское гнездо заезжим студентом. Студент — часто сам мало образованный, еще не успевший впитать университетскую науку. Но он знает слова, магические слова против гнусностей Катковых и зажима свободы Победоносцева. Слова простые, в другое время — затасканные, часто повторяемые, но в сыром обществе, лишенном легального выражения своих мнений и вожделений, очень притягательные. В эту эпоху приспособившийся к ней Потапенко написал роман — «Не герой». Героев, дескать, теперь нет. На самом деле герои были, они работали негласно, чаще всего без оформленных организаций, иногда в одиночку, — всё в том же направлении: не дать свинье пожрать солнце, потушить в душах людей тягу к свободе, к жизни без полицейщины.

Саратовские сторожилы приписывали «вольный дух Саратова» не только высланным студентам. Они вспоминали, что в 50-х г. г. место учителя мужской гимназии занимал Н. Г. Чернышевский. В те годы «мрачной реакции» еще не было: ведь это был канун эпохи освобождения крестьян. В Саратове Н. Г. вел определенно-революционную пропаганду. Еще в те времена он имел огромное влияние на саратовское общество. А впоследствии саратовские радикалы гордились тем, что именно из их среды вышел политический борец, каторжанин, которого боится правительство, но по пути которого следует идти. Имя этой жертвы российской полицейщины делалось всё более и более легендарным.

Были в Саратове (да и в других городах) и более серьезные просветительные уголки, тоже незаметные для полиции. В Саратове существовал Коммерческий Клуб, с игрой в

карты (азартники «резались» часто по целым ночам), с богатым рестораном для еды и для «пьянки», но с прекрасной библиотекой, постоянно умело пополняемой. Заведывал библиотекой Балмашев*, — мрачный господин с глубокими темными глазами и огромной бородой. Он не только умело подобрал для клуба великолепную библиотеку, но еще более умело руководил чтением молодежи. Спросишь, бывало, книгу по каталогу, а он — глухим голосом:

— Кажется, взята... Возьмите другую, — по тому же вопросу, но много интереснее...

А когда поближе рассмотрит читателя, говорит прямее:

— Ну, зачем вам тратить время на такую белиберду? Мозги засорять!

И был у него замечательный нюх. Это он подбирал кружки самообразования, — у него на квартире или у его знакомых происходили раз в неделю чтения с прениями. Он какой-то особой интуицией понимал, кого можно к себе пригласить Иногда чтения затягивались до 3-4 утра. «Борода», как мы его звали, сам говорил редко. Но он умело провоцировал на споры молодежь и кроме того в комнате всегда находилось «лицо», не всегда объявлявшее свою фамилию, но всегда энергично вмешивавшееся в споры. В те времена, 80-е годы, в балмашевских и других кружках этого типа прямого призыва к революции или к хождению в народ (темы 70-х годов) не было. Вся борьба была направлена на опровержение толстовской теории «непротивления злу» и на критику «апатичного», легко поддающегося реакции русского общества. Не было еще и намека на проповедь марксизма.

В это время в нашем доме был создан своего рода «домашний университет». Муж подобрал лекторов, обязанных не вносить «никакой пропаганды», а давать лишь положительное знание. Слушательниц (гимназисток и окончивших гимназию) набралось человек 15. Любимый наш учитель С. И. Кедров читал историю, на этот раз ничего не боясь и не подвергая свои лекции цензуре. Но — характерно: несмотря на то, что в Москве уже гремел Ключевский, с изумительной глубиной знакомивший студентов с русской историей, в провинции именно «отечеством» своим интересовались еще мало. Всем хотелось знать, как живет Европа, какой там строй

* Не помню, сын его или племянник убил 2-го апреля 1902 г. министра Сипягина.

и народы, почему Россию уже тогда называли «отсталой страной». Теперь подозреваю, что сам Кедров меньше всего интересовался русской историей. Это нисколько не противоречило тому, что в кружках всё время речь шла о «русском народе», о деревне, об интеллигенции. Но эти понятия как-то висели в воздухе и не связывались с общим строением страны, как государства. Само самодержавие, ненавистное революционерам, тоже было «пугалом», без корней и без определенных функций в государстве. Оно «подавляло», оно почему-то мешало, а чему, собственно, — как теперь припоминаю, — в 80-х г. г. было совершенно неясно. Понятие государства и путей России как целого выплыло позже, в 90-х г. г., в разгар споров марксистов и народников. В этом смысле марксизм оказался выше старых народнических утопий, выдвинувших на первый план «долг народу», — общинные идеалы крестьянства («прирожденный социализм мужичка») и — необходимость борьбы с роскошью, опрощенство, одинаково проповедуемое как толстовцами, так и народниками.

В нашем университете мы детально ознакомились — по Кедрову — с энциклопедистами (о которых в гимназии никогда не слыхали) и с французской революцией. Об этих исторических фазах развития Европы Кедров читал с таким упоением, что иногда часа два мы слушали его, не прерывая. Мой муж обучал нас... математике, физике и химии, — я эти предметы не любила и он постоянно называл меня своей «неспособной студенткой», которая детям своим не сможет помочь решить простую задачу из учебника Евтушевского. Надо сказать, что и другие мои коллеги эти трудные уроки не очень любили: их всё время тянуло к истории, литературе, но не к точным наукам. Потом, уже много лет спустя, на высших женских курсах и даже в Брюссельском университете, я замечала то же явление: Софьи Ковалевские там не встречались.. Необходимость на медицинских курсах изучать физику и химию тоже была просто нудной повинностью, как ни глубоко интересовала женщину сама медицина. А вот теперь, на старости лет, вижу ту же картину в швейцарских университетах: естественных наук женщины не любят... И в круг «самообразования» они не входят. Только сестра моя, теперь жившая с нами и мечтавшая по окончании гимназии поступить на медицинские курсы, изучала эти предметы и на этой почве очень сдружилась с моим мужем. В ее уютной

комнатке лежали эти книги по химии и физике и она их старательно читала.

Что же мы читали, о чем спорили в кружках? Обязательными для того времени были «Исторические письма» Лаврова-Миртова и статьи Шелгунова. Несмотря на то, что «Исторические письма» были легально изданы в Петербурге в 1870 г., в 80-х г. г. они считались криминальными: если попадались при обысках — конфисковывались. А так как издание 1870 г. давно разошлось, то мы переписывали их и умножали на мимеографах. Сам Лавров в это время уже был эмигрантом и редактировал нелегальные социалистические журналы. П. Л. Лавров принадлежал к партии «Земля и Воля». Был арестован в первый раз во время следствия о покушении на Александра II-го (1868 г.). В сущности, решительно ничего преступного в этих «письмах» не было. Они просто были символом неблагонадежности. Прежде всего они были скучны... Тем не менее — действовали. Здесь надо отметить особую черту русского «самообразования». Заграницей тоже существовали кружки, особенно в студенческой среде. Но там они создавались для углубления своих познаний в отдельных отраслях знания. Были кружки для изучения Шекспира, Гейне, Гете, кружки по изучению философии и т. д. В России нужно было получить не только знание предмета (пожалуй меньше всего — знание!...), но самое главное: выковать *миросозерцание*...* Человек без определенного миросозерцания вообще считался «обывателем» или «сухим ученым», непригодным для общественной работы. Лавров именно этим и привлекал руководителей кружков: каким должен быть человек, как должен он добиваться «са-

---

* «Миросозерцание» в смысле тогдашнего времени было явлением чисто русским и — как показал последующий опыт — вредным. В сущности, миросозерцание есть у каждого человека. Неграмотная баба, верящая в то, что на небе Бог, а в избе — домовой или леший, тоже ведь имеет миросозерцание. Но политическое миросозерцание дореволюционных лет имело тенденцию *застывать*, обращаться в штамп и — этой закупоркой мозгов мешало проникновению новых идей. Оно прилипало к человеку, делало его *нетерпимым*, — носителем чего-то «особенного», чего другие люди не имеют, и этим создавало своего рода «интеллигентское гетто». Очень много говорили мы уже после революции об этом явлении с Верой Ник. Фигнер. Она понимала известный вред такого застывшего ком-

мосознания», — понимания того, *чем* живет он сам и окружающие его люди? Недостаточно, однако, понимать вещи и в особенности людские отношения: нужно еще уметь *критиковать* их.

Отсюда — вывод: нужно быть «*критически мыслящей личностью*». Вот такими «критически мыслящими» мы и считали себя, начитавшись Лаврова и его комментатора — Шелгунова. Когда потом, в 90-х г. г., появился марксизм, — последователи его подвергали эту «личность» насмешкам:

— Ах, ах, критически-мыслящие... лаврята, дальше своего носа не видящие... Лаврята «самосовершенствующиеся»... — Последнее слово — нараспев.

Аккомпанементом к Лаврову служила беллетристика: народнические сочинения Засодимского, Златовратского и — скорбные записи Глеба Успенского. И если скучноватые, окутанные туманной философией «Письма» Лаврова не всегда действовали на душу читателей, то подлинная «жизнь с натуры» Успенского делала из всех нас «патриотов своего народа», о благе которого необходимо заботиться непрестанно: моральный долг, вложенный в душу этим искателем «правды» — в труднейших российских условиях. Никто тогда не обращал внимания на художественную сторону произведений Успенского. Брали *суть*, картинки из жизни народа. «Четверть лошади», «Нравы растеряевой улицы», «Разоренье», «Про одну старуху» — волновали до слез. А в них — его миросозерцание: мужик, а над ним — *власть земли*, власть, которую никогда и никто не может выжечь из его психологии. А потом — болезнь совести... Это она, это она, — больная совесть, разъедает старый строй и — толкает человека к правде вселенской... Он еще туп и душой грязен, обыватель городской. Мужик тоже туп и всё хочет «жрать», «жрать»... Но это «образуется»: процесс разложе-

---

ка идей, сидящего в головах, но утверждала, что к этому комку всегда присоединялась *«вера» в непогрешимость борьбы*, без которой ни героизм, ни вот это упорство в опасной борьбе, не могли бы иметь места. Психологически это было так. Но ортодоксия мешала «учету явлений», сужала кругозор и указывала неверные пути борьбы с прибавкой фанатизма, не всегда оправданного самой стратегией битвы. Эта ортодоксия стала особенно вредной для всего революционного движения, когда сгусток ее заполнил мозги молодых марксистов.

ния старого идет, остановить его невозможно. Глеб Успенский был тогда подлинным «властителем дум» целого поколения. Сам он впал в душевное расстройство и жил в клинике Колмово под Петербургом, где и умер. Чудесный портрет его нарисован художником Ярошенко.

ИСТОЧНИКИ САМООБРАЗОВАНИЯ — ТОЛСТЫЕ ЖУРНАЛЫ.

Толстый журнал — тоже, как и «миросозерцание», — специфически русское явление. Русская полицейщина не всегда сразу вынюхивала «крамолу», которую писатели научились прятать под прикрытием особо выработанного «эзоповского языка», а читатели тоже научились — находить ее. Два журнала в 80-х г. г. читала вся либеральная и радикальная Россия: «Вестник Европы» и «Отечественные Записки». В «Вестнике Европы» читалось главным образом внутреннее обозрение и статьи М. Е. Салтыкова-Щедрина («Пестрые письма», «Мелочи жизни», «Пошехонская старина»). Но и вообще для целей серьезного самообразования этот журнал много давал. Несмотря на спокойный тон и осторожный анализ явлений, даже этот журнал получал «предостережения» со стороны правительства. А мы просто с восторгом читали сатирические зарисовки Салтыкова и потом наклеивали ярлыки на людей, не подходящих к нашему «миросозерцанию». Даже в таком сравнительно «просвещенном» провинциальном городе, как Саратов, было многое множество «иудушек» и «пошехонцев», точно Салтыков именно с них списывал своих героев. Помогали и две газетки, выходившие тогда в Саратове: «Саратовский Листок» и «Саратовский Дневник». Первую к концу 80-х г. г. редактировал Аргунов (брат видного члена партии социалистов-революционеров), другую Н. М. Архангельский, — участники саратовской общественности. Они ловко подхватывали столичные новинки толстых журналов и преподносили их в разных вариациях публике, — расширение влияния столичных писателей. Если бы теперь, через 70 лет многострадальной русской истории, эти газетки подцензурные, но насыщенные текущей жизнью, появились в Москве вместо «миросозерцательных» «Правд» и «Известий», они бы считались в коммунистическом государстве носителями величайшей свободы! А тогда.. Тогда мы нередко обижались: «трусы! В Москве или Петербурге делается

то-то и то-то, а они хвосты спрятали!». Но уж совсем захватывал нас журнал «Отечественные Записки». При старой редакции (А. А. Краевского) гвоздем журнала был Белинский, который притянул в журнал Герцена, Грановского и лучших тогдашних поэтов и прозаиков — Лермонтова, Кольцова, Одоевского и др. Эти старые номера журнала нам давал Балмашев из клубной библиотеки с указанием, что именно нужно прочитать нам. А при новой редакции (с 1868 г.) — Некрасова, Салтыкова и Елисеева, вся радикальная Россия накидывалась прежде всего на статьи Н. К. Михайловского. Можно сказать, что до его полемики с марксистами (уже в 90-х г. г.), когда он как-то одряхлел и потух, Михайловский был настоящим нашим «учителем жизни» и уж поистине руководителем в деле «самообразования». В своих статьях, лишенных того «сантиментального» отношения к «страдающему народу», который был усвоен народниками 70-х г. г., Михайловский так подавал «добро» и «зло» русской жизни (как и все остальные сотрудники журнала), что его читатель мог уже практически ориентироваться в окружающей действительности. Ясна была работа журнала и для правительства. В 1884 году журнал был закрыт на основании временных правил 1882 года о печати (по этим правилам совещание министров юстиции, внутренних дел, народного просвещения и обер-прокурора св. Синода могло уничтожить любое печатное издание). А тут докопались и до того, что один из участников журнала пишет одновременно и в нелегальной печати. Это была правда: Михайловский был тесно связан с остатками «Народной Воли», хотя и критически относился к их позиции и к тактике террора. После закрытия «Отечественных Записок» мы читали Михайловского в «Русском Богатстве», а потом мне пришлось встретиться с ним лично у Л. Ф. Пантелеева уже в 900 г. г. Тогда я была уже духовно сложившимся человеком, спорила с ним о марксизме, а он и не подозревал, что я была его верной и восторженной ученицей в ранней молодости. Не знал и того, какое сильное влияние оказал он на наши саратовские кружки самообразования. По несколько раз, и вслух и в одиночку, мы перечитывали его статьи — «Что такое прогресс», «Что такое счастье», «Борьба за индивидуальность», «Вольница и подвижники», «Герои и толпа», «Записки профана» и множество других. А так как тогда на общественной арене появились толстовцы с их очень примитивной, но для не-

которых кругов заманчивой проповедью, — он помог нам разобраться в этом течении своими и до сих пор не устаревшими статьями «Десница и шуйца графа Л. Толстого». Глубоко проник он и в творчество Достоевского — в статье «Жестокий талант». Я могла бы еще очень много сказать о влиянии этого писателя, сумевшего найти легкую *форму,* в которой он преподносил читателю не только критику и познание современности, но и знакомил его с философской и социологической мыслью Запада.

Такие кружки самообразования существовали не только в Саратове, но и по всей России. Революционеры ими пользовались и заготовляли для них каталоги со списками книг, которые необходимо прочесть. В конце концов московские и петербургские профессора обратили внимание на это обширное движение в момент, когда Россия считалась «заснувшей» и придавленной реакцией. Они решили придти на помощь этим самочинным «университетам». Проф. И. И. Янжул собрал ученых и издал в 1892 г. «Книгу о книгах» (в пользу голодающих, что облегчало ее прохождение через цензуру). Там предлагались книги («выбранные») по разным отраслям знания. Книга имела успех. Тогда сделана была попытка организационного и постоянного вмешательства в дело неорганизованного «самообразования». Одновременно и в Москве, и в Петербурге создались «Комиссия по организации домашнего чтения» (Москва) и «Отдел для содействия самообразованию» (Петербург). Эти комиссии оказали особенно большое содействие людям в глухой провинции, — лицам, не получившим среднего образования, но уже достаточно развитым для того, чтобы пользоваться книгами, годными для высшего образования.. Но некоторые кружки (в том числе и саратовские) предпочитали «свои», нелегальные каталоги, которые значительно разнились от этого профессорского подбора. Чем именно разнились? Как я уже сказала, в те времена «самообразователи» стремились не столько к точному знанию, сколько к созданию мировоззрения. Совсем другая задача и другой выбор пособий для «формирования психологии». И это было замечено в центрах профессорской работы. Для этого образования миросозерцания нужна не столько работа по отдельным отраслям знаний, сколько образование *энциклопедическое,* имеющее в виду главным образом гуманитарные науки. Такой работой и занялся профессор Кареев в своих «Письмах к молодежи о са-

мообразовании». Но я тогда была уже не в Саратове (изданы в 1894 г. и «Беседы о выработке миросозерцания» в 1895 г.). Потом слышала, что эти попытки захватить молодежь в орбиту профессорского мышления не имели успеха. Она гораздо охотнее заглядывала в подполье, откуда в эти годы уже выползли Каутский, Липперт, Бебель и упрощенные переложения Маркса. Начинался в эти годы совсем другой период «самообразования», боевой и захвативший не только интеллигенцию, но и рабочий класс. Форма была та же, для России привычная с давних пор — «*кружки*». Но содержание их в 90-х г. г. было уже совсем другое: самообразование — да, но цель — *самоорганизация* для действия... К концу 90-х г. г. это «действие» уже и проявилось со всей силой в виде стачек на фабриках и заводах с одной стороны и студенческих волнений с другой.

Как это ни странно, как ни зазорно для правого сектора нашей общественности, но уже в 80-х г. г. выростали хулители и замечательных судебных реформ 60-х г. г., и отмены крепостного права и... особенно отмены телесных наказаний. Защитником всех этих спасительных для отсталой России реформ выступил Г. А. Джаншиев, ученый юрист, в спокойной, полной убедительности форме, доказывавший значение их для здоровой эволюции страны. Его статьи читались внимательно и в «Вестнике Европы», и в «Русской Мысли». А когда в 1892 году вышла его большая книга «Из эпохи великих реформ», она затем фигурировала во всех «нелегальных» каталогах для чтения.

В 80 г. г. в Саратовской губернии, как это ни странно, очагами «самообразования» были и... помещичьи усадьбы, иногда вовсе не мелкопоместные. Затем — третий элемент — врачи, фельдшера, учителя и статистики. В сущности именно эта среда, иногда забившаяся в глухую провинцию («медвежьи углы») не дала реакции «съесть солнце». В 90-х г. г. все с удивлением регистрировали необычайный подъем, живые голоса «пробудившейся» России. А она не спала: выковывала «миросозерцание», в котором не было даже самого маленького местечка для реакционного режима. Но провинция с ее усадьбами заслуживает особого описания; здесь у меня нет для того места.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Чем в те времена мы развлекались? Кинематографов не было. Театр ставил пьесы мало интересные, да и состав труппы был качества не очень высокого.. Даже фамилии артистов не задержались в памяти. Большое наслаждение доставляли филармонические концерты под управлением Виноградского, — всегда битком набитый зал. Один раз в год, осенью, все мы танцевали и продавали шампанское и разные сласти вот в этом самом Коммерческом Клубе, где был библиотекарем наш друг Балмашев: на благотворительном вечере в пользу недостаточных студентов. И тут опять «недремлющее»... Нужно было потом так составлять отчет (который всегда проверяла полиция), чтобы довольно значительная часть сбора осталась в пользу ссыльных и заключенных. Такие вечера устраивались во всех столичных городах России и сборы в пользу «Политического Красного Креста» были в общем значительны. Характерно: в те времена редко попадались шпионы (теперь, кажется, ни одна организация не свободна от них), и выдач деятелей этих Крестов просто не помню.

Потом зимой — катанье на коньках: каток — любимое развлечение и здоровый спорт. Летом — родная Волга, катанье на лодках, песни, Зеленый Остров... «В гости» мы с мужем ходить не любили, да и некогда, всегда заняты. Но среди провинциальной публики хождение «в гости», в дни именин и рождений, с ужинами и попойками, были почти обязательны.

Довольно часто ходили мы еще в великолепный Радищевский Музей. Он был основан в Саратове в 1885 году художником Боголюбовым. Помещался в очень хорошем доме и именно там мы познакомились с картинами русских художников. Картины передвижников — по сюжетам — соответствовали тогдашним вкусам. Особой любовью пользовался Ярошенко и его картины: «Кочегар», «Всюду жизнь», «Курсистка», «Студент», «Старое и молодое». Менее интересовала нас скульптура, разные фаянсовые, терракотовые и золотые вещи, монеты и т. д. При музее была школа рисования. Этот музей был так хорош для провинции, что его посещали катающиеся на пароходах по Волге, останавливаясь для этого в Саратове.

ВСТРЕЧА С Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

Однажды, придя из гимназии, муж спросил меня:

— Хочешь пойти завтра к замечательному человеку? Мне назначил свидание Николай Гаврилович Чернышевский...

Я даже вздрогнула от удивления. Видеть воочию Чернышевского? Надо сказать, что молодежь неохотно выполняла совет Балмашева и Кедрова — читать его экономические и социологические статьи. Запутано, скучно, тягуче, — не то что яркий, легкий и блестящий Михайловский! Но мы все, конечно, читали «Что делать?» и все знали его биографию: 14 лет каторги, много лет Вилюйска с его ледяным климатом... И вот теперь он — в родном ему Саратове... Не помню хорошо в каком это году было: в 1888 или в 1889 г. Сначала, тотчас-же по возвращении из ссылки ему и этот город был воспрещен, хотя там жили его жена с детьми и другие родственники. Местожительством ему была назначена Астрахань и только незадолго до смерти — Саратов. «Что делать?» мы не только хорошо знали (тоже приходилось переписывать и размножать: роман был запрещен), но и часто выполняли советы его героини, Веры Павловны, — как вести себя в семейной жизни: не иметь общей комнаты, говорить с мужем всегда на «вы», не показываться ему в разгильдяйском виде и т. д. Артельно-кооперативные советы выполнить было гораздо труднее*.

На следующий день мы отправились к знаменитому революционеру. Он жил во дворе против Липок, в маленьком флигеле. Кажется, этот домик принадлежал семье Чернышевских. Нам отворила дверь маленькая брюнетка — Ольга Сократовна — жена Чернышевского. Должно быть в молодости она была красива, но теперь лицо ее портили черные усы над верхней губой и очень злое выражение черных глаз. Саратовцы ставили ей в вину, что она — как жены декабристов — не поехала за мужем в ссылку, а только получала от не-

---

* Покойный В. Г. Иоллос был редактором серии русских книг в цюрихском издательстве Артемис. Там он издал Ключевского, «Бесы» Достоевского, Гончарова и «Что делать?» Чернышевского (в его переводе на немецкий язык). Обиженные читатели приходили в магазин и просили переменить на что-нибудь другое это произведение Иоллоса. Кому может быть интересна такая выдумка? Разве могут люди по этому рецепту жить? — говорили цюрихчане.

го тоскующие и нежнейшие письма, которые всем показывала: как любит ее муж!

Она провела нас в крошечную комнату, где на кровати сидел будвально измежденный человек. Да человек ли? Скорее — пергаментная, зелено-желтая мумия... Так истощила каторга и ссылка? Тихим голосом стал рассказывать, чем он занят, как это занятие важно и интересно: перевод «Всемирной истории» Вебера — в 15 томах. Я слушала и мне стало так стыдно, что люди приходят тревожить этого несчастного человека. А он всё говорил и говорил о том, как важно, чтобы люди знали свою и мировую историю, — а то они ходят как в лесу, не понимая связи событий... Не помню уж теперь о чем он еще говорил. Осенью 1889 г. он умер от кровоизлияния в мозг. Похороны очень хорошо помню: «весь Саратов» шел за гробом. Когда через несколько лет я приехала в Саратов, — посетила его могилу. Недалеко от церкви стоял простой, но очень красивый памятник из черного мрамора. Памятник был окружен оградой, вокруг него посажены цветы: кто-то, значит, заботился о могиле.

Издатель «Всемирной истории» Вебера Солдатенков получил лишь 11 томов: смерть помешала Чернышевскому закончить этот огромный труд.

А теперь... Теперь — шорихчане правы: совершенно невозможно читать этот утопический роман «Что делать?», — до такой степени он бездарен в художественном смысле и далек от коллективистических идеалов современности. Тоже своего рода памятник бурной эпохи 60-х г. г., эпохи восхождения на арену жизни разночинной интеллигенции с ее мечтами о скором наступлении в мире «братства людей» и всеобщего счастья... С тех пор прошло почти столетие. Но счастье... Счастье всё еще не наступило.

КАТАСТРОФА

Часа в три ночи из соседней комнаты, где спал мой муж, я услышала хрипы. Бросилась туда и увидела страшную картину. Муж лежал бледный как смерть, — вся кровать и пол были залиты кровью. Думая, что он убит вором, влезшим в открытое окно, я стала звать прислугу. Сам он был уже без чувств. Опытная кухарка, давно жившая в семье Ювеналиевых, испуганно сказала:

— Барыня! Барин, должно быть, помер. Так же было с их братцем... Надо доктора позвать...

Телефонов тогда никаких не существовало. Я велела ей позвать нашего дорогого доктора Шпаковского, а сама снова кинулась в спальню к мужу. Он уже шевелил руками, глаза были закрыты и струйки крови текли изо рта. Через полчаса Шпаковский был уже у нас. Принял все меры, чтобы остановить кровотечение и сказал:

— Завтра известите гимназию: это очень надолго...

Да, это было надолго. Для гимназии — навсегда. Болезнь была такого рода, что гимназия сразу же лишилась этого чудесного преподавателя — работать он уже не мог. Каждый день приходивший Шпаковский обсуждал со мной, как продлить жизнь больного: чахотка, сопровождаемая тонкостью сосудов легких. При малейшем напряжении или продвижении каверны, сосуды лопаются и наступает кровотечение. Особая форма туберкулеза, приблизительно такая же, какая была у моей матери. Ах, вот почему мы проводили отпуск в Бекове... Беково... Такое счастливое, но и такое пророческое...

— Лучше всего было бы отвезти его в Швейцарию, — говорил Шпаковский, — горное лечение и всегда новые методы борьбы с туберкулезом. Как грустно, что этот путь для вас закрыт...

Да, он был закрыт: я ждала первого ребенка.

Ек. Кускова.

МЫСЛИ О МУЗЫКЕ

Бóльшая часть этих материалов взята из записных книжек Н. К. Метнера, другое — из его писем. Мы печатаем всё по рукописи, любезно представленной «Новому Журналу» вдовой покойного композитора, А. М. Метнер. РЕД.

Музыка и по содержанию и по форме — родная сестра поэзии. Так же как поэзия, когда обращается к несвойственным ей содержаниям, т. е. когда запевает о том, что само по себе не запевает в душе, она теряет право называться *поэзией* и становится лишь каким-то выродком, ублюдком литературы, — так же и музыка, «изображающая» предметы несвойственные песне, вырождается в иное искусство.

В смысле формы музыка, так же как и поэзия, не терпит *прозы,* т. е. произвольного освобождения от ритма и рифмы.

Все попытки современных новаторов устранить таковую данность сводятся к устранению одной из сущностей музыкальной формы — ритма. Настоящий живой, свободный ритм не только не страдает от тактовой (метрической) данности, но, собственно говоря, и существовать то может *только* в этой оболочке. Без нее же распадается в хаос.

Когда в обыденной жизни человек не испытывает ничего выходящего из ряда обыденных переживаний и мысль его также находится на ровной поверхности ежедневности, то ему вряд ли придет в голову симулировать исключительность своих переживаний в данный момент или же говорить якобы из той глубины, либо с той высоты, где в данный момент мысль его на самом деле вовсе не находится. В таких случаях он будет либо молчать, либо говорит о тех обыденных явлениях, которыми занята сейчас его мысль, либо же будет вспоминать то исключительное, что пережил или передумал он сам или же кто-нибудь другой.

Все эти три проявления *человека* в его обыкновенном состоянии должны быть рекомендованы и каждому *художнику,* пока его «не требует к священной жертве Аполлон»... Ибо всякая симуляция, т. е. подмена *содержания* переживания влечет за собой искажение *формы,* т. е. самого языка искусства. Форма становится *маской* (по большей части до уродливости экстравагант-

ной), за которой скрывается почти всегда самое обыкновенное, ничего не выражающее лицо. Форма же должна всегда стремиться к наибольшей простоте и ясности. Величие мастера заключается в том, что самые потрясающие, самые глубокие вещи он говорит самым простым языком. Наибольшую смелость говорить простым языком дает ему наличие *темы* и чем больше он в нее верит, чем она ему кажется значительнее, тем он менее нуждается в исключительных средствах. Если же он ошибся в оценке явившейся ему темы, то обманутым окажется лишь он один... Симулянты же, заменив форму масками, обманывают весь мир и тем ведут искусство к гибели.

Что же такое эта простота и ясность формы? Исключает ли она новизну, оригинальность и наконец сложность, которой почему то всегда противопоставляется понятие простоты (что находит себе опровержение в Бахе).

Нет, простота исключает лишь *сознательное произвольное стремление* к новизне, оригинальности и сложности. В произведениях типичного диллетантизма мы всегда наблюдаем минимум ясности формы, а также минимум новизны и сложности. Произведения диллетанта, отличаясь беспомощной косностью мысли, никогда не бывают просты, а также, отличаясь крайней запутанностью, никогда не бывают и сложны. Диллетант всегда говорит как-бы на чужом и мало известном ему языке. Простота же доступна лишь знающему и любящему свой родной язык. Любовь же эта сказывается всегда в сознательном охранении его основных законов. Сознательное же нарушение их приводит лишь к варварству, а уж никак не к простоте.

---

99 процентов художников, художественных критиков и любителей искусства думают, что форма, подлинная художественная форма, рождается и воспринимается исключительно *сознанием, рассудком,* вследствие чего 99 процентов художественных произведений и теорий проходят мимо искусства, представляют собой лишь призрачные тени искусства. Эти тени-призраки ничего общего не имеют с живой формой; они суть лишь рефлективные очертания, расплывчатые контуры форм. Форма же и рождается и воспринимается *непосредственно* духом, душой и всегда интуитивно.

Но, увы, под вдохновением и интуицией эти 99 процентов всегда подразумевают только легкость и быстроту *процесса* рождения «формы», т. е. какую-то свободную безболезненную импро-

визацию, которая в сущности гораздо более доступна ничем неуправляемому рассудку нежели духу, всегда управляемому свыше и потому всегда ожидающему приказа свыше. Вдохновение — всегда свыше! Форма же есть результат наибо́льшего вдохновения.

Большинство неизменно представляет себе форму, принцип формы, как нечто предписанное какой-то художественной полицией. А между тем форма предписывается самим законом бытия, то-есть, то, что не имеет формы, просто не существует. На это скажут — «да, но то, о чем приходится говорить, тем самым уже существует». Да, но в таком случае придется говорить о форме хаоса, тумана и пр.... Странно, что большинство не понимает, что форма есть наиболее осязаемая сторона искусства и чем новее форма, тем рельефнее она должна бросаться в глаза, ибо в отношении к старой форме действует привычка, способная скорее ослаблять действие восприятия. То, что нас поражает в большинстве художественных явлений современности есть именно бесформица, а не форма.

Почему в области второстепенного и коллективного художественного творчества, напр. в танце, нашел же джаз свою форму, которая, несмотря на свое феноменологическое содержание (подчас весьма противное и сводимое к вожделению козлоногих сатиров) каждому представляется чем-то вполне определенным? Отчего же в области большого симфонического художественного задания мы так редко наталкиваемся на столь же определенную форму?

«Квадратность формы» есть одно из современных ругательств, встречаемых весьма часто в рецензиях. С этой квадратностью (как упреком) не мешает быть несколько осторожнее, хотя бы потому, что существуют такие (всеми признанные и чтимые) квадратные построения, как напр., финальный гимн 9-ой симфонии Бетховена или его же Scherzo из Fdur'ной скрипичной сонаты. Первый по своей бездонной мистической глубине и горней, духовной высоте заставляет нас забыть о всяких земных «построениях» и измерениях... Второе же (т. е. Scherzo) выплясывает на этом самом квадрате такие головокружительные ритмы, что где уж там соображать и измерять... Не есть ли имен-

но то искусство — величайшее, которое простейшими, с позволения сказать, квадратнейшими средствами достигает впечатления бесконечности или вызывает головокружение?..

ОБ ОГРАНИЧЕННОСТИ И ОРГАНИЧНОСТИ В ИСКУССТВЕ

Модные экспериментаторы-художники мнят себя безграничными гениями. Их цель уничтожить границы искусства. Они считают всех защищающих эти границы ограниченными людьми. Они правы. Но не есть ли *ограниченность* и самого искусства и подлинных служителей его, и каждого подлинного произведения искусства — залог *органичности* этих явлений? Безграничность формы не является ли свидетельством бесформенности? И не является ли то, что мы испытываем как безграничность гения лишь его духовными содержаниями, которые мы воспринимаем тем ярче, чем определеннее, то-есть, ограниченнее содержащая их форма? И не есть ли потребность безграничности формы свидетельство ограниченности автора и его содержаний? Вся современная бесформица основана на отмене темы (мелодии). Ищут новых путей. Чувствуя, что темы (мелодические, ритмические скелеты и вообще всякая определенность элементов нашего искусства) мешают им в этих исканиях, они просто всё это отменяют. И получается не новое, а только мираж нового.

Это то же самое как если бы люди, ища свободы в формах общежития, уничтожали *всякие* формы общежития и даже людей, стоящих на их пути. Настоящая задача заключается в том, чтобы, сохраняя всю определенность элементов и главным образом приоритет темы и мелодии, найти настоящую свободную форму.

Слово определенность [значит] — определять, то-есть заключать в известные пределы формы, как бы ни была стихийна сама тема.

Отчего, когда кто-нибудь говорит пошлости или общие места — никому и в голову не придет винить в этом весь багаж человеческих слов и считать необходимым заменить его *новыми* словами? Каждому будет ясно, что говорящий пошлости, говорит их потому, что сам пошл. Слушая же музыку мало индивидуальных и не имеющих своих мыслей композиторов, современники почему то решили, что виновата во всем сама музыка, т. е. вся единая музы-

кальная система, в орбите которой вращалась вся историческая музыка; и людей, отстаивающих эту систему, как единственный путь, по которому *суждено* продвигаться в беспредельности хаоса нашей музыкальной планете (до светопреставления!) — таких людей называют *эпигонами*. Правда, Скрябин говорил же о катаклизме, мировом перевороте и т. д.

Но право же, если нам завтра предстоит катаклизм, не лучше ли бросить записывать свою музыку для потомства (!) и вместо этого каждому перед смертью просто петь свои гимны?.. Ведь они уже будут не для людей, а для Бога и Он, конечно, поймет каждого вне всякой системы. Для Него все равны, и гении и бездарности.

А вот для людей это далеко не всё равно... Люди-то вон уже успели переоценить и Скрябина с его катаклизмом и многие уже говорят о нем с неподобающей небрежностью, не прощая ему его несомненный психоз и забывая его несомненный талант. Впрочем, это и понятно... Это толпа, а толпе всегда нужно чудо, *материальное* чудо, и в особенности от людей, которые его обещают. Катаклизм не состоялся и вместо него появился целый сонм скрябинистов-эпигонов, которые, увы! доказали самым своим появлением на свет возможность эпигонства даже на том пути, который только вчера еще был признан за единственно верный.

А я так скажу, что эпигонство и модернизм, в конце концов, очень близки друг к другу — их разделяет всего на всего каких нибудь двенадцать часов между вчерашним вечером и сегодняшним утром. Эпигонство не есть (как это часто ошибочно думают) вера в прошлое, поскольку оно вечно, а такая же слепая вера в *средство* (т. е. в материю) как и модернизм, только лишь с опозданием на один день! Если же люди, подобные мне, защищающие позицию *единой вечной* (до катаклизма) музыки, сами своей композиторской практикой дают всё же впечатление эпигонства (если не вчерашнего дня, то прошлого столетия) и потому не могут *своей* практикой убедить в незыблемости основных законов нашего искусства, то следует иметь терпение — ждать истинных пророков и не позволять себе в суетности своей принимать каждого проходимца за Мессию... Надо верить, что подобная моей идеология не есть защита *своей* практики, а что она защищает само искусство.

Главное отделаться от личности. Забыть, что вы и я композиторы. Подумать о самой музыке! К чорту авторство! О вкусах *спорят!* Ибо вкус еще не всё.

ИЗ ПИСЬМА К БЕКЛЕМИШЕВУ

...От себя в виде «автобиографической» заметки могу добавить, что родился я в 1879 г. с опозданием на одно столетие, что́ заключаю из того обстоятельства, что никакими судьбами не могу заставить себя плыть с современными музыкальными течениями и всё время принужден плыть *против* течения. Впрочем, ты, как поклонник современной музыки, поймешь это так, что я дескать плыву *назад* и что мое опоздание в появлении на свет есть *отсталость*. А я тебе на это скажу, что искусство есть такая же бесконечность как небо, и, так же как оно, не имеет ни пе́реда, ни зада и что я, как я сам по себе не «неважен», но всё же не почитаю свое сознательное и бессознательное продвижение *против* течения за отсталость. Отстали лишь те, кто, плывя *по течению*, имеют перед собой *зады* находящихся впереди, т. е. обогнавших их. Я же, к великому моему удовольствию, ничьих задов перед собою не вижу, но зато, конечно, плыву не легко.

Самым подлым и антихудожественным словечком современной критики я считаю «modern». Не знаю — должно быть, предки всех современных критиков были портные, но каким образом сами музыканты и композиторы пользуются этим портновским термином!?

3 ноября, 1925 г.

О ВДОХНОВЕНИИ

Быстрота тематического творчества — его мгновенность, неожиданность и полная независимость его от воли, труда и созерцательной способности автора — эта быстрота не имеет ничего общего с темпом *превращения темы в произведение*.

Одна из бед еще в том, что зная, что процесс создания великих произведений (напр., у Моцарта и многих других гениев) протекал весьма быстро, большинство вообразило себе, что быстрота процесса и есть настоящее вдохновение и что, следовательно, совершенство результата связано с быстротой процесса. Нет более ходячего пошлого взгляда среди всех ходячих пошлых взглядов большинства. Во-первых, сам Моцарт был соткан не из плоти и крови, а из самой музыки, т. е. для него, очевидно, это было одно: думать и дышать или сочинять музыку. А во-вторых, и в главных — Моцарт жил, так сказать, в музыкальной школе и при том единой в то время школе. Он происходил от музыкантов и с пелёнок слушал музыку и играл сам на нескольких инструментах. Кроме того, он индивидуально был совершеннейшим ти-

пом вундеркинда, природного вундеркинда, а не препарированного. Уже ни Бетховен, ни тем более Вагнер вундеркиндами не были.

И наконец, быстрота процесса есть дело природы и ни до кого не касается, а между тем ни о чем почтеннейшая публика так много не говорит, как о чуде быстроты, тогда как настоящее чудо и тайна не имеют никакого отношения ко времени. Разве весна, мистерия которой длится три месяца, уже не чудо, потому что мы уже привыкли к этому сроку?

А главное, что этот пошлый взгляд несомненно подействовал на господ жрецов искусства. Он породил *волю к быстроте* и таким образом извратил самое понятие о вдохновении, т. к. во вдохновении воля вдохновляемого отсутствует. Вообще в искусстве наша обывательская воля есть синоним *произвола.* Если же можно допустить эту волю, то лишь как волю к *созерцанию,* а не к действию. Конечно, в искусстве, как и во всяком земном деле (поскольку оно обречено им быть), есть также и житейский момент, но лишь как post factum, т. е. для того, чтобы фиксировать вдохновение нужно взять карандаш и записывать. Конечно, для того, чтобы записать произведение уже нужна воля, и еще больше нужна она, чтобы научиться записывать его верно. Мне кажется, что, в конце концов, вся учоба сводится именно к этому. И вот как раз воли к ученью, воли к добросовестной проверке непослушного пера и не наблюдается у современников. Нет воли и к терпеливому созерцанию, а есть лишь к нетерпеливому perpetuum mobile действия под хлыстом честолюбия.

Правда, вдохновение само всегда неожиданно и мгновенно, как молния. Оно на подобие ночной молнии мгновенно озаряет до мельчайших подробностей погруженную в мрак картину окрестностей, но какой художник возьмется передать всю явленную ему картину во всех подробностях с тою же быстротой молнии? Если великому мастеру и гению Моцарту для передачи нужны были всё же недели, то нам, потерявшим (и даже не ищущим) подлинное мастерство, чтобы успеть сначала восстановить увиденное, а потом честно его записать, передать другому — нужно много умения, терпения, проверок и, следовательно, времени.

ОТВЕТ НА АНКЕТУ О ВДОХНОВЕНИИ

Говорить о вдохновении *на основании личного художественного опыта* я себе никак не могу позволить. Слишком часто приходится наблюдать, как человек принимает в себе за вдохновение то, что является лишь субъективной эмоцией. Кроме того

— одно дело: испытать вдохновение, другое — уметь передать его, то-есть овладеть им.

Поскольку же я, как большой любитель искусства, размышлял о вдохновении *отвлеченно,* я могу позволить себе ответить на поставленный вопрос следующими труизмами.

Источник вдохновения всегда таинственен. Дары его всегда неожиданны; но способность владеть им дается исключительно безраздельной самоотдачей процессу работы.

Таким образом мне кажется всегда большой ошибкой противопоставление понятий: вдохновение и работа. Конечно, если не было вдохновения, то работа равна нулю и обратно: вдохновение без работы объективно равно нулю.

Совершенно так же мне представляется неверным противопоставление понятия «настроение» (или чувство) понятию «чисто музыкальных мыслей». Самое яркое «настроение» (или чувство), не достаточно ярко выраженное «чисто музыкальной мыслью», не подлежит вообще обсуждению на музыкальном плане и остается чисто субъективной эмоцией; и совершенно так же самые любопытные «чисто музыкальные» комбинации (мысли), если они не оживлены никаким чувством или настроением, остаются мертвым материалом.

Из этого следует, что мысль и чувство нераздельно действуют в искусстве, а вдохновение является как бы молнией, озаряющей и то и другое.

О СКРОМНОСТИ

Среди больших художников многие отличались большой скромностью. Но скромность эта была личною. То-есть скромность их была принадлежностью их личного характера, их частной жизни. Наконец, скромность эта могла проявляться даже и в оценке своих художественных достижений. Но скромность их никогда не распространялась на их художественную веру, ибо тот, кто верит скромно, вовсе *не* верит.

Без веры же нет искусства так же как и религии.

В веру же художника как раз входит согласование своего личного вкуса с законами своего искусства, т. е. скромное подчинение себя тому, что находится вне нашего понятия скромности.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПИСЬМА ИЛЬИНУ

...Выставка Матисса и Пикассо, вызвавшая целую бурю. Одинаково глупы и протесты и защита. Хотелось написать письмо в редакцию газеты и сейчас, и когда слушал недавно «Со-

ловья» Стравинского. Это невозможно! И потом противно попасть в какую-то партию и выступить как бы защитником этой партии или какой-то «идеологии». Никто не поймет и не поверит, что можно защищать искусство независимо от какой бы то ни было партии или идеологии, подобно самому обыкновенному пожарному, имеющему лишь одну цель — локализировать пожар.

Отмена тональности, гармонии, формы в музыке; отмена перспективы, чувства пропорции в живописи — всё это проповедуется как бы в роде отмены крепостничества, рабства в искусстве.

Боюсь как бы и в политике подобные отмены не привели нас к рабству перед хамом, а уж что касается искусства, то отмены эти, конечно, приведут нас к отмене вообще какого бы то ни было искусства.

Живописцы называют прежнюю живопись фотографией, а между тем их живопись являет собою ту же фотографию — их изуродованной души и мозга.

Говоря же это, рискуешь попасть в категорию лицемерных «святош», будто допускающих лишь святые темы-содержания, и отрицающих возможность изображения химер...

...Раньше грешные люди несли на алтарь искусства отстоявшееся, незамутненное своими грехами, лучшее своей души. Теперь же принято приносить на этот алтарь подонки. В каждом из нас «шевелится хаос»... Ведь наибольшая духовность — т. е. прозрение в безграничность, беспредельность проявлялась (как, например, у святых) при наибольшей *ограниченности формы* земной жизни. И в искусстве — величайший мотив, наидуховнейший гимн последней части 9-й симфонии Бетховена представляет собой наипримитивнейшую *ограниченную* форму.

Весь вопрос, встающий ныне — есть ли искусство дар Божий, дар духовный, или же это просто чисто обезьяньи способности.

Ведь, слушая Бетховена (квартеты), кажется иногда, что это один из языков Святого Духа, который был дан апостолам.

Никакой гений не может оправдать вседозволенность. Искусство само по себе выше самого великого гения! В искусстве, как во всяком духовном деле, есть тоже и грех, и он заключается как раз в поставлении себя, своей воли выше искусства, т. е. вместо служения ему — заставлять искусство служить себе. Это

относится равно и к исполнителям и к сочинителям. Мы перед самим искусством в сущности все — только исполнители. Мы все, разумеется, грешим. Грешат не только модернисты, но и те из нас, кто «творит» слишком скоро и много ненужного, не «важного», не вдохновленного, не приказанного, не выстраданного...

Но ведь грех современных гениев заключается в сознательном посягательстве на основы искусства. Бетховен, конечно, явно чувствовал себя стесненным в рамках Моцарта и Гайдна. Но до чего потрясающи именно те его моменты, где он выходит из них! Эти моменты потрясают нас одновременно и титаничностью и целомудрием, ибо никто не умеет так сдерживать своих порывов как он, о чем говорят его паузы, единственные в музыке, и внезапные переходы от гнева к нежности, от стихийного порыва к святому покою.

Я не верю в теорию, а верю в тайну. Но прежняя теория музыки (в широком смысле слова) не превышала своих полномочий, она не бралась научить сочинять, как сочинял Бах или Бетховен; она не открывала тайн творчества, она лишь честно, добросовестно и вполне объективно выводила из всей практики великих авторов известные общие всем им законы и границы, в которых они являли красоту. Разве вы не чувствуете общий всей их прежней гармонии принцип голосоведения, сочетания аккордов и их новообразования? Разве вы не видите общего закона мелодических построений, каденций, их отношения и, наконец, ту роль, какую у них играют тональности и их отношения, т. е. то, без чего вся музыка превращается в серый хаос?

Нет, конечно, этого нельзя не видеть, но многим почему то надоели эти законы, и та потрясающая разница индивидуальностей, какую каждый давал в пределах всё тех же законов, очевидно, уже не кажется больше разницей.

Но, Боже мой, знаете ли вы, что я, наоборот, не вижу разницы между хаосом музыкального беззакония Шёнберга и Стравинского. Я не вижу никакой индивидуальности ни в Штраусе, ни в Регере. Притом даже не в том, что они сделали безобразного, но еще менее в том, что у них более или менее приемлемо. Исчезла тайна творчества. Ей научить нельзя — в нее можно только верить.

О ТОМ, ЧТО В НАШЕ ВРЕМЯ НАЗЫВАЕТСЯ ПРОСТОТОЙ

Многие находят, что за последнее время «крайние» композиторы значительно упростились, но к сожалению, простота эта, по русской пословице, есть «простота хуже воровства»... Это не та простота, к которой стремились все истинные художники, это не замена затейливого модного наряда простым покровом, а это ни что иное как снятие всех покровов — это есть нагота, но не нагота прекрасного тела, которое, в конце концов, тоже есть ни что иное как покров, скрывающий от нас неприглядность механики всех наших внутренностей, но нагота как раз этих самых внутренностей.

Эта простота есть ни что иное как упрощение заповеданного нам труда в поте лица своего, ни что иное как превращение трудного *процесса* творчества уже в самое *достижение*; это есть простота безответственной, произвольной импровизации, которая имеет такое же отношение к истинной художественной простоте, как свобода погромов (т. е. в смысле всёдозволенности) — к истинной культурной свободе.

Бетховен многими элементами своими был проще Баха и Моцарта (гармония, контрапункт Моцарта тоньше, изысканнее Бетховенского). Но форма в смысле архитектоники в его симфониях представляет собой значительное усложнение по сравнению с Гайдном, Моцартом и Бахом. Это уравновешение сложности и простоты наблюдается как в отдельных эпохах и школах композиторов, так и в отдельных сочинениях и даже в отдельных частях сочинений. Это согласование — гармония сложности и простоты — есть основной закон. Перемещение же отдельных элементов (то в сторону усложнения, то упрощения) является индивидуальным проявлением школ, авторов и их сочинений.

ИЗ ПИСЬМА К П. И. ВАСИЛЬЕВУ

Ведь я не теоретик, никогда им не был и не буду, хотя и покорно обучался в свое время и не отрицал преподанной мне теории, сам я всю жизнь работал абсолютно иррационально и никогда не мог сделать ни одной ноты рассудком. Если же приходится теперь задуматься над теорией людям, которые были всегда врагами всякого *теоретизирования,* как источника творчества, то именно потому, что сейчас затеоретизировали буквально все (не исключая даже тех, кто не прошел в школе хотя

бы элементарную теорию музыки) и этими теориями окончательно разложили наше искусство. (Атомизм). Скажу больше: само искусство современное построено главным образом на *теории отрицания,* каковой и является всякое отрицание теории.

Когда я читаю современную музыку, то я всё время из каждой ноты ее вижу нарочитое желание автора показать язык своим прежним учителям и воспринимаю это лишь как жалкое школьничество. Смотри 5-ую Сонату Прокофьева. Глупая жалкая тема (жальче любой инструктивной сонатины) хочет стать интересной благодаря нарочитым параллелизмам октав и квинт в крайних голосах. Вообще стыдно делается. Чувствуешь себя так, как если бы в обществе, где люди собрались для непритворного общения друг с другом, кто-нибудь пытался нарочно обратить на себя внимание рыганьем, сморканьем в руку и плеваньем на пол. Бедные жалкие люди, кто не понимает, что так называемые «условности» существуют только для того, чтобы их не замечать, и что *нарочитое отрицание* всяких условностей является всё же новой условностью — с той разницей, что эта новая условность всегда страдает претензией обращать на себя внимание. Конечно, сморканье в руку и плеванье на пол отменены во всяком обществе вследствие их объективного неудобства, т. е. слишком большой отрицательной заметности, но допуская существование общества, где люди не замечают неудобства от такого поведения, я не хочу допустить, чтобы они могли вменять себе это в преимущество. Еще оговорюсь — будучи в стороне от «светской жизни», я, конечно, не поклонник тех ее черт, которые, подобно плеванью на пол, слишком много обращают на себя внимания своей изысканной манерностью, жеманством и комплиментами. На условности, не придуманные, а выведенные из мудрого опыта жизни, я смотрю так же, как на технику искусства: то и другое необходимо для того, чтобы не мешать жить или воспринимать искусство. Напр., пианист, у которого техника очень заметна, для меня уже подозрителен, как художник...

Слово есть та же условность. Азбука тоже. Но то и другое необходимо для того, чтобы беспрепятственно и ясно для себя и других говорить, думать, писать и читать... Это ни что иное как заклинание, спасающее нас от расплывчатости и беспредельности мышления. Наконец, это условие нас *соединяет.*

Нет такого гения, который не был бы в то же время в каком-нибудь уголке своей специальности бездарным. («На всякого мудреца довольно простоты»). И потому *единая* школа необходима не только для не-гениев, но и для уравновешения тех

неровностей, которые мы наблюдаем в природе гениев, иначе мы рискуем возвести в принцип моменты отрицательные в практике композиторов.

Измы как спецификация идей существующих в вечности. Специфицируя эти вечные идеи, люди воображают себя открывателями Америк, новых путей и т. д. (претензия на патент изобретателя)*. Конечно, вся беда в том, что люди выдумали эти проклятые «измы». Нет такого слова, присоединение к которому этого чортова хвостика не превратило его в чертовщину... Не говоря уже о самых святых словах, возьмем, напр., слово символ. Глубокое слово! и, конечно, символичность есть великая вещь в искусстве, но она есть и была всегда *степенью* вдохновения, а вовсе не *качеством* произведения.

Символизм, как нарочитое направление искусства, опять таки чертовщина! Это уже не степень вдохновения, углубляющая значение этого образа, а просто известное, преднамеренное, специфическое направление, прием, *школа!*

Говорю об этом вот почему. Музыкальная теория, как зеркало нашего сознания, отражающее практику того, что уже признано нами великим прошлым, т. е. во что мы уже уверовали внутренним своим чувством (т. е. бессознательно), есть вещь необходимая. Здесь школа не имеет никакого специфического направления и потому является неизбежной для всякого коллектива, как известно, не состоящего из одних гениев. Но теоретизм, т. е. поставление самой теории во главу угла всего искусства и придавание ей не *негативного, ограничивающего,* заклинающего хаос значения, а якобы *руководящего,* направляющего само творчество — это есть ересь.

Эстетика — не как история или теория искусств, а как общее художественное *мировоззрение,* как философия художественной веры и совести, как осмысление художественной правды и красоты, этика искуства или, если можно так сказать, символ художественной веры — есть область еще более важная для художника, чем его специальная теория, и область, хоть и не собранная воедино, но существующая объективно. А между тем и тут появился чортов хвостик, то-есть забыв святых отцов эстетики, собравших ее не для своей славы, а во славу искусства, отдельные предприниматели вроде, напр., Бузони и других (имя

* Если бы когда-нибудь из моей руководящей идеи кто-нибудь состряпал «изм», то будь проклят момент, когда я раскрыл свои грешные уста. «Мысль изреченная есть ложь».

им легион),** стали строить каждый свою эстетику (уже во славу свою) и породили этим чортово племя эстетов и проклятый *эстетизм,* с индивидуальным вкусом, как императивом, который еще опаснее теоретизма ровно постольку, поскольку общая эстетическая вера важнее теоретических догм, и даже первичнее их, то-есть влияет на них.

Подхожу, наконец, к самой сути моего ответа. Теория рухнула потому, что рухнула эстетика, то-есть художественная вера. Конечно, эта последняя рухнула раньше. Дух всегда предшествует всему и в созидании и в разрушении. Проявилось это в том, что в сознании людей окончательно стёрлась разница понятий: чувства и ощущения, духа и материи, формы и содержания, творческой мысли и рассудочного ковыряния. Чувство может вызвать ощущение и иногда — ощущение — чувство, но это далеко еще не доказывает идентичности этих понятий. Так, пресловутая (в современном музыкальном эстетическом сознании) звучность может способствовать более интенсивному восприятию тем (в широком смысле слова), но, взятая сама по себе, есть низший элемент нашего искусства, т. к. действует более на внешний орган и никогда не может стать темой, а между тем она теперь пытается оправдать собою абсолютную тематическую пустоту. Словом, теперь не спрашивают больше *что́* звучит, а лишь как...

Часто бывает, что эстетическое падение не сразу отражается на теории, т. е. на технике искусства, но всё же падение ее рано или поздно неизбежно при падении первого. Я не знаток живописи (хотя страстно люблю ее) и потому не берусь судить о технике, например, ныне «классика» Гогена. Возможно, что техника его еще не погибла, но она неминуемо должна погибнуть в виду того, что его готтентотские мадонны *эстетически* неприемлемы. Другой «ныне классик» Рихард Штраус (впрочем, невыносимый для меня как ныне, так уже и четверть века назад) в своей технике открыл путь (вот уж воистину Bahnbrecher!) к всеобщему музыкальному погрому, т. к. написал абсолютно неприемлемую уже эстетически «Simfonia domestica» со всей житейской пошлостью, а теперь сочинил оперу на сюжет серой берлинской современной улично-ресторанной обывательщины, с пивом, сигарами и т. д., чем, кажется, очень угодил воспетым им обывателям, увидевшим себя неожиданно героями оперы! Правда, атмосферой для художественного произведения, его фоном могут быть различные пласты жизни, но из каждой

** Везде, во всем трюки (и в теории и в эстетике). Мы присутствуем при состязании — кто кого перетрюкает.

данной атмосферы *должна* родиться песнь красоты, т. к. отмена главной темы, сущности искусства, т. е. красоты, так же не проходит безнаказанно для искусства, как отмена истины для науки, веры для религии и т. д.

Искусство начинается там, где материя запевает красотой, когда «гадкий утенок» повседневности превращается в лебедя; когда же этого превращения не наблюдается, то нет и самого искусства... Если мне скажут, что в готтентотской женщине с присосавшимся к ее груди звереныпем есть своеобразная красота — правда красоты — и что в серой обывательщине также, то я на это спрошу, почему же, чорт возьми, если бы кто-нибудь, находясь в обществе прекрасных женщин, предпочел бы любезничать с обезьяной, то несомненно был бы сочтен сумасшедшим? Так же и с серой обывательщиной, *взятой самой по себе:* ведь от нее до «воспевания» помойных ям и клозетов один шаг. Почему же тогда ассенизация не именует себя искусством?.. Ведь настоящие великие реалисты в искусстве брали реальный быт или же погрязшую в грехах душу человека не для того, чтобы воспевать самый быт или же самые грехи, но чтобы и то и другое осветить светом духа.

О химерах. Эстетство — противоположная крайность: Скрябин — для которого даже атмосфера Meistersinger'ов была «слишком мещанской». Его аккорд — как тупик, а не мудрое ограничение. Затем теоретическое утверждение и система обращений этого аккорда. Скрябин кристализовал свой гармонический принцип в этот аккорд, поверил в него и, конечно, на этом, по моему, осекся, ибо верить можно только в дух и его тайну, а никак не в средства. Здесь и начинается теоретизм.

Теперь хочу сказать о результате воздействия крушения эстетики на теорию. Впрочем, вот еще что. Никто не замечает, что в то время, как в области теории трюки растут, как грибы на гнилом пне (как, например, гармония обертонов; мелодическая гармония, т. е. сведение всех нот любой мелодии в вертикальную линию гармонии, т. е. в аккорд; построение аккордов по квартам, по квинтам и всем другим интервалам; четвертитонная гамма и т. д. — их всех и не перечесть), — в то же время всё еще говорят о классиках и романтиках, об эволюции — всё еще с тем же апломбом в защиту модернизма приводится довод о якобы позорном непонимании гениев на протяжении всей истории человечества. И никому в голову не приходит пересмотреть эти трюки... Все говорят лишь о тех *результатах,* которые достигались гениями, т. е. о впечатлении бесконечности, о впечатлении свободы и неограниченности, и никто не замечает,

что всё это было главным образом в *духе,* т. е. в содержании их искусства, а в плоти своего искусства каждый из них косвенно или прямо проповедовал целомудрие, меру, ограничение. Словом — никто не всмотрелся в *заклинательный процесс* творчества гениев. Никто не заметил, что в сущности никакой эволюции, в смысле отрицания предшественников, ни у одного гения не наблюдалось, а если она наблюдается, то не в смысле отрицания прошлого, а в смысле постепенного развития материальных возможностей (отнюдь не духа, который не подлежит эволюции) и то лишь с высоты полета над веками истории, да еще всегда развития одного элемента или ингредиента искусства за счет другого. Так, например, при всем обожании Бетховена и преклонении перед ним я всё же никак не могу дать себе отчета, в чем же он в сущности пошел *дальше* Баха или Моцарта? В гармонии? Нет. В контрапункте? Тоже нет и даже скорее наоборот... Он, уступая в изяществе Моцарту, как будто *раздвинул рамки формы,* она у него стихийнее. Но конечно же это связано с жизнью его тем...

Вся «эволюция» прежняя заключается в сущности в том, что прежние художники обновляли атмосферу в пределах того же искусства. Религиозная и полифоническая музыка постепенно сменилась светской и гомофонической. А также и обновление материи индивидуальным духом.

Итак, продвигаясь по ступеням исторического храма нашего искусства, мы всё время видим перед собой всё тот же храм. И в этом смысле ссылка на эволюцию со стороны всех наших современников лишена основания. Находясь на ступенях современной музыки, этого единого храма, мы его уже не видим.

Никто из пишущих и говорящих о музыке не замечает, что от прежней музыки остались лишь названия нот: до, ре, ми, фа, соль и т. д. Это единственное, что нас еще соединяет с прежней музыкой и помогает, например, мне, грешному, на подобие чичиковского Петрушки, слагать из этих, понятных мне музыкальных букв, непонятные мне «новые слова» нынешних композиторов.

Ссылаясь на вечное позорное непонимание гениев их современниками, никто не замечает гораздо более позорного обнаружения своей трусости. Я, например, совсем не виню современников Бетховена или Вагнера в том, что они не поняли этих гениев. Во-первых, эти добрые люди были честны и смелы в своей искренности, во-вторых, они соблюли необходимую сдержанность в сотворении себе кумиров. Что же касается Бетховена и Вагнера, то и для них это было нужно, т. к. заставило зака-

лить и проверить свой дух. И в конце концов, что же мы от этого потеряли? Теперь посмотрим, что делается в этом смысле в наши дни...

Каждый сопляк, лишь вчера едва преодолевший пять линеек нотной системы, сегодня уже позволяет себе открывать новые пути в музыке и завтра, глядишь, уже по этому пути за ним следует целое стадо идиотов.

Говорят, лучше оправдать нескольких виновных, чем казнить одного невинного, и это, конечно, неоспоримо; но в отношении к искусству я перефразирую эту сентенцию так — лучше не признать *одного гения* (а много ли их бывает за столетие?), чем создать себе из бездарных наглецов и авантюристов целую армию ложных кумиров!***

Подумать только — было ли это когда-нибудь в истории человечества?! Сотни гениев, легион гениев в одно время в одном искусстве, да еще в одной, да еще самой маленькой части света! И притом все именно *гении,* т. к. *все* открывают новые пути! Это уж воистину эволюция! Ну, вот и давайте смотреть, кто кого перетрюкает! А между тем современное искусство наше погибло не только в смысле духа, но гибнет и как ремесло...

Нам всем скоро будет ломаный грош цена, т. к. ни одно ремесло не может равняться по легкости достижения с современным сочинительством музыки. Ни одно ремесло не отличается такой безответственностью. Не говоря уже о невежестве и ошибках докторов или инженеров (от которых часто зависит жизнь людей и за которые доктора и инженеры подлежат суду), даже простая прачка, прожегшая дырку в подштанниках, отвечает за свою ошибку. Исполнители музыканты бесконечно бо́льшие специалисты-работники, чем мы — композиторы.

Н. К. Метнер

*** В жизни — не убий! а в религии и искусстве: не сотвори себе ложных кумиров!

ДВА КРИЗИСА

«В этот век жестокий и постыдный».
(Микель Анджело в переводе Тютчева).

Венгерская революция была подавлена с невероятной жестокостью — невероятной в буквальном смысле слова. Американский журналист, бывший свидетелем подавления, говоря о его жестокости, так и писал, что нужно было видеть, чтобы этому поверить. Мы переживаем время поистине «жестокое и постыдное». И всё же, может быть именно эта трагедия венгерской революции делает будущее менее беспросветным, чем оно могло казаться под непосредственным впечатлением событий последнего времени. Даже перспективы развития событий на Ближнем Востоке могут оказаться не такими мрачными, как они теперь представляются. Но об этом дальше. Два острых кризиса, свидетелями которых мы являемся, имеют не только различные, но и общие корни. В своем развитии они переплелись так, что почти невозможно говорить об одном, не касаясь другого. Но для анализа разделение необходимо, и я буду говорить сначала об одном — о кризисе советской империи, а потом о другом — о кризисе, связанном с Суэцким каналом.

1.

Я пишу только что прочитав речь Тито, произнесенную им 11-го и опубликованную 15-го ноября. В ней Тито выразил убеждение, что волнения в восточно-европейских странах проявились бы и в том случае, если бы Сталин не умер, и даже если бы Сталин продолжал жить, то еще раньше, чем это произошло после его смерти. Тито сказал, что он говорил это «советским товарищам», и что те не возражали. Вопросы, что было бы, если бы не произошло такое-то событие, обычно неразрешимы. Но в данном случае можно с уверенностью оспаривать вторую часть того, что утверждал Тито. Восстание в Восточной Германии произошло меньше чем через три с половиной месяца после смерти Сталина, и в момент ста-

линской смерти не было никаких оснований ожидать этого восстания. Тито знал о положении в странах-сателлитах больше того, что было известно по сю сторону железного занавеса, и мог иметь основания считать борьбу этих стран за их освобождение неизбежной, независимо от того, умрет Сталин или нет. Но даже если это так, то отсюда еще не следует, что развитие событий при жизни Сталина не было бы существенно отличным от того, что в действительности происходило. Развитие событий, как оно имело место, было развязано смертью Сталина, и характер его в решающей мере определился под влиянием политики сталинских наследников и самого факта, что Сталина уже не было. Если бы Сталин продолжал жить, то происходило бы иначе и в другие сроки.

Чем дальше, тем всё яснее становится, в какой мере смерть Сталина ознаменовала начало нового периода советской истории — истории и Советского Союза и советской империи. В статье о «Проблемах коллективной диктатуры»* я старался показать, почему сталинские наследники должны были стараться найти новое решение проблемы их власти и для этого в известной мере перестроить базис советской диктатуры. Такая проблема стояла не только по отношению к их власти в самом Союзе, но и по отношению к власти над всей советской империей. Эту проблему просто нельзя понять, если считать, что посредством материальной силы и неограниченного насилия можно достигнуть всего, что угодно. Не буду повторять здесь своих соображений на тему, что кроме пулеметов нужны и пулеметчики. И в самом Советском Союзе даже сталинская диктатура держалась не только чрезвычайно разработанной системой насилия (хотя, конечно, без этой системы она не удержалась бы). В странах-сателлитах, фактически завоеванных, положение осложнялось тем, что они не только были подвергнуты внутренне-политическому гнету, но в то же время, потеряв независимость, находились под ярмом завоевателей. Именно поэтому, независимо от национальных особенностей и хода предыдущей истории, было мало вероятно, что народы этих стран будут так же долго и так же покорно терпеть, как терпели и всё еще терпят народы Советского Союза. На этом в сущности и была основана уверенность Тито, выраженная в его приведенном выше утверждении.

---

* См. кн. 45 «Нов. Журн.».

После войны советская власть оказалась — вернее сама себя поставила — перед проблемой организации ее новой империи. В известном смысле и Советский Союз можно считать «империей», как еще не так давно говорилось об империях Российской и Германской. Но когда сейчас идет речь о советской империи, то имеются в виду другие исторические аналогии, а также аналогия с планетными системами («сателлиты»!). В этом смысле советская империя состоит из господствующего государства и подвластных ему областей, включая страны, формально сохраняющие характер самостоятельных государств. (Признание этой фиктивной самостоятельности, как подлинной, является, кстати сказать, одним из пороков нынешней организации Объединенных Наций). Я не могу здесь останавливаться на всех причинах, почему советская власть избрала эту форму подчинения себе завоеванных ею стран. Важен прежде всего факт, что это было сделано, и что советская диктатура должна была организовать эту новую империю.

Всем известно, что повсюду были посажены так называемые «кукольные» правительства, во всем подчиняющиеся Москве (Сталин, без сомнения, хотел чтобы таким было и правительство Тито). Но за этой упрощенной формулой скрывается сложный процесс, каким было образование покорной власти в странах-сателлитах. Задача не могла быть решена без присутствия на территории этих стран советских вооруженных сил, но она не могла быть решена и только военной оккупацией. Преимуществом и собственным смыслом избранной формы организации фактически завоеванных стран было то, что подвластные страны должны были в то же время стать и союзниками, увеличивая военный потенциал Советского Союза, а не ослабляя его отвлечением больших сил на выполнение задач военной оккупации. Этого нельзя было достичь «голым» насилием. И держа наготове достаточный аппарат насилия, советское правительство не пошло путем организации перманентной военной оккупации, но всяческими методами, включая и запугивание и обман и коррупцию, выискивало внутренние силы, на которых могли бы базироваться эти покорные ей правительства. Такими силами прежде всего были, конечно, коммунистические партии этих стран. Но это было недостаточно, и советская власть старалась избегать образования чисто коммунистических правительств, оперируя сначала разными коалициями нескольких партий — то-есть

обманутых и поддавшихся советскому давлению партийных руководств, — а затем «фронтами» уже целиком подчиненными коммунистам. По видимости эта политика оказалась очень успешной. После ряда чисток, в странах-сателлитах были образованы правительства, абсолютно преданные Москве и в то же время справлявшиеся с задачей управления этими странами — методами советского образца. Из Чехословакии, где и раньше существовала сильная коммунистическая партия, советские войска были выведены совсем (а также из Болгарии). В других странах они оставались, — за исключением Восточной Германии, — в сравнительно скромных размерах, и режима военной оккупации не было. Страны-сателлиты получили собственные армии, казавшиеся вполне надежными. Так было по видимости, но что скрывалось за этой видимостью стало выявляться после смерти Сталина.

Дело не только в реальной личности Сталина, но еще больше в том, что вместе со Сталиным умер и связанный с его именем миф. История этого мифа, тот механизм, посредством которого он создавался и укоренялся, еще не были предметом исследований, которых они заслуживают, и я не берусь разрешать все связанные с этим мифом проблемы. Факт тот, что сталинский миф играл очень большую роль и в самом Советском Союзе и во всем международном коммунистическом движении и у многих, даже самых ярых, противников Сталина и вообще коммунизма. Это был миф о всемогуществе Сталина, о том, что он всё может, что ему всё удается, что против него ничего нельзя сделать. Этот миф создавался параллельно с процессом уничтожения Сталиным всех возможных врагов и соперников внутри страны и был еще укреплен победоносным для Советского Союза исходом Второй мировой войны. На этом мифе был основан абсолютный всё подавляющий авторитет Сталина и в Советском Союзе и в советской империи и во всех коммунистических партиях. Я говорю о «мифе», потому что влияние его выходило за пределы возможностей имевшейся в распоряжении Сталина материальной силы. И что особенно важно в случае стран-сателлитов, это то, что абсолютный авторитет Сталина помогал держать эти страны в полном повиновении при более экономном применении прямого насилия. Пока Сталин жил, не было никакой перспективы освобождения. С его смертью эта перспектива появилась — вначале главным образом как не вполне осознанное ощущение, но постепенно становясь

более сознательной — в различных странах в разной степени и в разных темпах.

Наследники Сталина знали, что у них нет того всеподавляющего авторитета, который был у Сталина и что они не могут рассчитывать на суеверное преклонение перед их волей. Они очутились в реальном мире, очищенном от мифологии и управляемом факторами другого порядка. У них была та же материальная сила, что и у Сталина, но не было той же свободы ею распоряжаться. Были «пулеметы», но из «пулеметчиков» уже не все были вполне надежными, а некоторые (органы безопасности) могли оказаться опасными для них самих. Проблема власти над советской империей остро встала перед ними, если не раньше, то во всяком случае в момент восстания в Восточной Германии, то-есть, в июне 1953 года. Мы очень мало знаем о борьбе мнений вокруг этой проблемы. Но знаем, что эта борьба шла и не закончилась полным торжеством одного мнения. После того, как была принята определенная линия политики, оставались ее противники и в советском «коллективном руководстве» и в компартиях стран сателлитов.

В какой-то момент было принято решение не противиться «оттепели», начавшейся у сателлитов, не подавлять ее воздействием силы, но стараться направлять ее в русло, благоприятное для советской политики. Сторонники этой восторжествовавшей линии, по всей вероятности, надеялись, что им удастся смягчить антисоветские настроения в подвластных странах и, дав им известную внутреннюю автономию, создать у них иллюзию независимости и внести в систему советской империи элемент добровольности. Первой и очень эффектной демонстрацией нового курса было примирение с Тито. В упомянутой выше речи Тито подчеркнул, что это примирение состоялось «по желанию и инициативе» советской стороны, и тут же сказал, что преемники Сталина «видели, что вследствие безумства Сталина Советский Союз... оказался в тупике в своей внутренней и внешней политике и... в своих отношениях с другими народно-демократическими странами». Этим Тито дал понять, что в сближении с ним коллективное руководство искало выхода из этого тупика. Чем же сближение с Тито должно было помочь советскому коллективному руководству? Почему советские правители так жаждали этого сближения, что ради него пошли на такое унижение, как покаянная поездка в Белград? Объяснение нужно искать в том

значении, какое имел разрыв Тито с Москвой, с его не только явными, но и остававшимися скрытыми последствиями. Тито был коммунистическим лидером, который дерзнул перечить Сталину и, вопреки почти всеобщим ожиданиям, уцелел. Это был первый удар, нанесенный мифу о всемогуществе Сталина. Непосредственных результатов этот удар за пределами Югославии не имел, потому что в странах, имеющих общую границу с Советским Союзом и с советскими вооруженными силами, дерзать было куда опаснее. Но зараза «титоизма» проникла и в эти страны, до смерти Сталина оставаясь, однако, в латентном состоянии. Всё же в Польше был конфликт с Гомулкой и руководство польской партии, несмотря на давление со стороны Сталина, не решилось ни судить Гомулку, ни ликвидировать его без суда. Но хотя по внешности всё было спокойно и сталинские ставленники без малейших сдержек расправлялись со всеми не стопроцентно надежными элементами в самих компартиях, Тито приобрел в странах-сателлитах огромный авторитет. А после смерти Сталина желание подражать ему стало не только более интенсивным, но и более активным. Решив в известных пределах мириться с «оттепелью», советское правительство не могло не опасаться, что брожение может выйти из этих пределов и притом в очень значительной мере под влиянием югославского примера и югославской пропаганды. Для советского правительства самым верным средством избежать этого было заручиться поддержкой Тито при урегулировании отношений с сателлитами, подкрепив его авторитетом новую линию советской политики.

Тито не бросился прямо в распростертые ему объятия. Он вел переговоры, настаивал на определенных условиях. Его влияние в какой-то мере сказалось в «развенчании» Сталина и еще больше в признании законности «различных путей к социализму». Увенчанием была совместная декларация, подписанная в Москве 20-го июня нынешнего года Хрущевым и Тито. Декларация указывала, что обе стороны считают, «что пути социалистического развития в различных странах и различных условиях различны». И «что и та и другая сторона чужды всякой тенденции навязывания своего мнения в определении путей и форм социалистического развития». Исходя из этого, обе стороны заключили, что сотрудничество между ними «должно основываться на полной добровольности и равноправии». Но, как указал в своей речи Тито, полного согласия не было. Мы, сказал он, «не могли достичь

полного согласия, но тем не менее была выпущена декларация, которая, по нашему мнению предназначалась для более широкого круга, чем только для Югославии и Советского Союза». Другими словами, Тито считал, что отношения между Советским Союзом и другими странами, до сих пор входившими в советскую империю, должны быть основаны на тех же принципах как и новые отношения между Советским Союзом и Югославией. Как это было довольно достоверно известно и раньше, по идее Тито, сателлиты должны были стать действительно независимыми государствами вплоть до права быть нейтральными в их внешней политике. Более того: по некоторым сведениям Тито старался убедить своих советских собеседников, что Советскому Союзу в интересах его безопасности лучше всего иметь на Западе прилегающий к нему пояс дружественных нейтральных государств. В Москве, как рассказал Тито, велись разговоры о Польше, Венгрии и других странах, при чем, по словам Тито, «мы заявили, что режим Ракоши и сам Ракоши не имеют необходимой квалификации, чтобы управлять венгерским государством или чтобы вести его к внутреннему единству, но наоборот могут привести его к очень тяжелым последствиям». К сожалению, добавил Тито, «советские товарищи нам не верили». Мы увидим, что у них были серьезные основания опасаться и очень тяжелых последствий либерализации режима. Советское правительство стояло перед дилеммой, любое решение которой могло оказаться для него очень опасным.

Это обнаружилось очень скоро. Подписанная Тито и Хрущевым декларация была опубликована 21-го июня. Ровно через неделю в Познани разыгрались бурные события, получившие для Польши историческое значение. В те дни противники «либерализации» могли злорадно говорить: вот к чему приводят допускаемые вами поблажки! Самым тревожным для Москвы было то, что в Познани ярко проявились антисоветские настроения. Дело шло не только об экономических требованиях, не только о хлебе, но «о хлебе и свободе» и о том, чтобы «русские уходили домой». Речь Тито подтверждает, что после Познани в Москве взяли верх те, кто, по его словам, «стояли и всё еще стоят на сталинистских позициях». С этого момента изменилось и отношение к Югославии и к самому Тито, которого стали изображать главным виновником брожения в странах-сателлитах. ЦК советской компартии разослал по другим компартиям циркулярное пись-

мо с критикой «титоизма» и предостережением не следовать его примеру. Назревал новый конфликт, в связи с чем состоялась сенсационная поездка Хрущева в Югославию, а затем поездка Тито вместе с Хрущевым в Крым. Много драматичнее развивались события в Польше и Венгрии, приведшие в одном случае к польской бескровной революции, а в другом к страшной трагедии венгерской революции. Почему же развитие в Польше и Венгрии, одно время шедшее почти параллельно, привело к настолько различным результатам? Почему, в частности, советское правительство отнеслось к польской революции гораздо терпимее, чем к венгерской?

2.

В общей форме ответ на этот вопрос очень прост: потому что у Польши и Венгрии не одна и та же история. События в этих странах часто комментируются так, как будто после второй мировой войны их история началась совершенно заново и пошла затем в общем по одинаковому пути в обеих странах. И то и другое глубоко неверно. Ни поляки ни венгры своего прошлого не забыли и после войны Польша и Венгрия оказались совсем не в одинаковом положении. Некоторые исторические воспоминания очень сходны: подавление русскими войсками польских восстаний и подавление в 1849 г. венгерской революции тоже русскими войсками. Но с разделами, которым тоже подвергались обе страны, было уже иначе. Здесь для нас важна в особенности новейшая история. В 1941 г. Польша еще раз была разделена между Германией и Россией, теперь уже Советским Союзом. Но после войны Польша была восстановлена как государство, хотя фактически и лишенное независимости. Она потеряла восточные области, отошедшие к СССР, но получила очень ценную территорию, оторванную от Германии. Венгрия же после второй мировой войны только потеряла часть своей территории, не получив никакой компенсации. Она оказалась наиболее обделенной из стран-сателлитов. После второй мировой войны она опять всё потеряла. Наиболее болезненной была для нее потеря северной Трансильвании, которая была возвращена Румынии. Число венгров, живущих в Трансильвании, в настоящее время превышает полтора миллиона. После первой мировой войны раздел Венгрии был произведен западными державами. На этот раз ответственным за передел явился Советский Союз. С запада Венгрии не грозит никакая опасность, для

защиты от которой она нуждалась бы в поддержке Советского Союза, и последний является поэтому для большинства венгров только поработителем.

Польша находится совсем в другом положении уже потому, что она расположена между Советским Союзом и Германией. По горькому историческому опыту поляки знают, что существование их государства или сохранение его целостности могут быть обеспечены только прочной связью Польши с одной из этих соседних держав. В настоящее время таким хранителем Польши может быть только Советский Союз. Правда, сейчас Польша на Западе граничит с Восточной Германией, которая принадлежит к советской империи. Но поляки думают не только о сегодняшнем дне и считаются с возможной перспективой объединения Германии. Будет ли объединенная Германия в состоянии примириться с окончательной потерей Силезии и других восточных областей? Я знаю, что и в самой Германии есть люди, которые считают, что придется примириться и думают, что объединенная Германия не будет пытаться вернуть потерянное. Но уверенности в этом быть не может, и — в данном случае самое главное — этой уверенности нет и не может быть (на основании их горького исторического опыта) у поляков. О возврате потерянных Польшей восточных областей не может быть и речи. Это понимают все сколько-нибудь политически мыслящие поляки. Главной *национальной* задачей они считают сохранение того, что они получили на Западе. Ну а если Советский Союз когда-либо в будущем, чтобы «купить» объединенную Германию, предложит ей возвращение, скажем Силезии? Насколько я знаю, поляки считаются и с такой перспективой. Думаю, что они должны с ней считаться опять-таки на основании горького исторического опыта. У Польши нет другого выхода — по крайней мере на предвидимое время — кроме прочной связи с СССР. Поэтому даже подлинно независимая Польша была бы обречена на то, чтобы оставаться в орбите советской внешней политики. Участие ее в какой-либо враждебной Союзу комбинации совершенно исключается. Москва это, конечно, понимает и этим объясняется ее сравнительно терпимое отношение к польской «оттепели». После Познани она сделала попытку сдержать либерализацию польского режима, но поляки — польские коммунисты! — не послушались. Потом четыре члена президиума спешно приезжали в Варшаву, чтобы воздействовать на ЦК польской партии и помешать

установлению режима Гомулки. Польские коммунисты дали решительный отпор, и Москва с этим примирилась. У нее не было другого средства воздействия, кроме применения вооруженной силы. Но это означало бы установление режима военной оккупации после ожесточенной борьбы, которая сделала бы подавляющее большинство поляков, включая коммунистов, непримиримыми врагами Советского Союза. Польша выпала бы из военно-политической системы советской империи, и для удержания ее на положении подвластной страны понадобилось бы отвлечь большие военные силы. А в случае войны? Если Советский Союз и хочет войны избежать, то с возможностью войны он не может не считаться. Но в случае войны в Европе советские войска должны были бы двигаться через враждебную Польшу. Польская армия или не существовала бы, или была бы совершенно ненадежной. Пришлось бы тратить большие силы на охрану сообщений и, более чем вероятно, на борьбу против партизанского движения. Для советов, очевидно, неизмеримо выгоднее иметь в Польше дружественное государство, хотя бы и независимое в своей внутренней политике. Поэтому по отношению к Польше Москва проявила совершенно несвойственную ей уступчивость.

Контраст этого развития с судьбой венгерской революции чрезвычайно разителен. По свидетельству наблюдателей, хорошо знакомых с положением, в Венгрии ненависть к коммунистическому режиму и к Советскому Союзу была чрезвычайно интенсивной — интенсивнее чем в какой-либо другой подвластной Союзу стране. Правда, то, что рассказывали венгерские эмигранты, мало чем отличалось от того, что рассказывали о своих странах эмигранты польские, чешские, румынские и болгарские. А между тем различия несомненно существовали, в особенности между условиями в Венгрии и в Польше. Не располагая материалом для вполне удовлетворительного объяснения, можно всё же установить некоторые существенные моменты. Но для этого нужно прежде всего отрешиться от очень распространенной склонности рассматривать все коммунистические режимы, как нечто совершенно однородное, одинаково жестокое и коварное. Признавая наличие этих общих основных свойств, нельзя игнорировать и того, что в разных странах существуют и разные степени их проявления. Нужно считаться и с личным фактором — качеством вождей и кадров коммунистических партий.

Коммунистический режим в Польше во многом отличался от такого же режима в Венгрии, и это различие в значительной мере объясняется различным характером коммунистических партий этих стран. Хотя польская коммунистическая партия в 1938 году была разгромлена и распущена Москвой (формально Коминтерном), в Польше оставалось довольно сильное коммунистическое движение, в котором как-никак сохранялось влияние традиций, шедших от бывших левых социалистов, составивших при образовании коммунистической партии ее ядро. Вряд ли какая-либо другая коммунистическая партия за пределами России имела такую блестящую интеллигенцию как польская. Не забудем, что, как и само новое польское государство, польская коммунистическая партия включала элементы, формировавшиеся в трех странах — в Австрии, Германии и России. Москва нанесла польской партии ряд жестоких ударов, ликвидировав ее наиболее выдающихся лидеров, но всего не искоренила. В Венгрии же коммунистическая партия была разгромлена, можно сказать, в самый момент ее возникновения — в 1919 г., когда была ликвидирована Венгерская Советская Республика, возглавлявшаяся Бела Куном. Кстати этот эпизод коммунистической революции и воспоминание о нем объясняют, почему в Венгрии враждебность по отношению к коммунизму была более массовой, чем где-либо. После разгрома коммунистической революции, в Венгрии не было легальной компартии, а подпольное коммунистическое движение было незначительно и беспощадно подавлялось. С того времени до второй мировой войны венгерский коммунизм существовал только в эмиграции, будущие диктаторы находились в Москве. В 1924 г. Ракоши вернулся в Венгрию для организации нелегальной партии, но скоро был арестован, приговорен к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением, а затем выдан Советскому Союзу в обмен на старые венгерские знамена, захваченные русскими войсками в 1849 году. Только во время войны и уже довольно поздно — кажется, в 1944 г. — из Советского Союза пробрался в Будапешт для организации коммунистического движения сопротивления, позднее игравший большую роль, Райк. Но это движение не получило сколько-нибудь значительного развития. О корнях венгерского коммунизма, в частности в венгерском рабочем движении, в момент, когда Венгрия оказалась под властью советской оккупации, не могло быть и речи.

Тогда компартия была организована совершенно заново под руководством прибывших из Москвы эмигрантов и быстро разбухла главным образом благодаря притоку тянувшихся к силе оппортунистических элементов. Постепенно образовались новые кадры, но, как показали последние события, это были уже не стопроцентные сталинисты, а в своем большинстве люди поддавшиеся заразе «титоизма». Наиболее верные ставленники Москвы, Ракоши и Геро, стали самыми ненавистными фигурами и в стране и для многих членов компартии. В Польше же был Гомулка, приобретший, как «национальный коммунист», огромную популярность и в партии и в стране.

Я уже упоминал, что руководство польской партии отказалось предать Гомулку суду. В Венгрии же Райк и другие, отнюдь не такие «национальные коммунисты» как Гомулка, были по советскому образцу обвинены в самых невероятных преступлениях, пытками доведены до «сознания», судимы и уничтожены. Таких процессов московского образца в Польше вообще не было. Дальше секретных судов со смертными приговорами дело не шло. Конечно, и в Польше не могло быть и речи о правосудии и законности, органы охраны совершали достаточно преступлений, не останавливаясь перед жестокими пытками. И всё же это была не та *степень*, которой террор достиг в Венгрии. В Польше не было процесса кардинала Вышинского, тогда как в Венгрии был позорный процесс кардинала Минценти. Различие не в принципиальном отношении к террору, а лишь в степени его применения, но для реакции населения это имеет очень большое значение.

Можно быть разного мнения о том, был ли взрыв в Венгрии неизбежен или же он мог быть предотвращен своевременными уступками. Спор об этом вопросе и сейчас может иметь значение в Москве, где от того или иного решения может зависеть политика советского правительства в других странах-сателлитах. Но в Венгрии оно оказалось перед фактом, что взрыв предотвращен не был. В течение нескольких дней казалось, что Москва готова уступить. Она уже соглашалась на вывод советских войск. Всего вероятнее это было не результатом колебаний, а маневром с целью выиграть время, необходимое для подвоза новых и очень значительных сил, чтобы покончить с революцией коротким сокрушительным ударом. Чтобы другим было неповадно! Операция была проведена с самым отвратительным коварством и неописуемой жестокостью. Но подавление венгерской революции не только

не решило основной проблемы советской империи, но поставило ее с еще большей остротой. Что же дальше? Положиться на то, что национальные революции в Восточной Европе будут предотвращены устрашающим примером Венгрии? Но венгерский пример является устрашающим и для Москвы, потому что он показывает, что наступает момент, когда люди поднимаются на борьбу, по трезвому расчету совершенно безнадежную. Перейти от режимов «кукольных» правительств к режимам военной оккупации? Но тогда вся система советской империи потеряет свой смысл, так как, во-первых, ее существование будет не усиливать, а ослаблять военный потенциал Советского Союза и, во-вторых, советские провинции под военной оккупацией никто уже не будет считать странами «социалистического лагеря, собственными путями идущими к социализму». Может ли, наконец, советская власть совсем уже не считаться с потрясениями, которые были вызваны подавлением венгерской революции во всех коммунистических партиях и в не-коммунистических, но доброжелательных по отношению к Советскому Союзу кругах?

Пока все признаки говорят за то, что Москва будет стараться наладить свои отношения с так называемыми «народными демократиями» посредством компромиссов. Соглашение с Польшей уже состоялось. В Венгрии, облыжно именующее себя «революционным», правительство Кадара перенимает из программы правительства Надя почти все уступки, вырванные в первые дни революции. Еще за четыре дня до сокрушительного удара против венгерской революции советское правительство опубликовало декларацию «об основах развития и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Советским Союзом и другими социалистическими государствами». Декларация признает, что «во взаимоотношениях между социалистическими странами» было немало «нарушений и ошибок, которые умаляли принцип равноправия в отношениях между социалистическими государствами». Эти государства «могут строить свои взаимоотношения только на принципах полного равноправия, уважения территориальной целостности, государственной независимости и суверенитете, невмешательства во внутренние дела друг друга». Таким образом принципы, которые декларация от 20-го июня установила для отношений между Советским Союзом и Югославией, торжественно подтверждаются теперь и для отношений со

всеми странами, входящими в советскую империю. Декларация ставит вопрос об отзыве из «стран народной демократии» советских специалистов — «инженеров, агрономов, научных работников, военных специалистов». Вопрос о советских войсках, находящихся в Польше, Венгрии и Румынии (в Чехословакии и Болгарии советских войск нет) советское правительство «готово рассмотреть с другими странами, участниками Варшавского договора», который является «в военной области важной основой взаимоотношений между Советским Союзом и странами народной демократии».

На советские документы нельзя полагаться как на незыблемые хартии. Но знаменательно уже и то, что в разгар венгерской революции советское правительство опубликовало документ с явной и очень подчеркнутой тенденцией не запугивать, а наоборот обнадежить другие страны. Вряд ли кто поверит тому, что советское правительство действительно решило отказаться от вмешательства во внутренние дела других «стран народной демократии» и предоставить им полную независимость с неограниченным суверенитетом. Но гораздо более вероятно, что оно готово мириться с известной, более или менее широкой, внутренно-политической автономией сателлитов, удерживая их посредством Варшавского пакта в военно-политической системе советской империи. И более чем вероятно, что отныне советское правительство намерено отказаться от экономической эксплоатации сателлитов и, наоборот, будет стараться смягчить их недовольство, насколько возможно «задобрить» их экономической поддержкой.

Декларация наверное была опубликована не только для стран-сателлитов, но в какой-то мере и для собственной страны и в большой мере для успокоения стран Азии и Африки, в которых советское правительство хочет приобрести решающее влияние. О том, как отразилось подавление венгерской революции на настроениях в самом Союзе, пока еще ничего сказать нельзя. В странах Азии и Африки венгерские события были заслонены египетским конфликтом. Но Москва не может не считаться с возможностью, что значение подавления венгерской революции будет постепенно осознаваться и в этих странах. В «антиколониальных» странах может возникнуть мысль, что существует и советский колониализм. А это очень ухудшило бы шансы успеха советской азиатской и африканской политики, имеющей для советской

диктатуры далеко не второстепенное значение. В настоящее время это больше всего касается политики по отношению к странам так называемого «арабского блока».

3.

Во внешней политике СССР политика, которую для краткости можно назвать «арабской», занимает в настоящее время очень видное, вероятно, доминирующее место. Но держась правил сводить гипотетический элемент до возможного минимума, я не буду стараться определить, как далеко идут в этой области советские планы. Тут еще немало неясных и противоречивых моментов. Немало однако и бесспорного, чем на этот раз и можно ограничиться. Бесспорно прежде всего, что в своей арабской, как и во всей азиатской политике, советское правительство прилагает все усилия, чтобы выставить себя самым непримиримым врагом «колониализма» и самым бескорыстным другом всех пробудившихся и пробуждающихся к самостоятельной национальной жизни народов. Не менее бесспорно и то, что в этой политике советское правительство еще несколько месяцев тому назад проявляло известную сдержанность, воздерживаясь от слишком далеко идущих обязательств. Так было в особенности после поездки Булганина и Хрущева в Англию, где Иден сказал им с полной откровенностью, что Англия будет всеми средствами защищать свои жизненные интересы в странах арабского мира. Поездка Шепилова в Египет и другие арабские страны летом нынешнего года оставила разочарование у арабов, по крайней мере в Египте и Сирии. Шепилов много говорил о дружбе, но был скуп на обещания. По вопросу об Израиле Шепилов не только не обещал поддержки Советского Союза в случае вооруженного конфликта, чего от него добивались, но скорее старался оказать умеряющее воздействие. И, наоборот, в Израиле, насколько мне известно, поездка Шепилова произвела успокоительное впечатление. По всей видимости советское правительство хотело избежать — по крайней мере в данный момент — конфликта с Англией и поэтому старалось не итти слишком далеко.

Положение резко изменилось с того дня, когда Нассер провозгласил национализацию Суэцкого канала. С этого времени советское правительство целиком поддерживало Нассера, тем самым фактически — и, без сомнения, сознательно — толкая его на занятие самой непримиримой позиции. А

когда вспыхнул вооруженный конфликт сначала Израиля, а затем Англии и Франции с Египтом, эта безоговорочная поддержка Нассера Советским Союзом проявилась с такой резкостью, что уже приходилось считаться с возможностью новой большой войны — еще не с вероятностью, но во всяком случае с возможностью. И когда пишется эта статья, конфликт еще остается чреватым самыми грозными последствиями. И в этом конфликте советское правительство выступает в роли могучего покровителя и, наряду с Нассером, лидера арабского мира.

Существует мнение, что Нассер, национализируя канал, следовал подстрекательству Москвы. Я не нахожу никаких оснований для такого предположения. Противоречия между заявлениями советского посла в Каире и Шепилова в Москве указывали скорее на то, что Москва была застигнута врасплох (но очень быстро оправилась от неожиданности). И вряд ли Нассер нуждался в таком подстрекательстве. Он и без того был в состоянии бешеной ярости.

Но хотя, как я думаю, национализация Суэцкого канала была произведена по собственной инициативе Нассера, а не по советскому подстрекательству, советское правительство сделало всё возможное, чтобы поднять свой престиж и подорвать влияние Запада, главным образом Англии, в странах арабского мира. Резкое заявление Доллеса об отказе от финансирования Асуанской плотины и бешеная реакция Нассера были для Москвы тем, что немцы называют «найденной едой». С этого момента советская политика была совершенно последовательной, чего никак нельзя сказать о политике американской, своими противоречиями шаг за шагом усиливавшей позицию Нассера и поставившей Англию и Францию в безвыходное положение.

Если политика США так резко разошлась с политикой Англии и Франции, то это в значительной мере объясняется различным пониманием роли Нассера — вернее полным непониманием ее руководителями американской политики. До середины 1955 года они относились к Нассеру с большой симпатией и считали его заслуживающим всяческой поддержки. Разочарование началось только тогда, когда Нассер заключил с Советами сделку о поставке оружия. Но и тогда они были обеспокоены не столько планами и амбициями самого Нассера, сколько опасностью проникновения в Египет советского влияния. Опасность эта была реальна, но реальна

была и опасность амбиций Нассера. В частности, государственный секретарь Доллес, повидимому, проявил то же непонимание, которым в свое время отличались его сужденя о Гитлере. Недавно Дру Пирсон привел цитаты из речей произнесенных Доллесом, тогда еще частным лицом. В речи произнесенной весной 1939 года, то-есть, почти накануне начала войны, Доллес говорил о Германии, Италии и Японии, как о «трех динамических народах», которые «решили взять свою судьбу в свои собственные руки и достичь статуса, которого им не давали». К счастью, американской политикой руководил тогда не Доллес, а Рузвельт.

На первый взгляд сравнение Нассера с Гитлером может показаться совершенно бессмысленным. Как у диктатора экономически крайне отсталой страны с населением почти на девяносто процентов неграмотным, живущим в нищенски-бедных условиях, могут появиться хотя бы мечты, подобные грандиозным планам диктатора могущественной Германии? Тем не менее у Нассера имеются планы, от которых веет духом Гитлера. Идеи Нассера, несомненно, формировались под влиянием Гитлера и «Моей борьбы». Нассер написал и собственную «Мою борьбу» — книжку, в 1955 году изданную по-английски в Америке под заглавием «Освобождение Египта. Философия революции», с восторженным предисловием талантливой, но подверженной странным блужданиям мысли, журналистки Дороти Томпсон. В своей книге Нассер говорит о «нашей» силе и ее источниках. Он приходит к выводу, что «*мы* сильны». Но это «мы» у него не только Египет, а весь арабский мир или, как он выражается, — мы увидим почему — «арабский круг». Эта «наша» сила имеет три главных источника. Первый источник, — сообщество народов-соседей, связанных теснейшими материальными и моральными узами, и имеющими общую цивилизацию, которая создала *три* священных религии. Второй источник, это — географическое положение «нашей страны», в этом случае, очевидно, Египта, на перекрестке мировых путей, на проходном пути мировой торговли и движения армий. Это ясно указывает на значение Суэцкого канала в концепции Нассера. И третий источник силы — *нефть*.

Сказанное относится к «арабскому кругу» — первому из трех кругов, центром которого по концепции Нассера должен быть Египет. Второй круг, это — «темный континент», двести миллионов цветных народностей Африки. И третий круг

— «круг Ислама», который должен быть объединен представительством во всемусульманском парламенте. В этом парламенте должны быть объединены представители мусульман всех стран, включая сорок миллионов живущих в Советском Союзе. Нассер осторожно оговаривается, что сотрудничество всех мусульман не должно переступать границ лойяльности каждого народа по отношению к их странам. Тем не менее их объединение будет иметь силу, которой оно сможет пользоваться «мудро и беспредельно».

Для нашего времени важен не вопрос об осуществимости или безнадежной утопичности этой программы. И Гитлер имел неосуществимую программу, но борьба за ее осуществление привела к Второй мировой войне. Отдельные элементы гитлеровской программы были осуществимы, и в течение почти десятилетия он шел от успеха к успеху. Непосредственно осуществимы и отдельные элементы программы Нассера. Он уже национализировал Суэцкий канал — по всей видимости, в данный момент это было вынужденным шагом, единственной возможной реакцией на отказ Америки от финансирования Асуанской плотины, постройка которой имела первостепенное значение для внутренней политики Нассера. Нассер уже приобрел огромный престиж в арабском мире, в частности, благодаря получению советского оружия. Фанатические призывы Нассера действуют на воображение и возбуждают страсти арабских масс. Полное овладение всей нефтью в странах арабского мира и вытеснение оттуда западных держав является реальной возможностью. Политика Нассера более всего опасна для Англии, так как ей она грозит экономической катастрофой, размеры которой трудно себе представить. И только невероятная близорукость руководимой Даллесом американской политики могла не считаться с тем, до какой степени жизненно необходимым для Англии является отпор политике Нассера. С «колониализмом» эта необходимость ничего общего не имеет.

Я вынужден многое опустить из этого узла проблем. Наиболее актуальным, кроме вопроса о Суэце, является вопрос о судьбе Израиля. Формально Израиль напал на Египет. На самом деле это был ставший абсолютно неизбежным акт самозашиты. Арабские страны, в особенности Египет и Сирия, не только не скрывали своего желания «сбросить израильское государство в море», но совершенно явно готовились к нападению на Израиль. Оснащенная советским оружием египет-

ская армия казалась им гарантией успеха. Уже была установлена координация сил Египта, Сирии и Иордана, окружающих Израиль со всех сторон — координация, отсутствие которой в большой мере содействовало разгрому арабов в их первой войне против Израиля. Вероятно, Израиль был бы в состоянии еще раз справиться с арабским нападением, если бы дело ограничилось только арабами. Но теперь появился новый фактор: Советский Союз при настоящей ориентации его политики не допустил бы нового разгрома арабов. Израиль это знал и для него единственным шансом спасения было молниеносным ударом ослабить египетскую армию и прорвать окружение его вооруженными силами арабских стран.

В результате Англия, Франция и Израиль оказались «агрессорами». Общее собрание Объединенных Наций их осудило огромным большинством. Возможно, что оно и не могло поступить иначе, раз названные государства действовали самочинно. Я не специалист по международному праву, но знаю, что по этому вопросу единогласия нет и среди международных юристов. Но для меня существенна другая сторона дела. Мог ли Израиль положиться на защиту Объединенных Наций? Нет. В случае, если бы Израиль подвергся нападению арабов, нет ни малейшего сомнения в том, что Совет Безопасности был бы парализован советским вето. Что же за этим последовало бы? Вмешательство одних держав на одной, а других — на другой стороне? Новая война? Ведь когда подверглась нападению Южная Корея, Совет Безопасности мог действовать только потому, что советское правительство сделало ошибку, предписав своему представителю не участвовать в заседании. Второй раз оно этой ошибки не повторит. Общее собрание (Генеральная Ассамблея) Объединенных Наций может делать «рекомендации» отдельным государствам или Совету Безопасности. Такие рекомендации были приняты относительно советской интервенции в Венгрии, но Советский Союз и посаженное им венгерское правительство их игнорируют. Кто может их принудить?

Дело не только в праве вето, обрекающем Объединенные Нации на бессилие в наиболее критические моменты. Организация Объединенных Наций имеет глубокий органический порок: в ней нет большинства демократических государств. Такая организация не может быть гарантом демократического международного права (которое, в сущности, нужно еще создавать), и какого-либо международного права вообще.

Меньше всего она может служить защите демократии и от коммунистических диктатур и от всяческих Нассеров. Французский министр иностранных дел сделал очень правильное замечание: если бы Англия и Франция во́-время ликвидировали бы Гитлера, то они вошли бы в историю как правонарушители и агрессоры, потому что никто не знал бы, что они предотвратили войну с десятками миллионов жертв. Когда диктатуры не стесняют себя никакими правовыми нормами, демократии не могут осудить себя на подчинение формальному праву, которое может быть для них равносильно самоубийству. Но при данной организации Объединенных Наций это формальное право является фиктивным, потому что оно предполагает международный правопорядок, которого нет и которого Объединенные Нации в их теперешнем виде создать не могут. И американскому правительству, оказавшемуся в союзе с советским против трех демократий, нет оснований гордиться своим руководящим участием в торжестве мнимого права. Торжествовать могут только Нассер и советское правительство. А пути к решению проблем Суэцкого канала и отношений между Израилем и арабским миром не видно — по крайней мере, еще не видно в момент, когда пишется эта статья. И всё еще нет уверенности, что опасность новой войны уже предотвращена. Этой войны никто не хочет. Не может ее хотеть и советское правительство. Оно должно стараться избежать войны в особенности теперь, когда у него так много трудностей в созданной им империи. Но это не является абсолютной гарантией мира. По очень удачной формулировке американского историка профессора Зонтага (цитирую по памяти), войны могут возникать в результате цепи решений, из которых ни одно не имело в виду развязать войну. А у Гёте Мефистофель говорит, что мы свободны принять первое решение, но затем становимся его рабами:

Das Erste steht uns frei,
Beim Zweiten sind wir Knechte.

Такая возможность не исключена и теперь, потому что советское правительство слишком связало себя решением во всем и до конца поддерживать Нассера. Всё же я убежден, что оно приложит все усилия, чтобы не оказаться лишенным выбора рабом своего решения. Мефистофель, войдя через дверь, был обязан через дверь и уйти. Ну, а Советы вероятно, смогут вылезти и через окно — найти в самый

критический момент какую-нибудь лазейку. Нынешние правители Советского Союза понимают, что война будет катастрофой и для их страны и для них самих. Возможно, что нужная лазейка уже заготовлена.

Сомнительно и то, так ли уж советское правительство заинтересовано в полном торжестве и чрезмерном усилении Нассера. До национализации Суэцкого канала книгу Нассера в Америке те, кому нужно было ее прочесть, не читали. В Москве, без сомнения, знакомы и с идеями Нассера и с тем, насколько он популярен среди мусульман. Мы видели, что Нассер хочет иметь в своем всемусульманском парламенте и представителей мусульман, живущих в Советском Союзе. Такого парламента, вероятно, никогда не будет. Но объединение под эгидой Нассера арабского мира и значительной части мусульман не могло бы не произвести большого впечатления на мусульманскую часть советского населения. Образовался бы мощный центр притяжения, как бы магнит, который притягивал бы мусульман и в Советском Союзе. Этого осложнения своего внутреннего положения советское правительство хотеть не может.

Но есть и другая сторона, а именно сторона арабская. Сейчас все арабские правительства вынуждены полностью поддерживать Нассера уже вследствие возбуждения в широких слоях арабского населения, для которых Нассер представляется своего рода героем-освободителем. Но я склонен считать правдоподобным сообщения о том, что почти повсюду — может быть, за исключением Сирии — успехи Нассера вызывают пока тщательно скрываемые сомнения и опасения. Для этого имеются, по меньшей мере, два очень серьезных основания. Во-первых, поскольку Египет и другие арабские страны становятся зависимыми от защиты и помощи Советского Союза, это означает проникновение в арабский мир всё усиливающегося коммунистического влияния, в чем правительства и правящие классы арабских стран меньше всего заинтересованы. Вторым основанием является нефть, которую Нассер считает могучим орудием арабской политики и которая в то же время является для стран ее имеющих источником громадных доходов. Если дело дойдет до изгнания западных иностранцев, то не придется ли заплатить за это слишком дорогой ценой? Сможет ли Советский Союз всех их заменить своими людьми и своей техникой? А если даже сможет, то не будет ли это означать и советского засилья?

Не будет ли процесс изгнания сопровождаться разрушениями? Где взять танкеры для вывоза нефти? Не сократятся ли рынки, так как такая «нефтяная революция», несомненно, поведет к увеличению добычи нефти в других странах?

Поэтому очень вероятно, что в арабских странах наступит — и, может быть, довольно скоро — реакция против безусловной поддержки Нассера и его слишком больших успехов*. Да и быстрота, с какой израильские войска разгромили довольно значительные египетские силы, вряд ли может не подействовать отрезвляюще. Перспективы будущего не безнадежны. Хотя наш век и остается «жестоким и постыдным», но имеются и просветы. Это не вопрос оптимизма или пессимизма — я обычно склонен скорее к пессимизму, — но учёт перспектив, который мне представляется объективным. И, может быть, больше всего дает оснований для надежды то, что переживается особенно мучительно. Как ни как, а мирная революция в Польше и потопленная в крови венгерская революция являются для Советского Союза и для всего коммунистического движения таким кризисом, какого они еще не переживали. Не начался ли процесс, который остановить уже невозможно и который рано или поздно должен перекинуться и в Советский Союз? Югославский коммунист-еретик (теперь, в сущности, уже вообще не коммунист) Милован Джилас в этом убежден. В написанной им для «Нью Лидера» статье Джилас говорит: — «С победой национального коммунизма в Польше началась новая глава в истории коммунизма в порабощенных странах Восточной Европы. Венгерской народной революцией началась глава в истории человечества». Может быть, он прав.

Ю. Денике

---

* После того, как эта статья была написана, появился ряд сообщений о таких настроениях не только в принадлежащем к Багдадскому пакту Ираке, но также в Ливане, Сауди Арабии, Судане и Ливии.

"ПАТРИОТИЗМ ТРЕБУЕТ РАССУЖДЕНИЯ"

То, что зовется национальной сущностью — такая же тайна, как душа, как талант, как индивидуальность. У нее нет ни имени, ни определения, ни описания, она выражается в характере, в подвигах, в творениях, и другого способа выражения не имеет. «Кто мог бы облечь в понятия или в слова то, что есть немецкое?» — спрашивал Леопольд Ранке. Was ist deutsch? Каутский, обративший внимание на этот вопрос, совершенно законно сближает его с тем, что Фауст говорил Маргарите о Боге: «Чувство — всё; имя ж — дым и звук пустой». Нация есть величайшая определенность и величайшая неопределенность. Каждый француз и знает, и не знает, почему он француз. Все в высшей степени ясно и непосредственно ощущают национальность как реальный факт, но никому не дано осязать его. Подобно божеству, национальность не терпит вложения перстов и эмпирического ее изучения. Испытующая рука хватает пустоту, как при попытке обнять бесплотный призрак. Попробуйте уловить русскость, она исчезнет и растворится. А. Блок это понимал:

Ты и во сне необычайна,
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне — ты почиешь, Русь.

Создание величайших ценностей европейской культуры падает на те времена, когда почитали эту тайну, не гнались за «пустым звуком», не впадали в соблазн ответить на вопрос Was ist deutch или Was ist französisch, но умели немецкое и французское выражать так, как в наше время уже не умеют. Этим объясняется урожай на Шиллеров, Гёте, Кантов, Декартов, Мольеров, Расинов.

Если искать причины творческого горения европейского человечества на протяжении больше чем пяти столетий, то не в национальной ли стихии надлежит их прежде всего видеть? Ведь мы и узнаем-то нацию по музыке, по картинам, по архитектуре и поэзии, по государственным и общественным формам, по научной и политической мысли, по быту и

костюму, по языку. Национальность раскрывается в творчестве. Значит и творчество народа без нее трудно представить себе. Шиллера и Гёте невозможно отделить от германской почвы, Рафаэль и Микель Анджело при всей их всемирности вскормлены Италией, Вольтер и Руссо — французы. Какое бы сходство ни наблюдалось между культурами различных европейских стран, оно никогда не способно устранить их местного своеобразия. И давно замечено, что не будь этого своеобразия, не было бы и европейской культуры. Национальная самобытность — аромат того цветка, что именуется тайной и приносится в мир творческим актом.

Старая Европа умела ценить источник своего творчества и свято хранила заповедь невкушения от древа познания собственной национальности. Это грехопадение совершила Европа новая. Она забыла, что «мысль изреченная есть ложь», и во сто крат большей ложью является «изреченное» чувство, тем более чувство целого народа. Таинственное, иррациональное, не поддающееся определению, она захотела перевести на язык логических норм мышления и закрепить в документах и декларациях. Она забыла, что, по словам Вл. Соловьева, «идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности».

***

Целая эпоха связана с «национальным пробуждением», с «национальным самосознанием». Его отождествляли с прогрессом, с развитием духовных сил нации, а когда «пробуждение» сопровождалось образованием независимого государства, в этом видели залог наибольшего выявления национальных способностей и национальной самобытности. Утопическое представление о социализме как всеобщем благополучии ассоциировалось у Отто Бауэра с национальным государством. «Вовлечение всего народа в национально-культурную общность, завоевание нацией полного самоопределения, растущая диференциация наций — вот что означает социализм». Никто теперь не сомневается, что «растущая диференциация наций» ничего общего ни с прогрессом, ни с освобождением их национального духа, ни с их гражданским и материальным благополучием не имеет. Неужели надо было Европе кипеть и волноваться из-за греческого восстания, неужели Байрон должен был погибнуть за освобождение Греции, чтобы там мог впоследствии появиться какой-нибудь

генерал Пангалос? Этот сарказм М. А. Алданова приложим ко всякой другой стране, пережившей эру своего «самосознания». Парнелль и фении, заставлявшие когда-то восторженно биться сотни тысяч сердец несомненно обманули мир. Учредившееся благодаря их борьбе ирландское независимое государство своим серењким никчемным существованием лишило подвиг Парнеля всякого обаяния. Стоило из-за этого безумствовать и бороться? Ни народное благосостояние не повысилось больше, чем оно могло повыситься под англичанами, ни культура не поднялась, а самое главное — вместо ожидавшегося расцвета национального творчества, выявления лучших сторон национального духа, наблюдается повсюду как раз обратное. Из всех познавших себя и самоопределившихся национальностей исходит такая обыденщина и пустота, что вряд ли они сами могут назвать это высшим выражением своей сущности. Разве можно сравнивать Италию эпохи Возрождения, даже Италию XVIII века, с Италией после ее национального освобождения? Кавур и Гарибальди точно убили итальянский гений. Эта духовная бесплодность народов после их «пробуждения» — одна из самых загадочных черт истории нового времени. На нее сто лет тому назад указывал Герцен: «Всё мельчает и вянет на истощенной почве — нету талантов, нету творчества, нету силы мысли, нету силы воли; мир этот пережил эпоху своей славы, время Шиллера и Гёте прошло так же, как времена Рафаэля и Бонаротти, как время Вольтера и Руссо, как время Мирабо и Дантона... Образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным, все жмутся, все боятся, все живут, как лавочники, нравы мелкой буржуазии сделались общими». Объяснение Герцен находил в «знамении» того времени — в явлении социализма, в выступлении пролетариата, в классовых битвах[1]. Но нам, живущим в эпоху, когда все связи и все страсти обнаружили свою призрачность перед страстями национальными, когда осью событий 19-го века представляются не июльские баррикады, не июньские расстрелы, не декабрь-

[1] Полстолетия спустя, возражая авторам сборника «Вехи», Ленин писал: «Среди 'вопросов европейской жизни' социализм стоит на первом месте, а национальная борьба на девятом, при чем она тем слабее и безвреднее, чем последовательнее проведен демократизм. Смешно даже сопоставлять борьбу пролетариата за социализм, явление мировое, с борьбой одной из угнетенных наций восточной Европы против угнетающей ее реакционной буржуазии».

ские перевроты, а отделение Бельгии, польское, греческое, венгерское восстания, борьба за Гомруль в Ирландии, объединение Италии, объединение Германии, джингоизм в Англии — предстает другое объяснение.

Осень европейской культуры пришла вместе с «весной народов». Сколько неверного накопилось вокруг этой «весны», вокруг «самосознания»! Самое слово «самосознание» выдает рациональную, головную природу современного национализма, далекого от природы истинной национальности, которая — не столько разум, сколько чувство, не самосознание, а самоощущение, самочувствование. Национальное **чувство** слагалось веками, росло как дерево, без всякого шума. Национальное **сознание,** напротив, всегда сопровождалось манифестациями, декларациями, митингами, восторженной экзальтацией, пропагандой. Оно как две капли воды похоже на деятельность политической партии. Оно и в самом деле — партийно, программно, демагогично. Никогда нельзя забывать, что национальное движение — это прежде всего идеология. Внедрение ее в умы и есть то, что принято называть «самосознанием». Оно никогда не бывает внезапным и всеобщим прозрением. Часто это длительный процесс, сопровождающийся большим умственным движением и политической борьбой. Национализм, как религия, начинается с пророка и горсти его учеников. Проповедями и анафемами, мирными увещаниями и силою власть имущих, мученичеством и террором распространяется он на широкие слои народа. Превосходно выразил это Муссолини, считавший, что национальная идея «осуществляется в народе через сознание и волю немногих, даже одного, и как идеал стремится осуществиться в сознании и воле всех». Нацию он понимает, как «множество объединенное одной идеей». Национализм нового времени — не от народной толщи, а от политической элиты. «Национальное самосознание» никогда не возникает само по себе, из «духа народа», его этнографии, языка или расы. Оно **создается** и, раз появившись, само создает и «дух народа», и язык, и этнографию.

***

Боюсь подводить это под какую-либо из модных теорий, вроде учения П. Сорокина о чередовании в истории периодов с преобладанием систем чувственного, интуитивного и рационального мышления. Боюсь усматривать в этом и

смену времен веры временами безверия. Быть может, когда-нибудь истинная причина загадочного перелома откроется. Сейчас ясно только, что это именно перелом в жизни нации, а вовсе не рождение самой нации, как иногда полагают. Имею в виду распространенную манеру проводить разницу между «народом» и «нацией». Был, дескать, период, когда народ не являлся национальностью; сделался он ею под влиянием социально-экономических причин (капиталистические отношения), и лишь с тех пор как осознал свою общность — как общность немцев или французов, — можно говорить о нем как о нации. Суждение это — не вклад в уяснение проблемы, скорее ее затемнение. Да и трудно его обосновать исторически[2]. Кто осмелится сказать, что эпоха Возрождения не есть величайшее выражение итальянского национального духа? Прочие европейские нации, сколько-нибудь ярко выразившие свою индивидуальность, сделали это тоже в более или менее отдаленные времена, до капитализма, до весны народов, до самосознаний и самоопределений. Народы с пеленок знали, что они немцы, французы, русские. Наша «Повесть временных лет» обнаруживает изумительное знание не только этнографической карты Восточной Европы X-го века, но и национальной природы ее племен. Другое дело, что в те времена не существовало идеи государственного объединения по национальному признаку. Но любовь к родине, чувство родства с собственным народом и с землей были пожалуй выше, чем в наши дни[3]. Времена до и после

[2] Не говорю уже о еврействе, ясно обозначившемся как нация в древности, задолго до появления капитализма, но правильно и то, что говорят о Ломбардской Лиге середины XII века, как о национальном итальянском явлении. То же о возникшем к этому времени итальянском языке, на котором проповедовал Франциск Ассизский, а впоследствии писали Данте и Петрарка, о начавшейся с Чимабуэ эре невиданного расцвета живописи и всех пространственных искусств.

[3] Эту мысль высказывает и М. В. Вишняк, когда, обобщая данные, приводимые Фюстель де Куланжем, утверждает: «Патриотизм служил движущей силой личных и исторических событий задолго до того, как его стали рационально осознавать, определять и проповедовать». См. «Нов. Журн.» кн. 13, стр. 170 («Соблазн патриотизма») Там же очень удачно приведена цитата из Карамзина, полагавшего, что патриотизм «требует рассуждения — и потому не все люди имеют его».

«самосознания» можно было бы определить как истинно-национальное и псевдо-национальное. В первом случае нация не являлась знаменем, ее редко упоминали, зато глубже чувствовали и выражали. Ее прославляли великими делами и творениями. После же самосознания самым великим делом считалось — прославлять нацию.

Тот же Каутский заметил, что если Ранке не мог определить словами, «что такое немецкое», то Зомбарт уже отлично мог это сделать. В книге, вышедшей в годы первой мировой войны он определял «немецкое» двумя безошибочными признаками: «единодушным отклонением всего того, что хотя бы отдаленно напоминает английское, или вообще западно - европейское мышление и чувствование», и — милитаризмом. «Милитаризм — это обнаружение немецкого геройства... Милитаризм — это геройский дух, возведенный в степень воинского духа, он — Потсдам и Веймар в их высшем объединении. Он — «Фауст» и «Заратустра», и партитура Бетховена в окопах».

Из этих основных свойств выводилось целое мировоззрение: «Самое лучезарное своеобразие нашего мышления состоит в том, что мы уже на сей грешной земле воссоединяемся с божеством. Так мы, немцы, в наше время и должны пройти по всему свету с гордо поднятой головой и с неколебимым чувством, что мы — божий народ. Подобно тому, как немецкая птица — орел летает выше всякой твари земной, так и немец должен чувствовать себя превыше всяких народов, окружающих его и взирать на них с безграничной высоты».

**
*

То, что принято называть «узким национализмом», осуждается обычно за неприязнь к другим народам. Найдись смирный, благовоспитанный народ, научившийся никакой такой неприязни не выражать, его бы и не осуждали, даже если бы он замкнулся в самолюбовании, в упоении самим собой. Его объявили бы образцом добродетели, идеальным случаем разрешения национальной проблемы. И всё же самолюбование и самоупоение, хотя и не приносящие никому другому вреда — есть зло. «Только для абсолютного существа, для Бога самосознание есть самодовольство и неизменность есть жизнь. Для всякого же ограниченного бытия, следовательно и для народа, самосознание есть необходимо самоосуждение и жизнь есть изменение. Поэтому истинная религия начи-

нается с проповеди покаяния и внутренней перемены» (Вл. Соловьев). Единственным путем развития всех положительных сил русской нации, проявлением подлинной самобытности и залогом самостоятельного деятельного участия во всемирном ходе истории Соловьев считает прежде всего постоянное критическое отношение к своей общественной действительности. Петровские реформы представляются ему великим событием уже потому только, что основаны «на нравственно-религиозном акте национального самоосуждения».

Нетрудно заметить разницу между таким самосознанием и тем, что принято разуметь под самосознанием национальным. Это последнее утверждается на чем угодно, только не на признании своего несовершенства. Зло национализма не в одной его агрессивности и вражде к другим народам, но прежде всего — в духовном убийстве своего собственного народа, живую национальную душу которого он подменяет застывшей, безжизненной маской. Что бы ни говорил Отто Бауэр об «эволюционно-национальной политике», чуждой якобы стремлению сохранить в неприкосновенности некое установившееся своеобразие нации, единственный смысл всякой национальной политики и всякого национального самосознания заключается в том, чтобы закрепить какие-то черты в виде постоянных признаков и определить ими лицо нации. Для одних это милитаризм, для других религиозная идея, для третьих — просто расовое превосходство. Милитаризм — несомненно немецкая страсть, но вряд ли она доминирует над всеми другими немецкими страстями. Всем так хочется канонизировать Обломова как русский тип. Но куда же деть его современников Базаровых, Верховенских, Шигалевых? У Милюкова в «Воспоминаниях» есть любопытный эпизод: в университетские годы он путешествовал по Италии и однажды возле Рима поднялся на Monte Cavo, где стоял монастырь. Там его ласково встретил и приютил на ночь монах, с которым завязалась приятная беседа. Но вот монах спросил, откуда он, и услышав, что русский — отпрянул. Нигилист?!

Почему в самом деле нигилист имеет меньше прав представлять Россию, чем Обломов? Почему при Александре III решили, что широкие офицерские штаны лучше выражают русский дух, чем изящная форма предыдущего царствования? Кто сочинил эти «национальные устои»? И какое право имеет здесь в эмиграции какой-нибудь «Владимирский Вестник» именоваться «патриотическим национальным изданием» и

представлять наше национальное лицо? Может быть у нас и в самом деле рожа крива, но посмотревшись в такое российское зеркало, хочется стать лучше эфиопом.

Всякая отдельно выхваченная черта не представляет национального облика, она всегда будет шаржем. А ведь есть черты просто придуманные. Портреты нации — ложь.

***

В тот день, когда появляется перечень национальных примет и особенностей, нации выдается своего рода паспорт с приложением фотографической карточки. Отныне каждый полицейский может посадить ее в тюрьму, как только обнаружит несходство ее облика с паспортными данными. Некоторым крупным народностям пришлось уже сидеть по этому случаю в тюрьме; другим это предстоит в будущем. Беру смелость утверждать, что «национальное самосознание» является эмбрионом тоталитаризма.

Национальное чувство лишено было принудительного характера, оно естественно вытекало из всего потока народной жизни; национальная же идея означает тиранию и всеобщее подчинение. Она поднимает вопрос о национальном воспитании. «Национальной политикой, — по Отто Бауэру, — можно назвать планомерное сотрудничество с целью вовлечь весь народ в национальную культурную общность, определить его при помощи национальной культуры и тем превратить его в общность национального характера». Какое обилие глаголов императивного оттенка — «вовлечь», «определить», «превратить», выдающих страдательную роль масс и активное поведение инициаторов «планомерного сотрудничества»! Картина «духовной перековки» народа — совершенно ясная. Муссолини и термин этот знает: «Фашизм *перековал* характер итальянцев, сорвав с наших душ все нечистые наросты, закалил его для всяких жертв и придал итальянскому лицу настоящую силу и красоту». Для него, как для Отто Бауэра, «без государства нет нации». Этим откровенно выдается связь национальной идеи с властью, необходимой для ее ограждения и распространения на широкие слои народа.

Сейчас предпринимаются попытки определения природы тоталитарных государств. Ее видят в простом властвовании, в беспрекословном повиновении народа, в произволе государственного аппарата и в подчинении всех сторон жизни его контролю. Под эти признаки, однако, подойдет и прусское

полицейское государство, и государства рыцарских религиозных орденов Прибалтики, и тирания Цезаря Борджиа и особенно восточные деспотии. Ни с одним из них нельзя сравнить современные тоталитарные режимы. Они действительно особенные. Их особенность надлежит усматривать не во всепроникающей, всеобъемлющей роли государства, не во властвовании ради власти, что в сущности не ново, а в наличии идеи руководящей государством. Тоталитарный режим — это прежде всего идеократия. Так он и определен у того же Муссолини: «Фашизм, будучи системой правительства, также, и прежде всего, есть система мысли». В другом месте он называет его «действием, которому присуща доктрина и доктриной, которая, возникнув на основе данной системы исторических сил, включается в последнюю и затем действует в качестве внутренней силы».

Подобно государствам Гитлера и Муссолини, все фашистообразные режимы на Западе — Пилсудского в Польше, Хорти в Венгрии, Ульманиса в Латвии — порождения национальной идеи. Можно сказать, что логика всякого национального государства, есть логика тоталитарная. Где «национальная идея» — там ложь, где ложь — там принудительное ее распространение (ибо лжи добровольно не принимают), а где принуждение — там и соответствующий аппарат власти.

***

У одного нашего видного публициста есть интересное высказывание: «Национализм, возведенный в ранг главенствующего и определяющего начала, предоставленный самому себе, действует как огонь прерий: он выжигает кругом всю растительность, искажает и уродует все взаимоотношения между народами». По его словам, в наши дни «национальные эмоции и интересы более чем когда-либо владеют душами народов и увлекают их на путь, который ведет в историческую пропасть»[4]. Это очень верно. Но исторической пропастью грозит нам не один национализм. Вместе с ним выползло на сцену другое чудовище из того же рода, вида и семейства, только иной окраски. Они враждебны друг другу, но выражают две разные стороны одной и той же сущности. В старой Европе чувство национальное и чувство космополитическое не были

[4] Р. А. Абрамович. «Национальный вопрос и социал-демократия», Соц. Вестн. № 7 1948 г.

разделены между собой, пребывали в гармоническом единстве. В Европе современной, национальное и интернациональное отделились друг от друга и сделались врагами; каждое живет независимой жизнью, и у каждого растет горб его уродства — идет саморазвитие заложенной в нем ограниченной идеи. Всё сказанное о национализме, как убийце народной души и подлинной национальности, относится в той же мере к интернационализму. Он такого же рассудочного происхождения и такой же носитель бацилл тоталитаризма. Хотя, в противоположность современному национализму, он облекается в ризы международного единства, но подлинному единению наносит едва ли не бóльший удар, чем национализм. Он выступает открытым врагом той духовной основы, что только и способна питать настоящее братство народов.

Идея всечеловеческого единства, в сущности, очень древняя. Она существовала в библейские, ассиро-вавилонские времена и в эпоху римской империи, представлявшей как бы всемирное государство; его написало на своей хоругви христианство, а начиная с эпохи Возрождения рос и креп самый прочный из всех интернационалов — интернационал наук и искусств. Это были опять те времена, когда международность не прокламировали, но служили ей. И служили не чем иным как высшим напряжением творческих сил нации. Международность выростала из национальной жизни. Это очень важно заметить. Здоровое национальное чувство и творчество порождали также чувство космополитическое.

Шекспир, Бэкон, Ньютон — англичане, но они близки и всей Европе. Через них английское национальное становится всемирным. Общечеловеческое значение Англии тем больше, чем ярче выражает она свое самобытное. То же Франция, Италия, Германия, всякая другая страна. Даже полководческие подвиги, неотделимые по своей природе от вражды народов, не столько разъединяют, сколько сплачивают людей в преклонении перед военным гением. Свидетельство: культ Наполеона, всеобщее восхищение Карлом XII. Наиболее ярки и самобытны те национальности, что дали больше других ценностей мирового значения. А мировая культура и общечеловеческое единство растут тем быстрее, чем напряженнее творчество отдельных национальностей. Никакого другого органического пути для возникновения и укрепления национальных связей и любви между народами не существует. Знаменитые капиталистические отношения с их обменом и универсальной техникой, на которые столько надежд возло-

жили социалисты, ни мало не сблизили национальности, скорее сделали их внутренне более отчужденными. Космополитизм — духовная, а не экономическая проблема, он рождается из национальной, а не из классовой стихии. Для него недостаточно «солидарности», нужна любовь. Только возлюбив чужую культуру и чужой народ, как свои собственные, можно стать истинным космополитом. Мне кажется, слова «космополитизм» и «интернационализм» прекрасно выражают разницу двух явлений международности. Первое означает приятие всего мира как родины, как своего «полиса». Всеобщее, мировое не противопоставляется здесь частному, национальному: родина расширяется до мира, мир принимается в отечество. Совсем другое звучит в «интернационале». Тут частица «inter» исключает какую бы то ни было близость с национальным началом. Всемирность понимается как нечто стерилизованное, очищенное от патриотической скверны, возникшее где-то «между» нациями. Ее идейное рациональное происхождение еще яснее, чем у «национального сознания». В ней нетерпеливое желание создать мировое единство во что бы то ни стало, вопреки медленности его естественного созревания. Интернационализм очень похож на искусственный язык эсперанто — безличный, бездушный, способный обслуживать техническую сторону связи между иностранцами, но никак не сближающий их духовно. Существо интернационализма — в его органической враждебности всему национальному. Ленин потому только возражал против национально-культурной автономии, что боялся заражения пролетариата националистической идеологией. «С точки зрения социал-демократа, недопустимо ни прямо, ни косвенно бросать лозунг *национальной* (подчеркнуто Лениным) культуры». Всякая любовь к родине, самая невинная и чистая, берется под подозрение и отождествляется с шовинизмом. Если у пролетария нет отечества, то его подавно не должно быть у сознательного интернационалиста. Атрофия всяких теплых чувств к отечеству — предмет его гордости. Он «выше» подобных привязанностей.

Но спросят: а что же значит требование полного самоопределения наций, вплоть до самостоятельного государственного существования, исходящее от интернационалистов? Что значат их декларации и «платформы», провозглашающие принципы свободного, ничем не стесняемого национального развития?

Это их «национальная политика». Существует убеждение, что чем меньше внешних стеснений для данной нации, тем скорее победит в ней интернациональное начало в лице пролетариата. Это не симпатия к национальному, а путь его изживания. Торжество же интернационала мыслится не иначе как в результате исчезновения национального чувства. Полагают, что уже сейчас можно дышать иным воздухом, чем отечественный. Ленин и Каутский утверждали, будто благодаря обмену и капитализму, духовная жизнь человечества уже сейчас достаточно интернационализирована, а при социализме станет целиком международной. Но, в противоположность космополитизму, рост этой международности мыслится не путем национального творчества, а благодаря его приглушению и полному исчезновению. Лучше всего это выражено опять-таки у Ленина. Еще в 1913 году он писал: «Интернациональная культура уже теперь создаваемая систематически пролетариатом всех стран, воспринимает в себя не «национальную культуру» в целом, а берет из каждой национальной культуры *исключительно* ее последовательно демократические и социалистические элементы». Убийственный для народного творчества характер интернационализма выражен здесь с предельной откровенностью. Из многовекового, исторически сложившегося национально-культурного организма выжимаются лишь специальные соки — «социалистические элементы». Остальное бросается собакам. «Интернациональная культура» возносится не на цветах, а на трупах национальных культур. Ленин с полным основанием мог назвать ее особой, «иной». В подготовительных его набросках к «Тезисам по национальному вопросу» есть запись: «Соединение, сближение, перемешивание наций и выражение принципов *иной* (разрядка Ленина) интернациональной культуры».

***

Что интернационализм — война национальному чувству, лучше всего показали большевики. У них сразу после их прихода к власти возникла важная отрасль деятельности, носящая название «интернационального воспитания». Всякий, кто жил в Советском Союзе, знает, что это было планомерное, систематическое искоренение всякой привязанности к родине. Это она подверглась осмеянию и поношению во имя более «высокого» и «единственно достойного нашей эры» чувства.

Только этим объясняется варварское уничтожение национальных святынь и памятников, оплевывание всего прошлого народа, его истории. Когда вздумали взрывать стены и башни Симонова монастыря под Москвой, и академик Щусев на коленях умолял пощадить этот исключительный памятник итальяно-русского зодчества XV века, известный журналист Мих. Кольцов нагло насмехался над ним со страниц «Правды». Симонов монастырь, заявлял он, будет взорван не взирая на заступничество тысячи академиков, как символ старой Руси, как напоминание о «проклятом прошлом».

Можно не сомневаться, что приди вместо большевиков к власти другие циммервальдисты, они вели бы ту же политику интернационального воспитания. Она была бы, вероятно, более мягкой, но в существе своем заключала бы всё ту же борьбу с национальным чувством.

В предвидении возражения в духе распространенных сейчас суждений о природе большевизма, хочу подчеркнуть, что ни от интернациональных задач, ни от интернационального воспитания большевики до сих пор не отказались, несмотря на вынужденную во время последней войны уступку патриотическому чувству народа. Они всё сделали, чтобы облечь этот патриотизм в черносотенные формы и сделать ненавистным всем сколько-нибудь культурным русским людям, но для подозрения их самих в истинном или черносотенном патриотизме нет никаких оснований, так же как нет оснований думать, будто они перестали быть врагами религии, позволив открыть церкви и разрешив отправление богослужений. Кто захочет вторить модной сейчас пропаганде, внушающей, будто большевизм из международного превратился в национально-русское явление, тот обязан представить более солидные тому доказательства, чем те, что обычно приводятся. Кроме вульгарной болтовни в духе брошюры Карла Лойтнера «Russischer Volksimperialismus», выпущенной еще в годы первой мировой войны, или высказываний Альфреда Розенберга — мне ничего не приходилось встречать. Продолжаю поэтому исходить из положения о коммунистах, как о фанатиках и проводниках интернациональной идеи. И никто иной как Ленин, основатель советского государства, может считаться воплощением такого фанатизма. «Наплевать на Россию», принести ее с легким сердцем в жертву безумному эксперименту, воспользоваться помощью воевавшего с Россией государства — ничего ему не стоило. Он еще в детстве,

играя в солдатики, любил представлять это, — как битву русских с англичанами, и всегда стоял на стороне «англичан» и с удовольствием бил «русских»[5]. Подобный интернационализм — столь же одиозное, ублюдочное явление, что и фашистский национализм. Прав Иван Аксаков: «Лжет, нагло лжет, или совсем бездушен тот, кто предъявляет притязание перескочить прямо во «всемирное братство» через голову своих ближайших братьев — семьи или народа, или же служить всему человечеству, не исполнив долга службы во всем его объеме своим ближайшим ближним». Такие упреки немыслимы были бы в отношении здорового космополитизма, не отрекшегося от своего отечественного и полагающего служение родине, народу, в качестве основания для всемирного служения. Только такая всемирность не порывает с таинственным родником культурного творчества.

Советское государство с написанным на его фронтоне именем Ленина всегда было и остается идеократией в еще большей степени, чем государства Гитлера и Муссолини. Там хоть сохранялись какие-то родимые пятна старинного народного патриотизма, здесь малейшее пятнышко выжигалось каленым железом. Советской страной управляет идея мирового коммунизма. Отрицать это можно только вследствие непонимания, либо в целях дезинформации.

***

Мы, русские, немало грешим хулой на разум, на всякого рода сознательное. Нам всюду мерещатся таинственные мистические основы. Не повинен ли в этом грехе и высказанный только что взгляд на национализм-интернационализм? Не поносится ли в их лице просто рациональное начало? Такое подозрение было бы законно, если бы доказали, что современный «сознательный» национализм является истинным выражением сущности той или иной нации, если бы доказали, что интернационализм в своей ненависти к нации опирается на народную стихию. Но ведь история всех трех интернационалов показала искусственный характер движения. Под ним не только не оказалось никакого народного начала, но и составлявшие его активные интернационалисты оказались на поверку, в большинстве своем, вовсе не интернационалистами. Две мировые войны до такой степени развенчали этот миф,

[5] См. Н. Валентинов, «Ленин в Симбирске». «Н. Ж.», кн. 37.

что можно удивляться той сострадательно-снисходительной мине, с которой нынешние его эпигоны смотрят на заблудших овец патриотизма. Интернационализм в большей степени чем его антипод представляет отвлеченную и ограниченную идею. В этом смысле не случайно, что и первое насильническое тоталитарное государство было основано под его знаменем. Перед таким ли «разумом» преклонимся? Или назовем разумным тот комплекс, что привел к образованию нацистских режимов? Европейский разум мог бы проявиться в воздержании от того «рассуждения», с которым Карамзин связывает начало всякого патриотизма. Независимо от того, сколь полноценно было рассуждение само по себе, оно губительно для истинного национального чувства в такой же мере, в какой губительно для любви, например. «Большая часть людей, — по уверению Лескова, — любит не зная за что: и это — слава Богу, потому что если начать разбираться, то поистине некого было бы любить». Чем глубже и основательнее разбирательство причин любви к родине, тем родина дальше уходит от нас, и тем настоятельнее потребность замены ее кумиром. Современный партиотизм, как правило — идолопоклонство. «Сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: 'Вот Бог твой'!». Тот же Карамзин, считавший, что «патриотизм требует рассуждения», дал образец его вроде: «Зная, что мы храбрее многих, не знаем еще, кто нас храбрее». Он протестовал против нашего излишнего смирения «в мыслях о народном своем достоинстве». Не от него ли пошло дальнейшее бахвальство? А ведь это детский лепет в сравнении с тем, что было потом, и в сравнении с тем, что было на Западе перед второй мировой войной. Не разум, а безумие губит наш мир.

Н. Ульянов

ВТОРЖЕНИЕ В ЕГИПЕТ И ООН

Еще рано подводить итоги выступлению Израиля, Франции и Англии в Египте. Тем не менее некоторые предварительные выводы уже наметились.

Не так уж важно, как *назвать* происшедшее, агрессией, как ее называют Египет и СССР, или актом самообороны, как утверждает Израиль, считая, что нападение лучший вид защиты. Было ли это вторжением, как полагает нью-иоркский «Таймс» и Ю. Марголин, или только «вооруженный конфликт» и простая «полицейская операция», на манер корейской, как заявлял Иден. Или то была «превентивная война» в целях «превентивной самообороны», как утверждает Р. Абрамович.

В этом споре как будто о словах вскрывается, однако, не одна только юридическая квалификация. В нем сказывается и внутреннее, морально-политическое отношение к факту выступления. Оно не исчерпывает существа вопроса, но все же проникает в его сердцевину.

Зададим обычный вопрос: cui prodest? Кому на пользу было это выступление? Кто и что от него выиграл или — предполагал, что выиграет?

Из трех участников нападения только один Израиль вправе утверждать, что он гораздо больше выиграл, чем потерял. Его жертвы — 150 убитых, 700 раненых, 20 захваченных в плен — были незначительны сравнительно с разгромом 40-тысячной армии противника, пленением пяти тысяч, уничтожением до 100 русских Т-34, захватом огромной военной добычи: 250 пушек, 30 Т-34 танков, 200 анти-танковых орудий, 1½ тысячи грузовиков, семи тысяч тонн амуниции, запасов горючего и т. п. Захват Газы и островов Тирана и Санафира в Акабском заливе поставил и вопрос о демилитаризации или интернационализации этих районов, то-есть об устранении постоянной угрозы нападения со стороны египетских ударников-самоубийц, «федеинов», и о свободном выходе в Красное море и Индийский океан.

Блестяще задуманная и молниеносно, в шесть дней, вы-

полненная, — «классически», по выражению не слишком расположенного к Израилю журнала «Лайф», — эта военная операция разрушила миф о египетской мощи. Она вскрыла в то же время советский гнойник — обнаружила наличность громадной военной базы, которую Москва незаметно от внешнего мира сумела создать в Синае.

Рядом с этими плюсами — минусы.

Если не потеря морально-политического лица, то его ущербление. В июле текущего года премьер Бен-Гурион заявил в парламенте, что превентивная война бессмыслица. И не раз опровергал Израиль арабскую пропаганду о том, что он стремится к территориальной экспансии — от Нила до Евфрата. Теперь эта пропаганда покажется более убедительной. Слово Израиля будет весить меньше в общественном мнении. И отношения с Вашингтоном, от которых столь многое зависит во внешне-политическом и финансово-экономическом существовании юной государственности, это самочинное выступление сильно ухудшило. Аналогичное произошло и с положением Израиля в ООН.

Правда, с утратой доверия и морального влияния у ряда стран, Израиль неожиданно приобрел союзников, и каких — Францию и Англию! Не было заговора, но был, по всей видимости, сговор с Францией и чрез ее посредство с Англией; и то, и другое — за спиной Америки. Но в длительность и прочность этого неожиданного «союза» вряд ли верит и та, и другая сторона, — меньше всего Англия. Речи Идена и Ллойда в английской палате общин и в ООН не оставляют сомнений, что цели «союзников» были очень далеки от целей Израиля, в известном смысле, шли даже в противоположном направлении.

По времени выступление Англии и Франции совпало с выступлением Израиля. Но мотивировано оно было своеобразно. Иден требовал ухода Израиля из Синая и оправдывал англо-французскую бомбардировку и высадку в Порт Саиде необходимостью установить барьер между воюющими — Израилем и Египтом — для предотвращения мировой войны. Англия и Франция оказывались не партнерами в общей борьбе против военного диктатора, а как бы посредниками или арбитрами в чужой борьбе. Эта мотивировка была не только неискренней, она была искусственной до нелепости. И позднее промелькнуло сообщение (нью-иоркский «Таймс» от 25.XI), что Англия вновь готова замирить арабский мир за счет сво-

его случайного и кратковременного «союзника» — путем возобновления старого предложения об уступке части израильской территории. 3-го же декабря, согласившись увести англо-французские войска из Порт-Саида, Ллойд поспешил тут же присоединиться к требованию, чтобы Израиль безотлагательно очистил Газу — без возвращения ее Египту.

Вторжение Франции в Египет преследовало защиту французских интересов не только в Суэцком канале, но и на всем северном побережье Африки. Это было выступлением и против поставщика оружия повстанцам Алжира, Туниса и Марокко, против вдохновителя антифранцузской политики всего арабского мира. Вторжение Израиля послужило основанием или предлогом — на наш взгляд, совершенно неубедительным, — к вторжению Англии с Францией. Но это последнее оказало, конечно, громадную помощь Израилю тем, что внимание и силы противника сосредоточились на Суэцком канале и отвлеклись от Синая и Газы.

Израиль не преувеличивает размеров достигнутого; «мы не говорим об окончательной победе. Но мы устранили египетскую угрозу». Может быть, осторожнее и во всяком случае точнее было бы сказать: устранили *непосредственную* угрозу. Ибо остается, увы, вопрос: надолго ли? И что будет дальше?

Трудно сказать что выиграли Англия и Франция от своего выступления. Зато легко указать, что они потеряли. И тут не приходится гадать. Бывший военный министр в кабинете Эттли, Джон Стрейчи, формулировал английские потери и убытки в одной фразе, — правда, пространной и несколько преувеличенно-заостренной. Он сказал в палате общин 1-го декабря: «В несколько недель Англия очутилась перед тем, что мы вступили в Египет и ушли из него, заблокировали канал, застопорили свое горючее, сделали своим врагом каждого араба на свете, открыли Ближний Восток для русского проникновения, раскололи (британское) содружество (Commonwealth), рассорились с американцами, разорили себя самих, и всё это ни за что». — К этому прибавилась неустойчивость фунта стерлингов, вызвавшая обращение за срочной помощью к тем же США и Канаде.

С некоторыми оговорками — о том, что вся Франция, кроме коммунистов, была единодушна в сочувствии анти-нассеровской экспедиции; что социалисты здесь были ее инициаторами и вдохновителями; что французское «содружество» не пострадало, потому что его фактически нет; и что самора-

зорение ощущается во Франции глубже и острее чем в Англии, — сказанное Стрейчи соответствует и положению создавшемуся во Франции.

Член английского кабинета Хискот Амори сделал в Палате официальное заявление: вторжение было успешным, так как из поставленных Англией четырех целей достигло трех. Этими целями были: приостановить военные действия; предупредить расширение конфликта; применить свои полицейские меры, пока этим не займется ООН; и обеспечить прохождение судов по Суэцкому каналу. Только последняя цель не была достигнута, утверждают тори. Но, если в самом деле Англия ставила себе указанные выше цели, трудно даже понять, не то что согласиться, почему надо было, чтобы «остановить» военные действия (между Израилем и Египтом), принять в них участие и, — чтобы «предупредить» расширение конфликта, вступить в него, бомбардировать Суэцкий канал и высадиться в Порт-Саиде?

***

У Израиля имеются доводы в оправдание своего нападения — кратковременного, с ограниченными целями, но тем не менее вооруженного нападения. Имеются и у Англии с Францией серьезные обстоятельства, смягчающие их вину: — самоуправство в нарушение Устава ООН и доверия США и других стран.

В предшествующую Лиге Наций и ООН эпоху внешняя политика государств определялась их «жизненными интересами». Ссылка на них казалась не менее убедительной, чем ссылка на «raison d'Etat». С возникновением Лиги Наций и, особенно, ООН эти ссылки устарели, как многое другое, унаследованное от эпохи абсолютизма и полу-абсолютизма. «Жизненные интересы» отдельного государства, как регулятив для устроения международного правопорядка, отошли в прошлое вместе с расчетами отстоять в атомную эпоху свои национальные интересы собственными силами и средствами. На смену пришла идея *общих* жизненных интересов всего международного общежития. Прежние основы международного правопорядка были замещены новыми — идеей коллективной безопасности и всеобщей защиты каждого государства против всякого нарушения любых его прав и интересов. Ст. 51 Устава ООН признает «неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону», но *условно:* «если произойдет

вооруженное нападение» на того, кто прибегнет к самообороне; если меры, принятые в порядке самообороны, будут немедленно сообщены Совету Безопасности»; и — лишь «до тех пор пока Совет Безопасности не примет (своих) мер».

Что было задумано, не случилось — по многим причинам, о которых приходилось не раз говорить, в частности и в «Нов. Журнале». Изменение статуса Суэцкого канала односторонним усмотрением Нассера нарушало «жизненные интересы» не только держателей акций канала, но и «пользователей» им. Оно было и явным нарушением международного договора и вызовом ООН. Но ООН на это никак не откликнулась, точно ее не существовало или ее это не касалось. Откликнулись прежде всего США, но так, что вызвали справедливые нарекания со стороны непосредственно пострадавших от Нассера.

С согласия президента руководитель внешней политики США принял дважды участие в международных совещаниях, созванных в Лондоне в связи с захватом канала, — на конференции 18 и конференции 15 членов ООН. Государственный секретарь Доллес не только принял активнейшее участие в обсуждении вопроса, — он настоял и на принятии своих, американских, предложений. США были слишком мощным, даже решающим, фактором, чтобы с ним можно было не считаться и ему не подчиниться. И совещания дважды согласились с Доллесом, приняли, стиснув зубы, *его* предложения. И оба раза предложения не получили осуществления главным образом по вине США, которые отказывались быть стороной в споре и уклонялись от активного участия в проведении ими же подсказанных решений. Противоречивым был и образ действий США в заседаниях Генеральной Ассамблеи, чрезвычайных и регулярных. США внесли два предложения, как решить вопросы о Суэце и Палестине, и от обоих они отступились, встретив сопротивление «Бандунга» и Москвы.

Понятно было стремление Америки выиграть время, охладить страсти, выдвинуть предложения, которые отдалили бы вооруженные действия хотя бы на короткий срок. Похвальна была и преданность Уставу ООН. Но и то, и другое не искупало противоречивости во внешней политике США, толкнувшей Англию и Францию к тому, что защиту своих «жизненных интересов» и мира на Ближнем Востоке они решили взять в собственные руки. Понятна и горечь, которую вызывала двойственная, если не двусмысленная американская такти-

ка, у непосредственно пострадавших от действий Нассера ближайших политических союзников и друзей США. Отсюда и решимость отчаяния — вооруженное выступление на собственный страх и риск — без предуведомления США и без «согласования» с ООН*.

Как бы то ни было, если Америка разуверилась в лояльности Англии, Англия имела свои основания не полагаться на обещания Государственного секретаря США.

Устав ООН, его буква и дух, исключал возможность присвоения одним из ее сочленов роли верховного судьи или супер-арбитра в международных спорах и конфликтах. Между тем США стали не только в ООН играть фактически именно такую роль. Они стали и налагать свои санкции на ослушников — дипломатические и экономические. Президент США принял премьера Туниса и министра иностранных дел Бельгии и отказал в приеме министрам иностранных дел Франции, Англии и Израиля и даже премьеру Англии. Как отметил лейборист Доннелли в палате общин, «со времени потери американских колоний, Англия не испытывала такого унижения». «Супер-арбитр» карает ослушников не только отлучением от общения, он карает и задержкой в предоставлении им горючего, пока они не смирятся. Повторилась сцена между Ноздревым и Чичиковым:

— Порфирий, слушай, поди, скажи конюху, чтобы не давал овса лошадям его, пусть их едят одно сено!..

Но и «сена» сейчас недостаточно в обнищавших Англии, Франции, Израиле. Вся экономическая и культурная их жизнь сейчас ощущает, что значит барский гнев и барская любовь.

Пример президента США оказался заразителен: и генеральный секретарь ООН отказался разъяснить министрам иностранных дел провинившихся государств, *где, когда* и *как* предполагает он разместить воинские части ООН вдоль Суэ-

---

* Особенное возмущение в американском общественном мнении вызвал факт «коварства» Англии и Франции, утаивших от Америки свои намерения, принятые в порядке «конспирации» и даже «заговора».

Представитель оппозиции в палате общин сообщил, что США раскрыли секретный код, по которому сносились Израиль, Франция и Англия. Если это верно, конспирация и нарушение доверия остаются, но — с зачетом недоверия к той стороне, которая раскрыла чужой код.

ца и Газы. И по сей день остается секретом, на чем Хамершильд согласился с Нассером или — Нассер с Хамершильдом. Между тем генеральный секретарь занимает свою должность по избранию членов Организации ОН, то-есть подотчетен и тем членам, которым он счел себя вправе отказать в приёме и разъяснении.

**
*

По своему откликнулся и СССР на действия Нассера и выступление Израиля, Англии, Франции. Он сразу, полностью и безоговорочно стал на сторону пострадавшего от «империалистов» диктатора. У СССР было к тому много оснований. Борьба с колониальными державами была постоянным орудием — и козырем — Москвы. А привлечение симпатий арабского и мусульманского мира стало доминирующим за последние полтора года в политике КПСС. Раскол в империалистическом лагере, предсказанный еще Лениным и Сталиным, получал теперь осуществление в форме конфликта Англии и Франции с США и другими «капиталистическими» государствами. Всё это не могло не радовать сердца коллективного руководства в Москве. Открывались широкие перспективы для ловли рыбы в мутных водах Суэцкого канала и для более отдаленной политики дальнего прицела. Можно было взять реванш за нападки, вызванные кровавой баней, устроенной коммунистами в Венгрии. Можно было отвлечь общественное внимание от недовольства и протестов против насилия Москвы, которые стали пробиваться наружу в Польше, Румынии, Болгарии.

Что с Египтом СССР связывал серьезные планы, это следует из размеров вооружения и снабжения, оказавшихся в Синае. Ну, зачем понадобился Египту миллион одеял? И готовность послать китайских, а потом и своих, советских «добровольцев» подчеркивает значение, которое Советский Союз придавал своему внедрению в Египет еще до того, как «мировой пожар» «на горе всем буржуям» помогли ему «раздуть» сами же «буржуи».

Характерна и реакция Советского Союза на вторжение в Египет. Она была не одинаковой по отношению к «марионеточному» Израилю и «империалистическим» Франции и Англии. К привычным обличениям последних прибавилась лишь наглая угроза ракетными снарядами. Израиль же был подвергнут презрению, напоминанию, что самое его, «военного пре-

ступника», существование поставлено под знак вопроса, и немедленным репрессиям: был отозван советский посол и, в нарушение торгового договора, приостановлена поставка горючего.

При этом заслуживает внимания факт мало кому известный. Должно же было так случиться, что 23 октября, за шесть суток до вторжения Израиля в пределы Египта и интервенции Англии и Франции, СССР внес в Специальный Комитет ООН свой проект резолюции, устанавливающий «руководящие принципы для определения стороны, виновной в агрессии». Резолюция различает прямую агрессию, косвенную, экономическую и идеологическую. И в каждой из них, исходя из советского понимания агрессии, повинной оказывалась та сторона, которую неделей спустя СССР взял под свою защиту, как пострадавшую от агрессии. Судите сами.

Пункт e) предусматривает, что виновно в прямой агрессии государство, «которое установит морскую блокаду берегов или портов другого государства»; пункт f) — которое «окажет поддержку вооруженным бандам, которые, будучи образованными на его территории, вторгнутся на территорию другого государства, или откажется, несмотря на требование государства, подвергшегося вторжению, принять на своей собственной территории все зависящие от него меры для лишения названных банд всякой помощи или покровительства». В *косвенной* агрессии, согласно пункту a), будет признано виновным «государство, которое поощряет подрывную деятельность против другого государства (террористические акты, диверсия и т. п.)». В *экономической* агрессии будет признано виновным государство, которое — первое, пункт a), «предпримет меры экономического давления, нарушающие суверенитет другого государства, его экономическую независимость и угрожающие основам экономической жизни этого государства», или пункт c) — «подвергнет другое государство экономической блокаде». Наконец, в *идеологической* агрессии повинно, согласно п. c), государство, которое «способствует пропаганде фашистско-нацистских взглядов, расовой и национальной исключительности, ненависти и пренебрежения к другим народам». (См. документ A/AC. 77/L. 4).

Так называемая «ирония истории» сказалась в том, что проект советской резолюции в *шести* пунктах предусмат-

ривает агрессию Египта, который Советы официально не перестают рассматривать как жертву агрессии. Советские легисты сыграли злую шутку со своими советскими коллегами, дипломатами и журналистами.

* * *

Трагедией свободолюбивого мира явилось то, что формальными нарушителями международного правопорядка и Устава ООН явились не скрытые и полускрытые противники ООН, а те, чья внутренняя и внешняя политика связана с началами права, свободы и справедливости, кто были вдохновителями и основоположниками неосуществленной идеи коллективной безопасности. И трудно принять в качестве оправдания, что нарушение буквы и духа Устава ООН диктовалось необходимостью отстоять свои жизненные интересы и, в конечном счете, — интересами права и справедливости. Такое оправдание слишком уже сильно напоминало агрументацию Наполеона III, когда, совершив свой переворот 2 декабря 1851 г., он успокаивал и свою и общественную совесть тем, что конституцию и собственную присягу он нарушил только для того, чтобы вернуться к праву, — чтобы дать праву возможность одержать верх над законностью.

При полном сочувствии Израилю, Франции и Англии нельзя все же не признать их вторжения трагической авантюрой и политическим заблуждением относительно собственных возможностей и возможностей противника. Англо-французская операция была проведена согласно доктрине Монтгомери, в столь замедленном темпе, что на самом деле оказалось «смерти подобной» — провалилась прежде, чем была доведена до конца. Нассер не только не был уничтожен, а выиграл в престиже — не военном, а внешне-политическом, — и не только в арабском мире: враг был посрамлен — был вынужден отступить в спешном порядке. Это тяжело признать, но это так.

Отталкивание от Нассера и его советских покровителей вызвало естественный прилив сочувствия к «вторженцам» со стороны анти-коммунистов демократов. Однако, не единодушный — не со стороны всех. Это отчетливо сказалось на только что закончившемся конгрессе социалистического интернационала. Большинство из 8 партий под предводительством английских лэйбористов приняло резолюцию с требованием безоговорочного увода из Египта всех вооруженных сил Ан-

глии, Франции, Израиля. Меньшинство под водительством французских социалистов составили 5 партий.

***

Вступая в Организацию ОН, ее члены приносили присягу на верность Организации «миролюбивых наций». За последние годы требование «миролюбия», как условие включения в ООН, отпало. Организация из 50, потом из 60 сочленов, сейчас достигла 80, многие из которых были допущены в ООН не как миролюбивые ее сочлены, а в порядке торга и переторжки: я соглашусь на включение твоих клиентов, если ты согласишься на допущение моих.

В итоге ООН стала совсем не тем, чем по предположениям должна была стать. Не тем — *функционально*, судя по тому, чем она преимущественно стала заниматься, и не тем, *структурно*. ООН должна была придти на смену правопорядку, покоившемуся на начале равновесия внешне-политических сил, сфер влияния, военных союзов, дипломатических блоков. Рассчитывали на более или менее согласованное установление международного порядка на условиях всеобщей его охраны. Рассчитывали, что сосуществование с миром коммунизма возможно не только во время войны, но и в мирное время. Это оказалось иллюзорным — сплошным прекраснодушием.

Коренные разногласия и наличность блоков в ООН обнаружились с самого начала. За десять лет СССР наложил больше 70-ти вето на решения Совета Безопасности. Когда-то существовал «концерт» 5-6 великих европейских держав. Теперь создался «концерт» против европейских держав. Сначала «блок» составляли пятеро — СССР и его 4 спутника — против всех, всех, всех. Потом блоков стало несколько и самым многочисленным сейчас оказывается азиато-африканский, насчитывающий 27 сочленов и тем самым голосов. Не случайно самое ООН стали называть «расширенным Бандунгом», — в Бандунге были представлены только азиатские и африканские анти-колониальные страны. Советы со своими спутниками располагают в ООН 9 голосами. При требовании ⅔ голосов для решения Генеральной Ассамблеей «важных вопросов», Советы, голосуя с азиато-африканским блоком, имеют 36 голосов и могут остановить любое мало-мальски важное решение, — что́ и происходит на деле.

Если в прошлом, ощущая, что она обречена на бездействие, ООН открыто и прикровенно нарушала свой Устав, —

более 30 его статей фактически отмерли или были изменены путем искусственного толкования и одобрения особых «резолюций», то теперь, с расширением и перерождением ООН, такому произволу двери открыты настежь.

ООН, как известно, не создала принудительного аппарата для осуществления своих решений, как это предусмотрено Уставом. Решения ее, поэтому, имеют лишь морально-политическую обязательность, как проявление международного общественного мнения. С ними не могут не считаться страны с демократическим режимом, опирающиеся на общественное мнение. И с ними не считаются, иногда вызывающе игнорируют, страны с режимом диктатуры. Отсюда получается неравенство: ограничивая фактически демократии, ООН проходит мимо произвола насильников.

Медленно и упираясь, Израиль, Франция и Англия из Египта ушли. В то же время Советский Союз не подчинился требованиям Генеральной Ассамблеи ни об уводе советских войск из Венгрии, ни о допущении обследования, ни о прекращении депортации и возвращении депортированных. Действуя чрез посредство своего венгерского ставленника Кадара, советская власть так и не рискнула допустить в Венгрию даже генерального секретаря ООН, Дага Хамершильда. Казалось бы естественным и логичным: — если Кадар не пускает к себе представителя ООН, ООН надлежит не допускать к себе представителей Кадара. Но логика не в особом почете в нынешней ООН.

Раньше ООН была бездеятельна и в нетях в самые ответственные моменты международных кризисов. Теперь ее побудили к активности. Но активность эта *односторонняя*: она действует в Египте и она бездействует, беспомощна в Венгрии. Французский министр иностранных дел Пино с полным основанием бросил Генеральной Ассамблее упрек: «либо всех заставлять исполнять ее решения, либо ни к кому не предъявлять подобных требований».

Десятилетняя пассивность ООН подстрекнула к самоуправству Израиль, Францию и Англию, когда их «жизненные интересы» пострадали или оказались под угрозой. Но и активность, проявленная ООН под прямым воздействием США, оказалась и запоздалой, и незначительной, — больше всего наруку египетскому диктатору, если не говорить о Москве.

Но главное, самое главное — *выступление подорвало анти-коммунистический блок демократий, с такими трудно-*

стяжи сколоченный военно-дипломатический союз северо-атлантических держав! Произошло небывалое: США голосовали в ООН согласно с СССР и *против* своих ближайших анти-коммунистических единомышленников. Это было унижением демократий и высшим триумфом египетского диктатора и московской диктатуры. И это не предотвратило привычной советской инсинуации по адресу США: «Отклонив советское предложение о совместном использовании силы для прекращения агрессии (в Египте), США фактически потворствовали (!) этой агрессии», — утверждает «Коммунист» № 16 за ноябрь 1956 год.

Ровно год тому назад, говоря о «Пересмотре Устава ООН» («Нов. Журнал» № 42), я оспаривал мнение Волтера Липмана, утверждавшего, что коллективные действия против агрессора, дозволенные Уставом ООН, являются «ископаемыми, уцелевшими от прежнего, давно оставшегося позади периода, ибо эти отделы Устава не могут быть применены, за исключением случаев, когда международное столкновение не имеет большого значения и не связано с серьезными интересами какой-либо великой державы». События последнего времени в Египте и Венгрии наглядно, опытным путем, показали неправильность этого утверждения.

Неоправданным оказалось и предвидение Липмана будто «миссия ООН быть универсальным сообществом без суверенности и без военной силы с влиянием, которое возрастет над всеми суверенитетами и силами». С включением в состав ООН всех, всех, всех, — числом поболее, ценою подешевле, — ООН стала на самом деле «универсальным сообществом». Но «сообщество» это, как опять-таки показали события в Египте, претендует и на «суверенность» и на «военную силу».

Если говорить о будущем, то не только желательно, но насущно необходимо, чтобы демократические страны направили свои усилия прежде всего к тому, чтобы исправить допущенные ими *всеми* ошибки, возможно скорее изжить — и формально и по существу — возникшие между ними расхождения. Может быть, тогда в более реалистической форме встанет и вопрос о создании действенной «военной силы» ООН, а не в той символической — и скорее опереточной — форме, в какую она воплотилась теперь. Быть может, удастся устранить тогда и некоторые причины, вызвавшие нынешние конфликты и самоуправство.

Поль Спаак, министр иностранных дел Бельгии и председатель Ген. Ассамбл. ООН в 1946 г. только что опубликовал статью в «Foreign Affairs». С присущим ему авторитетом и осведомленностью в международном положении и в состоянии ООН, автор отметил, что никогда еще с такой очевидностью не обнаруживалась неудовлетворительность организации ОН, как теперь, когда она оказалась бессильной приостановить советскую агрессию в Венгрии и предотвратить столкновение на Ближнем Востоке. Устав ООН, утверждает Спаак, — «до опасного неполон и, потому, недействен».

Было бы безобидным занятием гадать о том, что было бы или что могло бы быть, если бы США или ООН действовали не так, как они действовали. Но в этих гаданиях почти всегда проступает явное или скрытое стремление снять ответственность с себя и переложить ее полностью на других. Между тем ответственны *все*, — хотя и в разной мере и разной форме.

М. Вишняк

ОБ УТОПИИ ДАНТЕ

Печатаемая ниже статья является текстом публичной речи, которую Г. П. Федотов произнес в 1921 г. в Саратовском университете на собрании, посвященном шестисотлетней годовщине смерти Данте. К сожалению, рукопись, любезно предоставленная нам Е. Н. Федотовой, конца речи в себе не заключает. Но нам кажется, что и в таком виде статья эта представляет собою достаточно законченное целое.

Тема ее остается актуальной и в наши дни с их напряженными исканиями «мира всего мира». Вместе с тем то толкование, которое Г. П. дает утопии Данте, крайне для него характерно. Мы имеем в виду в особенности то ударение, которое он ставит на «пафосе свободы» у Данте. Помещая его статью в этой книге «Нового Журнала», мы руководимся также желанием отметить исполнившееся в этом году пятилетие со дня смерти нашего верного друга и незаменимого сотрудника. РЕД.

Не сочтите за отсутствие благоговения к великой тени, мотив, которым я руководился, выбирая темой сегодняшней речи политическую утопию Данте. Каждому позволено поднять из сокровищницы гения ценность себе по плечу и историку приличнее разрабатывать политическую жилу поэта. Но, конечно, не эти личные цеховые пристрастия дают мне право требовать особенного внимания к моей теме. Для этого она должна быть значительной и для Данте и для нашей исторической эпохи. Так это и есть, по моему глубокому убеждению.

Наше время больно аполитизмом. Не примите это за парадоксальную клевету на век мировых войн и революций. Наши войны весьма мало одушевлены политической идеей, являясь борьбой за экономическое существование, господство, за культурную и национальную гегемонию, наконец, — но не за право. Наши революции — при всеобщей расщепленности культуры — делают люди, не причастные этой культуре, выпавшие из круга ее идей; люди, движущие или охраняющие культуру, не делают революций. Политика — кумир для одних, для других — молох, попирающий все ценности, докуда

жизни, почти пошлость, на которую нужно закрыть глаза. И эта атония политической воли у самых тонких, у самых глубоких умов Европы — уже застарелая болезнь. Почти три поколения людей заражены ею, и у нас в России, едва появившись с четверть века тому назад, она успела уже превратить в пустыню цветущую ниву политического, да и вообще социального идеализма. Так русское беспамятное варварство сказалось и в этом новейшем общественном нигилизме — движении, имеющем такой культурный облик и такой подлинный пафос.

Не таковы истинно органические эпохи истории, которые одной горячей кровью животворят все, даже самые периферические клетки общественного тела. Аристократ узнается по кончику ногтей. Там, где горшок, вышедший из мастерской рабочего, является созданием художника, — там политический тон задает философ или пророк. Для Греции политики и «политии» писали Платон и Аристотель, для католической Европы — папы и святые, для Италии, начинающей последнюю золотую страницу своей средневековой культуры aureo trecento — политику написал Данте.

Писал он ее не только в том небольшом трактате De Monarchia, о котором я сегодня имею честь говорить. Писал он ее страданиями всей своей мятежной жизни; ее фрагменты рассыпал на всех страницах «Божественной Комедии», как памятники своего гнева и суда. Эта последняя черта особенно значительна. Ничто так рельефно не позволяет судить о расстоянии, отделяющем нашу буржуазную эпоху, стыдящуюся за свой сегодняшний день, от целостной и органической культуры, которой не за чем спускаться в романтическую древность в поисках своих героев. Для Данте его современники вступают в свободное общение с Катонами и Цезарями, со святыми и ангелами — у порога вечности. Представьте себе мистерию современного поэта, где в монументальных терцинах «Божественной Комедии» в мирах иных встречают нас знакомые тени: Протопопов, Керенский, Плеханов, Ленин. Вы чувствуете, какая это страшно трудная стилистическая задача для поэта, вряд ли разрешимая без уклона в пародию. Данте едва ли понял бы наши сомнения в приличии такого преображения действительности. Ведь злые у него в аду, не оскверняя собой царства чистых душ. В аду — да. Но самые унизительные казни самых низких душ, болото безымянных, о которых можно сказать лишь вместе с Виргилием, guardi

e passi, — этим окружением ада, этой вечностью мук возвышаются над пошлостью, являясь предметом трагического сострадания. Но ад и рай не поэтические фикции. Это действительность, в которую течет отделяясь от нее тонкой и хрупкой гранью, современная жизнь. Созерцаемая sub specie inferni или paradisi — современность сохраняет свое метафизическое достоинство. Политика становится главой из теологии. И, может быть, для католического сознания, это самая актуальная глава, по крайней мере теологии практической. Ибо здесь всего острее лезвие меча, которым врезывается в мир абсолютность христианского идеала. Здесь для воинствующей церкви открываются превосходные позиции для вечных битв с врагами Царствия Божия.

Замечательно, что Данте-поэт, Данте-схоластик, Данте-теолог имеет только политическую биографию. Кроме лирического видения Беатриче, все немногие известные нам фрагменты его внешней жизни связаны с его общественной службой во Флоренции и с его политической катастрофой. Данте-посланник, член Государственного Совета, приор и, наконец, политический эмигрант, всю вторую половину жизни скитающийся на чужбине и познавший «как горек чужой хлеб и как тяжело подниматься по чужим лестницам».

Необычайно сложно и бурно протекала политическая жизнь его родной республики. Конец XIII-го века во Флоренции почти непрерывная революция. Еще не отшумели вековые войны гвельфов и гибеллинов, под знаменами которых часто находил себя антагонизм рыцарской знати и купеческого гражданства. Но явные гибеллины давно уже fuorusciti — изгнанники, конспирирующие с враждебными силами против своей коммуны. В ней же наростают конфликты между купеческой, буржуазной и цеховой демократией, приводящие к Джано де ла Белла и к диктатуре цехов. Данте живет в эпоху этой диктатуры. Достаточно известен тот факт, что он должен был вступить в цех аптекарей (medici e speziali), чтобы стать полноправным гражданином. Для сложности политической организации или, вернее, организаций, неустойчивое равновесие которых составляло конституцию республики, можно искать сравнение в нашем русском 1917-м году. Рядом друг с другом, покрывая друг друга, живут: старая коммуна, включающая и знать, организация народа popolo, за вычетом этой знати; организация гвельфов, единственно легальной и потому правительственной партии; и наконец, arti — цехи

под конец захватившие всю реальную власть. Мы не видим, чтобы Данте стоял в открытой оппозиции демократическим учреждениям Флоренции. Он не сводит с ними счетов в аду, но его симпатии принадлежат старому времени, суровой и бедной Флоренции, которая жила «трезво и целомудренно в древнем круге своих стен». Бедный схоластик не может забыть, что в его жилах течет кровь крестоносца. «О poca nostra nobiltà di sangue» («Бедное благородство нашей крови») — так начинает он песнь XVI-ую «Рая», где в небе Марса ему встречается дух его предка Каччагвиды. Странно, что горделивая скромность этого вступления могла обмануть ученых, которые заключили из нее о совершившемся будто у Данте переломе в высокой оценке родового благородства, засвидетельствованного его Convivio. И в Convivio и в Paradiso и в De Monarchia Данте всегда дает чувствовать свои аристократические, хотя и смиряемые философско-христианским морализмом, пристрастия. Столь же несомненно для меня, что во всех этих произведениях Данте является определенным гибеллином. Мы не знаем, когда написан им трактат De Monarchia. Относится ли он, как и остальные крупные произведения Данте, к годам изгнания (в России эта точка зрения поддерживается проф. Гревсом) или же он как думает издатель его Witte, написан еще на родине, до решительной схватки церкви с государством при Бонифации VIII-м? В последнем случае явствовало бы, что «империализм» Данте созрел не в реакции против его гвельфской неблагодарной родины, а вытекал совершенно органически из философских основ его системы, развитых им в De Monarchia, в совершенной отвлеченности от политической злобы дня. Конечно, зрелище «беспокойного лихорадочного больного, который всё ворочается в своей постели» — такова для него политическая Флоренция в Paradiso — могло лишь укрепить в нем тоску по верховному арбитру мира. Однако, мы должны отказаться от надежды проследить рост гибеллинизма у Данте и связь этих идей его с тем поворотом флорентийской политики, который в 1362 году привел Данте к изгнанию. Останемся на твердой почве фактов и остановимся на воззрениях Данте так, как они отлились в недатируемом и биографически необъяснимом трактате De Monarchia.

Здесь прежде всего важно исключить возможность недоразумений, вытекающих из терминологии Данте. Мы глубоко ошиблись бы, предположив, что Данте пишет о монархиче-

ском образе правления. Монархия для него не совпадает с царством, но возвышается над всеми царствами и республиками, как универсальная власть. Он сам определяет ее: «светская монархия, которую называют империей, есть *единая власть* (unicus principatus) над всеми людьми во времени или же над тем, что измеряется временем». Вселенское государство или точнее вселенский суверенитет — вот идеальная концепция автора, и хотя он мыслит ее в конкретных исторических формах Римской Империи, противоположность между монархией и республикой не играет никакой роли в его аргументации. Он отстаивает единство власти, а не единоличность ее носителя.

Самым значительным и актуальным для нас в этой аргументации Данте в защиту всемирного государства является самый подход к ней, установка исходных точек зрения. Политика есть практическая дисциплина. Следовательно, она должна исходить из постановки целей. Цель политики — есть цель универсальной цивилизации. Данте употребляет именно это слово: finis universalis civilitatis humani generis. Он знает, чего не знают многие в наше время, что бытие или природа твари не может быть ее целью, т.е. не может быть самодавлеющего «жить чтобы жить». Цель дается в определенной деятельности, свойственной существу. В поисках ее, руководимый Аристотелем, Данте приходит к основной потенции или силе человеческого рода: потенциальному интеллекту (intellectus possibilis); им человек отличается от низшей твари, но и высшей также, как чистых интеллекций, для которых бытие и сознание совпадают. Исключительное задание, proprium opus, человечества есть постоянная актуализация этой потенции, т. е. дело познания. Это призвание человека почти божественно — fere divinum est, — согласно написанному: «Не много Ты умалил его пред ангелами» (Псалом 8, стих 6).

Но вся духовная потенция человечества не может быть реализована ни одною личностью, ни одной частной общиной. Она требует множества, требует объединенных усилий всего человеческого рода. Так политика, дело объединения людей, остается подчиненной культуре, т. е. для Данте, религиозному призванию человечества. Определение этого призвания обусловлено воздействием перипатетического интеллектуализма. Хотя Данте расширяет сферу теоретического разума, который расширяясь становится практическим, эта практи-

ческая деятельность (Данте различает в ней, с одной стороны, политику — область поступков, с другой искусство и технику — область труда и творчества) должна служить умозрению, как высшей цели, ради которой изначальная благость вызвала к бытию человеческий род». Вот почему прав Аристотель в своей «Политике»: «сильные разумом от природы призваны властвовать над другими».

Но мудрость достижима лишь в покое. Созерцание требует тишины. И общечеловеческое дело культуры требует общего и вечного мира. Мир! Сколько веков европейское человечество жило обаянием этой идеи. С ней некогда родилась империя. Человек, давший этот мир культурной земле, стал богом для нее, — divus Augustus. Для энтузиастов дела Карла Великого *в мире* было высшее призвание и оправдание воскресшей имперской идеи. Чем крепче утверждало феодальное средневековье личное право и власть в войне всех против всех, тем неотразимее становился мираж вселенского мира, воплощаемый в постулатах Церкви и империи. Мы только теперь, пожалуй, способны оценить значительность этой идеи, которая должна была казаться бессодержательной для *умиротворенного* буржуазного века. И начинаем понимать Данте.

Всеобщий мир есть высшее благо, определенное для нашего блаженства. Посему пастухам прозвучало свыше не богатство, не наслаждение, не почести, не долгая жизнь, не здоровье, не сила, не красота — но мир. Возвестило небесное воинство: «Слава в вышних Богу, и на земле мир людям доброй воли». Отсюда «мир вам», как совершенное христианское приветствие.

От мира легок переход к единству как гарантии этого мира, и из этого принципа отправляется Данте в поисках новых и новых аргументов в защиту своего мирового государства или монархии. Нам нет необходимости следовать в подробностях за всей этой аргументацией, являющейся образцом формально-схоластического метода. Этот метод оставляет такое же впечатление как геометрический метод Спинозы. Сложно доказывается то, что не нуждается в доказательствах. Самые ответственные и решающие посылки вводятся незаметно, в игре силлогизмов. Не в формальной логике сила аргументации Данте, а в том, что стоит за нею, не всегда высказанное или служебное в цепи умозаключений, но по существу единственно важное; это — органическое мировоззрение Данте.

Единство для него не является рассудочно заданной целью, но целью данной и прирожденной человеческому роду, который, в свою очередь, мыслится не оторванным, но связанным с единством мира и единством Бога. В дискурсивной аргументации единство обосновывается постулатом мира, но реально оно предшествует и миру, и историческому бытию человека. Только с такой точки зрения становится понятным этот, на половину аристотелевский, «аргумент от единства».

Философ учит, что «когда многое принадлежит к единому, оно должно руководить и править, прочее быть руководимым и управляемым». Но известно (для Данте просто constat), что весь человеческий род предназначается к единству: humanum genus ordinatur ad unum.

Строй целого выше и совершеннее порядка частей. Но во всех частях человечества существует уже объединяющее отношение власти. Как же не быть ему в целом? Что человечество *есть* целое, это даже не нуждается в доказательствах. Что человечество «есть некая часть в целой вселенной — это самоочевидно» (de se manifestum). Оно должно стоять в таком же отношении к вселенной, как его собственные части к нему как к целому. Но каждая часть его входит в него через единство власти. Так единая власть должна опосредствовать человечество с властью или властителем вселенной, qui est Deus.

Быть подобным Богу, «поскольку может вместить собственная природа»: это цель, поставленная им всей твари. Вселенная в целом не что иное, как некоторый след (или отпечаток) божественной благости. Но человек *один* имеет не только подобие, но и образ Божий. Этот образ прежде всего заключается в единстве: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой Един».

«Человеческий род — сын неба». Это значит не только то, что он сын Бога. В его рождении творчески, отцовски участвует именно это видимое небо и это видимое солнце — совершеннейшее в космосе. Рождают человека человек и солнце. Эти слова Аристотеля у Данте нужно понимать буквально, в смысле природной физиологической связи астрального и земного бытия — это одна из основных идей «Божественной Комедии». Посему человеческий род подражает следам неба, поскольку позволяет ему его собственная природа. Но «небо во всех своих частях управляемо единством движения, т. е. первым движимым и единым двигателем, т. е. Богом». Единый

двигатель-властитель и единое движение-закон должны управлять всеми двигателями и движениями человеческого рода. Слова Боэция о любви, управляющей небом, приходят Данте на память в преддверии последних строк «Божественной Комедии»: O felix hominem gens...

Исчерпывая эту аргументацию от единства, Данте углубляет это понятие в онтологическом смысле. В лестнице первых сущностей оно непосредственно следует за бытием, предваряя и обусловливая благо. Высшее бытие есть высшее единство и высшее единство есть высшее благо. И чем больше удаление от высшего бытия, тем дальше от единства и следовательно от блага. В согласии с Аристотелем Данте определяет единство как корень блага, а множество как зло, ссылаясь на «соотношения пифагорейцев»... «Отсюда видно, что грех есть ничто иное, как презрение единства и выход во множество». Так согласие, бесспорное социальное благо, есть единообразное движение многих воль. Его основание именно в единстве воль. «Его осуществимость в человеческом роде зависит от наличности единой воли, владычицы и направительницы всех других к единству». К этим общим аргументам от единства Данте присоединяет несколько специальных: от правосудия, от справедливости и свободы. Нельзя заметить последовательной связи между отдельными доказательствами. Автор видимо стремится более к исчерпывающей полноте чем к стройности аргументации. Но эти разрозненные доводы, во многом любопытные, привносят существенно новое.

Прежде всего аргумент от правосудия — judicium. По существу это основной и даже единственный — из которого исходит современное правосознание в построении идеала международного объединения. Уже это одно показывает его позитивность, независимость от всякого метафизического мировоззрения. Вопрос очень простой и ясный: Ubicumque potest esse litigium ibi debet esse judicium. Где тяжба, там и суд. Но между двумя независимыми государями всегда возможна тяжба, судьей которой должен быть третий с высшей юрисдикцией. То же и между высшими в политической феодальной монархии. Так получается или processus in infinitum, или необходимость притти к первому и высшему судии, судом которого, посредственно или непосредственно, разрешаются все тяжбы.

Здесь необходимо сделать одно замечание. На предыдущих страницах я умышленно обходил вопрос об имени и ха-

рактере верховной мировой власти. Данте всюду именует ее Monarcha sive Imperator, princeps et judex, не оставляя сомнений в монархическом понимании этой власти. Он не обосновывает прямо этого личного начала в самой власти, потому что она представляется ему исторически данной Священной Римской Империей, идеал которой он стремится начертать. Но до сих пор, кроме наименования, монархический принцип не отразился нисколько в его аргументации в пользу вселенской власти. Подобно тому как в низших политических мирах он вслед за Аристотелем признает правомерность царств, аристократий и политий (т. е. республик), он мог бы, чисто логически рассуждая, оставить без определения и форму верховной власти. Он этого не сделал и, конечно, не мог сделать, не нарушая своего высокого стиля. Уже уподобление Богу как единству и особенно связь с Ним, властителем мира, через власть над человечеством, строже и эстетически последовательнее осуществляется в личной власти. Но оставшиеся аргументы Данте, мною умышленно отнесенные на конец, не только предполагают эту форму власти, но прямо ее обосновывают. Они являются аргументами в пользу монархии в общем смысле слова, хотя Данте не сознает, что перемещая значение слова, он грешит quaternio terminorum. Это прежде всего аргумент метафизический — опять-таки от единства. «Что может быть сделано через единое лучше сделать через единое, чем через многое». Всё лишнее противно Богу и природе, и всё противное Богу и природе — зло.

Остальные монархические аргументы Данте психологичны и исходят из оптимистической оценки моральных качеств верховного правителя «по положению» если не «по природе» его власти. «Там где нечего желать (т. е. там где насыщено всякое честолюбие) немыслимо возникнуть алчности. Монарх не может иметь никакого повода к алчности или (поправляется Данте), по крайней мере [имеет] меньший повод среди смертных». Поэтому он морально призван воздействовать на других, управляя ими, т. к. всякое воздействие есть только «раскрытие собственного образа». Обладая высшей возможной властью, он является тем volentissimus et potentissimus subjectus, в воле и силах которого меньше всего препятствий для чистой реализации справедливости.

Монарх не может иметь врагов, и ему свойственно любить людей. Эта любовь, обостряющая справедливость, — как алчность затемняет ее, — позволяет монарху осуществить и мак-

симум свободы. Свобода человека — в самоцельности его (perseitas), т. е. быть для себя (suimet gratia). Только та власть может рассматривать человека как самоцель, которая исходит из мотивов его блага, т. е. руководится любовью. Такое отношение власти немыслимо в дурном политическом строе, где хороший человек и дурной гражданин — одно и то же (Аристотель). И это всё осуществимо, по Данте, для монарха, который полагая себе цель в законах, является слугою для всех. При очевидной натянутости этих последних аргументов они чрезвычайно ценны, вводя новые элементы в политический идеал Данте. Без них идея единства в своем радикальном и одностороннем развитии легко могла бы, при всей органичности общего миропонимания, привести к обоснованию деспотизма. Жажда мира и единства какой бы то ни было ценой исторически всегда обосновывала деспотизм. В идее единства уже заложен соблазн унификации (Данте скользит уже на самом краю, говоря, что лишнее противно Богу и природе). Но здесь вводятся новые абсолютные понятия справедливости и свободы, которые сообщают живую гибкость и этическое содержание единству. Что эти идеи не случайные корольлари в аргументации Данте, видно, во-первых, из того значения, которое они имеют в Божественной Комедии и, во-вторых, из особого лирического напряжения, которым сопровождается сухая диалектика «Монархии», когда начинают звучать струны. Справедливость! Мир всего совершеннее когда в нем могущественнее справедливость. Вот почему Вергилий, желая прославить век, зачинавшийся в его время, пел в своих буколиках (т. е. в Эклоге IV-ой) «Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna». (Данте поясняет: «Девой именовалась справедливость, которую называют также Астреей»). И далее, говоря о чистой беспримесной реализации справедливости, он сравнивает ее с блеском полной луны. Так и Вергилий сказал, по слову философа: «Ни Геспер, ни Люцифер не сравняются с нею. Она подобна тогда Фебе, стоящей прямо против брата в пурпуре утренней зари».

Единство, мир и справедливость — три основные политические идеи средневековья, заданные еще Августином и развитые идеологами каролинского Возрождения. Данте связывает с ними свободу и в эту идею вкладывает свой эпический пафос. «Эта свобода — принцип всей нашей свободы — есть высший дар человеческой природе от Бога ибо им мы здесь наслаждаемся как люди, и им же мы будет там наслаж-

даться как боги». Пафос свободы всегда неопределенен, поскольку логическое определение свободы наталкивается на чрезвычайные трудности. Так в этой главе (12-ой первой книги) Данте, исходя из свободы воли (libertas arbitrii), как основания свободы челоека и всех вообще «разумных субстанций», вводит уже знакомое нам политическое определение свободы, как самоцели человека. Эти два определения не связаны и не опосредствованы у Данте (второе просто навеяно Аристотелем) и однако их логическая разнородность не исключает их психологического сродства. Они объединяются у Данте одним и тем же этическим пафосом. Великолепные строфы «Божественной Комедии», может быть, непосредственно уже в старых рукописях связанные с этим местом трактата «О монархии», славят это высшее благо, дарованное человеку: «Il maggior dono...»

В свете этого идеала свободы и самоцельности человека мы уже ожидаем, что мировое государство Данте не упраздняет остальных общественных организаций. Семья, община, город и национальное государство живут своей автономной жизнью в этом вселенском целом. Монарх есть только высший судья и направитель всех отдельных политических воль, на бытие которых он не посягает. Эта автономия вытекает сама собой из всего своеобразия бытия, которое не может регламентироваться одной волей.

Г. Федотов

КОММЕНТАРИИ

М. А. Алданов и история

Как указывает самое заглавие моей статьи, она не представляет собою попытки дать общую оценку литературного творчества М. А. Алданова. Не претендую я и на исчерпывающую характеристику Алданова как исторического романиста. Цель моя скромнее: поделиться с читателями некоторыми мыслями, вызванными моим недавним повторным соприкосновением с Алдановым-писателем. Как, вероятно, и многим другим, мне захотелось перечесть ряд его книг — не только чтобы еще раз пережить полученное от них удовольствие, но и чтобы проверить свое прежнее впечатление.

То, что я останавливаюсь на вопросе об отношении Алданова к истории, объясняется не одним моим «профессиональным интересом». Алданов, конечно, не только исторический романист. Мы все знаем, что многие его книги посвящены современности, иногда даже самой злободневной. И всё же едва ли случайно, что как беллетрист он начал с серии исторических романов и что исторические сюжеты вообще занимают такое большое место в его творчестве. Более того, даже и в тех его произведениях, где речь идет о современности, исторический элемент продолжает присутствовать. В них тоже есть история — история текущая, история, взятая в процессе ее становления. Дело здесь не только в сюжете: важнее общий подход писателя. И вот мне кажется, что хотя о связи истории с современностью писали и говорили много, редко у кого она ощущается с такой остротой, как у Алданова. Вообще можно сказать, что необычайно сильно развитое чувство истории является одной из самых характерных его черт. Быть может, именно ею определяется то особое место, которое он занимает в русской литературе.

Когда-то (в рецензии об «Истоках») я написал, что для Алданова «история важна не сама по себе, а лишь постольку, поскольку она отражается на судьбе людей, и в первую очередь людей 'неисторических'». Несколько иными словами ту же мысль в свое время выразил А. А. Кизеветтер: Алданова в истории «больше интересуют люди, чем события» (цитирую

по последней книге Г. П. Струве). Признаюсь, что теперь, после моей новой экскурсии в область алдановского творчества, мысль эта кажется мне ошибочной, незаконно упрощающей отношение Алданова к истории. Пусть на большинстве страниц его романов люди, исторические и неисторические, оказываются на первом плане, а события составляют лишь общий фон. Но показательно, что в кульминационные моменты — кульминационные не только в сюжетном, но и в эстетическом смысле — события приобретают самодовлеющее, более того — преобладающее значение. Автор показывает их с такой яркостью и силой, что в сознании читателя они поглощают все индивидуальные образы, заставляя его чувствовать себя лицом к лицу с историческим роком. Именно так воспринимается мною картина падения Робеспьера или сцена убийства Павла I-го, или альпийский поход Суворова, или трагический конец Александра II-го. Страницы, на которых воссозданы эти события, несомненно принадлежат к высоким достижениям Алданова как романиста.

Думаю, что во всех этих случаях кульминационное значение исторических событий у Алданова получилось совершенно естественно, как органическая часть его художественного замысла. Здесь невольно напрашивается сравнение с Толстым. Как это установлено исследователями творческой истории «Войны и мира», по первоначальному замыслу Толстого роман его должен был быть своего рода «семейной хроникой» (еще в 1866 г. Толстой думал о заглавии «Всё хорошо, что хорошо кончается»!). В ранних планах и набросках романа не было ни Александра, ни Наполеона, ни Кутузова. Толстой хотел сосредоточиться на личной и семейной жизни «неисторических» людей, отодвинув военно-политические события их бурной эпохи на задний план, только в качестве общего — и отдаленного — фона. Лишь постепенно, и сначала не без внутреннего сопротивления, Толстой стал втягиваться в работу над исторической частью, уделяя ей всё больше внимания, — пока наконец «война» не заняла равноправного с «миром» места не только в заглавии, но и в содержании романа.

В отличие от Толстого, М. А. Алданову, с его врожденным историческим чувством, втягиваться в историю, конечно, не приходится. Но одновременно его роднит с Толстым не только интерес к судьбе неисторических людей, свидетелей и жертв истории, но и стремление найти простых смертных за парадным, героическим обличьем исторических деятелей, в

том числе и самых знаменитых. В некоторых случаях это даже принимает форму настоящего «разоблачения»: вспомним, например, алдановскую Екатерину, которую можно поставить в ряд с толстовским Наполеоном. И всё же — никакого принципиального отрицания роли личности в истории у Алданова найти нельзя. Нет у него и толстовского предпочтения к «деятелям» типа Кутузова, ценным в глазах Толстого именно тем, что они не слишком «деятельны» и не имеют претензии на то, чтобы руководить событиями. Правда, в «Истоках» у Алданова звучит как бы нота осуждения по отношению к «людям тройного сальтомортале», к которым он повидимому относит и Бакунина, и Бисмарка, и Желябова. Но, с другой стороны, не случайно же, что из исторических деятелей нашей эпохи «любимцами» Алданова являются Клемансо и Черчилль — люди сильной воли и боевого темперамента, не останавливавшиеся перед тем, чтобы властно вмешиваться в ход исторических событий.

Здесь мы подходим к тому, что, за неимением лучшего термина, приходится назвать алдановской «философией истории». Ей, как известно, автор посвятил свою «Ульмскую ночь». Нетрудно установить тесную связь между тем, что в ней говорится, и историческими романами Алданова. «Ульмская ночь» начинается с Декарта и самое ее заглавие связано с одним эпизодом, рассказанным его биографом Байе. На первых же страницах «Девятого Термидора» мы видим Штааля, с волнением читающего сначала книжку Байе, а потом и сочинения самого Декарта: «Он открыл Discours de la méthode и через минуту был во власти чар этой единственной в мире книги». С другой стороны, в «Ульмской ночи» событие девятого термидора обсуждается автором как один из ярких примеров роли случая в истории.

В утверждении случайности исторических событий и видят обычно самую суть алдановской «философии истории». Вот как она суммирована, например, в недавней статье Е. Д. Кусковой, посвященной М. А. Алданову:

«Случай всюду вмешивается, нарушает линии закономерности и делает трагическим существование человека. Гонимый случаем, человек постоянно попадает в ловушки, не им расставленные. Рок, судьба, что-то ему неведомое преследует его. Случай вертит миром. Он выбрасывает наверх людей глупых, часто преступных, и откидывает — часто в пропасть небытия — людей мысли и высокой морали».

Надо признать, что для такой характеристики его отношения к истории М. А. Алданов дает достаточно оснований. В качестве подзаголовка «Ульмской ночи» он поставил — «философия случая». В одном из составляющих книгу диалогов история определяется как «истинное царство случая». То же самое — только в образной форме — утверждается в замечательном прологе к «Девятому Термидора». Та же идея проходит как лейт-мотив через все исторические романы Алданова. Всё это так. Но вместе с тем у самого же Алданова — и в «Ульмской ночи», и в романах — можно найти и нечто другое, с представлением об *абсолютной* случайности *всего* происходящего в истории как будто не вяжущееся. Взять хотя бы самую схему трилогии «Мыслитель», охватывающей период 1793-1821 годов. Эта схема явно построена на предположении некоторой взаимозависимости между различными событиями эпохи. Именно то, что они, эти события, всё-таки складываются в какой-то узор, обеспечивает единство отдельных частей трилогии — одно присутствие Штааля, в качестве свидетеля истории, едва ли было бы для этого достаточным. Больше того: повидимому, для Алданова трилогия входит в состав написанной им *серии* исторических и современных романов, в совокупности своей покрывающих, с перерывами, без малого двести лет (1762-1948). В издательском предисловии к «Ульмской ночи», несомненно составленном с согласия автора, указано, что при полной самостоятельности каждого романа «все эти книги многое связывает — от общих действующих лиц (или предков и потомков) до некоторых вещей, переходящих от поколения к поколению».

Во всем этом нет конечно провозглашения принципа «закономерности исторического процесса», но какая-то преемственность времен здесь всё-таки предусматривается, и исторический узор вырастает до значительных размеров. Не случайно конечно и заглавие одного из лучших романов Алданова — «Истоки». Не видит ли автор в событиях 1874-1881 гг. истоки тех потрясений, которые пришлось пережить не только России и Европе, но и всему миру уже в нашу эпоху? И не вправе ли мы, его читатели, видеть в печатающемся теперь «Самоубийстве» еще одно звено всё той же цепи исторической преемственности?

Но обратимся опять к «Ульмской ночи». Укажу прежде всего, что подзаголовок книги — «Философия случая» — в сущности не исчерпывает ее содержания. В первом же диалоге («об аксиомах») тот из собеседников, в котором позволи-

тельно видеть самого автора, говорит следующее: «то, что вы называете моей 'философской системой', строится на идеях *случая и борьбы с ним, выборной аксиоматики* и *греческого понятия 'Красота-Добро'*»*. Отсюда ясно, что идея случая есть только один из трех составных элементов алдановской системы — надо полагать, элементов в его сознании равноправных. Подчеркну еще, что в этой формуле идея случая соединена с идеей борьбы со случаем, а это уже само по себе исключает возможность полного и непреодолимого господства случая. Говоря словами авторского собеседника, — «если *всё* случай, то какая же может быть с ним борьба?»

Таким образом, в алдановской концепции случай всё-таки не «вертит миром» беспрепятственно и человек не является в его руках беспомощной жертвой или игрушкой. Думаю, что та сила, с которой Алданов утверждает роль случая в истории, может быть объяснена как психологическая реакция против *абсолютного* исторического детерминизма, к тому же еще оптимистически окрашенного. Именно эта точка зрения была очень распространена во второй половине прошлого века, да и сейчас еще она имеет достаточно много приверженцев. В этом несколько наивном детерминизме между причинностью в мире физическом и причинностью исторической ставился знак равенства, и человеческая история признавалась подчиненной столь же непреложным законам как и природа. Вместе с тем в этот детерминизм — не провиденциального, а материалистического характера — совершенно незаконно вносилась телеология. История, не руководимая ни Провидением, ни мировым разумом, ни человеческой волей, тем не менее имела свои цели — и притом самые благие: отвечала на «нужды эпохи», вела человечество по пути прогресса и т. п. Против такого антропоморфизма, против наделения материи — в природе или в истории — человеческими аттрибутами разума и воли, больше ста лет тому назад восставал еще Герцен. История сама по себе никаких целей не имеет и иметь не может. Только человеческий разум и человеческая воля могут вносить цели и смысл в стихийный исторический процесс.

По существу, М. А. Алданов очень близок к этой позиции Герцена. Но в ее обосновании он широко пользуется такими аргументами, которых в арсенале Герцена не было. В своем отрицании *непреложных* законов — не только в истории, но и в природе — Алданов может опираться и на новей-

* Курсив автора.

шие физические теории, и на теорию вероятности, в ее современном развитии. Апелляция к последней имеет для него особенно большое значение. Теория вероятности дает ему в руки оружие для борьбы против научного или политического догматизма. Она же позволяет ему верить в возможность вмешательства человеческой воли и разума в стихийный ход событий. Не стану воспроизводить здесь его аргументацию. Существенно то, что Алданов говорит не только об огромной роли случая в истории, но и о возможности борьбы со случаем. Там, где есть различные вероятности, есть и возможность выбора между ними. Там, где есть игра случайностей, можно использовать одну случайность против другой — «счастливый» случай против «несчастного». В той мере, в какой человек способен на это, он перестает быть игрушкой в руках случая, перестает быть простой жертвой истории. В пределах открытых перед ним возможностей и в меру его умения эти возможности использовать он становится ее деятелем.

В своем отношении к истории М. А. Алданов оказывается в согласии с течениями, преобладающими в современной историографии — я имею в виду, конечно, историографию западную, так как в Советской России своеобразная форма монистического и телеологического детерминизма для историков обязательна. Но среди историков свободных стран сейчас едва ли можно найти многих, которые разделяли бы былую оптимистическую веру в возможность установить законы исторического развития или хотя бы точную причинную зависимость между отдельными историческими явлениями. В теоретических рассуждениях об исторической науке теперь речь идет главным образом о *пределах* исторического познания и исторического предвидения и о той *осторожности,* с какой надо пользоваться понятиями закономерности и причинной зависимости в применении к историческоой реальности.

Современному историку история не представляется ни царством необходимости, ни областью, в которой господствует одна случайность. Для него это есть сфера относительной свободы и относительной необходимости. Не согласится ли М. А. Алданов признать эту формулу, как выражающую и его отношение к истории?

М. Карпович

БИБЛИОГРАФИЯ

J. BESHAROV. IMAGERY OF THE IGOR'S TALE (in the light of Byzantino-Slavic Poetic Theory). Studies in Russian Epic Tradition II, Leiden (Holland), 1956, pp. 115.

В древней Руси не было греческого средневековья, которое соответствовало бы латинскому средневековью Запада. Но всё развитие древне-русской культуры было обусловлено эллинско-византийской традицией, усвоенной отчасти через Болгарию. Там, в «золотой век» царя Симеона и позднее (IX-X ст. ст.) в большом количестве переводились на церковно-славянский язык памятники византийской литературы, как духовной, так и светской. Один из переводных сборников, сделанный для царя Симеона, был переписан в Киеве для сына Ярослава Мудрого: это т. н. Изборник Святославов 1073 г. Кроме разных извлечений из отцов церкви, в нем находим трактат византийского писателя Георгия Херобоска по поэтике — «о образех» (о тропах и фигурах). Язык церковно-славянский (этот субститут языка греческого на православном славянском Востоке) был уже достаточно развит для перевода отвлеченных понятий поэтики: аллегория — инословие, метафора — превод, ономатопоэйя (игра слов) — имятворение, ирония — поругание, сарказм — поиграние и т. д. (всего дается 27 терминов).

Ю. Л. Бешарова связывает эту поэтику со Словом о полку Игореве. Нельзя утверждать, что неведомый певец Слова читал трактат Херобоска. И автор разбираемой работы вполне отдает себе в этом отчет, а также и в том, что Слово — памятник светский (христианство в этой лиро-эпической песне — «на заднем плане»); между тем, ученый монах Херобоск классическую поэтику иллюстрирует примерами из Св. Писания. Но всё же Бешарова права, утверждая, что между этими двумя памятниками больше общего, чем между ними обоими и той эпохой, когда их начали изучать и истолковывать (в XIX-м веке). Если многие выражения в Слове до сих пор ставят исследователей втупик, то это объясняется тем, что они слишком чужды поэтическому климату и Херобоска, и Слова. Бешарова приводит следующий пример: в известном отступлении от главной темы (в Слове) — в эпизоде о князе-волшебнике Всеславе полоцком, сперва повествуется о его кратковременном княжении в Киеве; далее же говорится о событиях предшествовавших — о взятии Всеславом Новгорода, о битве

на Немиге. Но эта хронологическая непоследовательность есть литературный прием, описанный и у Херобоска: это «послесловие», т. е. показ или подчеркивание *следствия прежде причины* (стр. 99). Прием очень «хитрый» (в древне-русском смысле). Этого рода ухищрения характерны не только для Слова, но и для всей «украшенной» литературы второй половины 12-го века и на Руси, и на Западе.

Истолкование Слова о полку Игореве в терминах византийской поэтики Херобоска несомненно плодотворно, и работа Бешаровой является ценным вкладом в огромную литературу о Слове. Она вполне овладела материалом и сумела связать предмет своего исследования с проблемами современной поэтики; так, она ссылается на поэтов Итса и Паунда, на литературоведов Ричардса и Эмпсона, для которых «темные» средние века приоткрылись в большей степени, чем для исследователей прошлого столетия. Немало внимания Бешарова уделяет также выяснению и определению отдельных терминов (метафоры, аллегории и проч.) и символического творчества (средневекового и современного).

Ю. Иваск

Н. А. ГОРЧАКОВ. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ТЕАТРА. Изд. имени Чехова. Нью Йорк. 1956.

Книга Горчакова — это первая серьезная попытка написать историю современного русского театра и осмыслить причины его расцвета и упадка. Попытку эту в целом нужно признать удачной. «История советского театра» — это вклад в литературу о русском искусстве. У Горчакова большая эрудиция в вопросах театрального мастерства и истории театра, к тому же эрудиция его не носит академический, кабинетный характер, а всегда согрета творческим огоньком настоящего артиста, не только знающего, но и любящего искусство театра, чувствующего и «видящего» его. Оттого так живы характеристики театральных направлений, режиссеров, их систем и отдельных спектаклей. Глава 9-я (Эпоха расцвета советского театра), посвященная этим характеристикам — лучшая глава книги, а многие ее страницы (напр., посвященные Камерному Театру, изложению «биомеханики» Мейерхольда) — просто прекрасны. Вообще из трех тем книги — художественно-эстетической, исторической и политической — наиболее удалась автору первая.

Если же говорить о недочетах книги, то они в области историко-фактической. Здесь много неточностей и хронологических ошибок. Так напр.: премьера «Сверчка на печи» в Первой Студии МХАТ'а состоялась не в 1912 году, а 24 ноября 1914 года. Вахтан-

гов никогда не был художественным руководителем Первой Студии, а вел в ней режиссерскую и педагогическую работу. Первое представление «Коварства и любви» в театре Вахтангова было не в 1931, а в 1929 году, а премьера «Много шума из ничего» (в том-же театре) была не в 1936, а в 1935 году. Мейерхольд в Москве был не заместителем заведующего ТЕО, а заведующим (после возвращния с юга в августе 1920 года). Первый выпад Луначарского против «американизма» в театре был не в 1924 году, а 12 мая 1922 г. в статье по поводу мейерхольдовского «Великодушного рогоносца». «Дама с камелиями» не была последним спектаклем Мейерхольда. После нее он поставил «33 обморока» (25 января 1935 г.), «Пиковую даму» (в начале января 1935 г. в Ленинграде) и вторую реракцию «Горя уму» (ноябрь 1935 г.).

К более крупным пробелам книги можно отнести то, что автор забыл даже упомянуть об одном из замечательнейших спектаклей в истории нового русского театра — о постановке Вахтанговым «Гадибука» А-нского в еврейской студии «Габима» (31 января 1921 года). Не говорит Горчаков и об интереснейшей работе С. Эйзенштейна — о постановке «Мексиканца» (по Дж. Лондону) в студии Пролеткульта (в 1922 году). Очень жаль, что автор совершенно не уделил внимания режиссерской деятельности Н. П. Акимова — в качестве художественного руководителя Ленинградского Театра Комедии. В годы 1939-1949 Акимов приложил много усилий, чтобы оживить многие из талантливых театральных идей и приемов «эпохи расцвета», заживо погребенных под спудом «соц. реализма», за что и был заклеймен «формалистом», «космополитом» и снят с работы (приказом председателя комитета по делам искусств в августе 1949 года).

Еще более существенным недостатком книги является порой в высшей степени субъективная интерпретация некоторых фактов из истории русского театра. Хорошо, что Горчаков нашел так много теплых, искренних и ярких слов, чтобы описать действительный расцвет московских театров в двадцатые годы. Но по меньшей мере спорно звучит его утверждение, что императорские театры в старой России были театрами «сугубо рутинерскими» (стр. 15). Ведь в последнее предреволюционное десятилетие на «казенной» сцене было поставлено много талантливейших, новаторских спектаклей — назову хотя бы мейерхольдовские постановки «Орфея» Глюка, «Дон-Жуана» Мольера, балеты Фокина, постановку «Золотого петушка» в Большом Театре, шаляпинские оперные спектакли. Напрасно Горчаков так отрицательно оценивает деятельность Луначарского на посту наркомпроса. Тот расцвет театра, о котором много пишет Горчаков, был, во многом, результатом деятельности

многочисленных театральных студий, так расплодившихся в те годы в России и Луначарский сыграл в деле помощи этим студиям большую роль.

Противоречивое и неясное впечатление производят высказывания Горчакова о Художественном Театре в советские годы. На стр. 203 он говорит, что творческие достижения МХАТ'а (в двадцатых годах) «оказались неизмеримо ценнее для развития всего сценического искусства, чем оглушительные победы режиссеров и художников «левого фронта» «Театрального Октября». Утверждение это (само по себе в высшей степени спорное, если вспомнить, что вождями «левых» театральных школ были Мейерхольд, Вахтангов и Таиров) находится в прямом противоречии с убедительной картиной прогрессирующего упадка МХАТ'а, которую рисует автор на стр. 335-339, подвергая жестокой критике почти все постановки этого театра, начиная с «Воскресенья» (в 1930 г.). Ответственным за падение искусства Художественного Театра Горчаков делает В. И. Немировича-Данченко, утверждая (на стр. 338), что последний «идет на полную капитуляцию перед большевизмом, становится возглавителем советизации МХАТ'а, художественным руководителем постановок советских пьес и постановок, особенно партийно фальсифицирующих классику...» Эти высказывания автора о замечательном русском режиссере и об одном из основателей Художественного Театра производят тяжелое впечатление. Как будто писал их не человек, проживший свою жизнь в советском государстве, а какой-нибудь иностранный театровед, бойко делающий безапелляционные выводы, на основании поверхностных наблюдений. А что случилось бы если Немирович-Данченко эмигрировал (он мог это сделать с легкостью) или отстранился бы от дел МХАТ'а в те черные дни истории русского театра? Руководителем Художественного Театра, конечно был бы назначен «сверху» какой-нибудь партийный держиморда и процесс неминуемого упадка славнейшего из русских театров происходил бы и более стремительно и более болезненно, сопровождаемый окриками, оскорблениями и репрессиями властей. Не «капитуляцией перед большевизмом» было поведение В. И. Немировича-Данченко в его последние годы, а большой жертвой, исполнением долга совести и чести, как исполняет его капитан, остающийся на мостике своего гибнущего корабля.

Недостатком книги Горчакова является и неполное, хронологически ошибочное изложение процесса создания большевизмом централизованной тоталитарной машины по «управлению» искусством, разрушительные манипуляции которой и привели театр к полному творческому банкротству. Так напр., Горчаков относит начало

борьбы с формализмом еще к 1927 году и упоминает постановление совнаркома РСФСР от 7 октября 1930 года о работе театров, как об одной из важных вех в истории этой борьбы. Это неверно. Вышеупомянутое постановление вообще не сыграло существенной роли в судьбе советского театра. В 1928 (а не в 1927) году началась не борьба с «формализмом», а борьба за полную советизацию содержания театрального репертуара. Наступление на формализм началось гораздо позднее. «Теоретическое» и «идейное» обоснование этого наступления произошло на первом съезде писателей в сентябре 1934 года, когда впервые социалистический реализм был объявлен как единый, официально утвержденный стиль. Для насильственного насаждения в искусстве этого «стиля» было создано мощное и совершенно новое в организационном отношении учреждение — Всесоюзный Комитет по делам искусств. Один из главных отделов этого учреждения — Театральное Управление (первым начальником его был Боярский) и провел основную грязную работу по разрушению русского театра, действуя по инструкциям Сталина и его подручных. С начала 1936 года стала проводиться эта «работа» с невиданной беспощадностью. Инструкции давались в статьях «Правды», в директивах и выступлениях «вождей», а комитет искусств действовал. И именно 1936-й год отмечен печатью дьявола в истории русского театра.

Горчаков же, почему-то относит создание тоталитарного аппарата по управлению искусством еще к 1927 году. На стр. 259 он пишет: — «Эта организация (т. е. тоталитарный аппарат. Ю. Е.) меняет несколько раз свое название (Главискусство, Комитет по делам искусств)». — То были не различные названия, а совершенно разные организации и комитет искусств не имел никакого отношения к сравнительно безобидному Главискусству. Вообще, автор ничего не говорит о «работе» комитета искусств, а о театральном управлении даже ни разу не упоминает. Зато Главреперткому и РАПП'у отводит незаслуженно много места, преувеличивая их значение и ошибочно приписывая им многие злые деяния комитета по делам искусств.

Ю. Елагин

Д. КЛЕНОВСКИЙ. Неуловимый спутник. Четвертая книга стихов. «Сполохи» (Мюнхен), 1956. 52 стр.

Для большинства читателей и почитателей Кленовского обозначение новой книги его стихов как «четвертой» будет сюрпризом: мало кому известно, что первая, еще юношеская, книга этого поэта («Палитра») вышла в Петрограде (под другой фамилией)

сорок лет тому назад. Если не ошибаемся, вторая книга готова была к печати в начале 20-х годов, но света не увидела. На много лет уста поэта наглухо замкнулись. Все революционные годы он прожил в молчании в Советской России и появился снова в печати уже как «новый эмигрант» в конце второй мировой войны. Выход в 1950 году его книги «След жизни», содержавшей 52 написанных между 1945 и 1949 гг. стихотворения, был поистине нечаянной радостью в зарубежной поэзии. Критики приветствовали рождение нового поэта. В 1952 году вышла следующая книга — «Навстречу небу», с 42 стихотворениями. Теперь перед нами еще одна, в ней 38 стихотворений.

Все писавшие до сих пор о Кленовском отмечали его мастерство, высокую культуру стиха, акмеистическую выучку. В небольшом предисловии к первой зарубежной книге Кленовского Н. Берберова назвала его «последним царскоселом» (Кленовский учился в Царскосельской гимназии, знал Анненского, Гумилева, Ахматову; в стихах его много царскосельских реминисценций). Та же Берберова правильно отметила, что Кленовский поэт «умственный», поэт мысли, а не слова, образа или звука. Его поэтому часто подстерегает опасность впасть в рассудочность, и в некоторых своих стихотворениях он в нее впадает (например, «Путь к любви» и «Рапсоды» в первом зарубежном сборнике и некоторые другие стихотворения). Но в лучших своих стихах — я бы даже сказал: в большинстве — он этой опасности избегает, и «умственность» их уравновешивается их словесно-образно-звуковым строем.

Поэзия Кленовского значительна и оригинальна. Он непохож ни на одного советского поэта, в нем сразу чувствуется «внутренний эмигрант»: прожив в Советской России больше 25 лет, он остался не задет ни Маяковским, ни Есениным, ни Хлебниковым, ни Пастернаком, ни Тихоновым. Можно даже сказать, что у него больше общего с некоторыми зарубежными, эмигрантскими поэтами — например, с Ходасевичем и некоторыми его парижскими учениками; но и тут различий больше, чем сходств. Очень далек он от так называемой «парижской ноты» — ему чужд всякий нигилизм. Его акмеистическая родословная, отмеченная Берберовой, несомненна, он ее и не скрывает. (Первая книга Кленовского, «Палитра», была очень характерно акмеистической — в ней чувствовалось влияние Кузмина и близость к Георгию Иванову). В своих стихах он не раз называет Гумилева своим учителем. Но Гумилев, к которому теперь восходит Кленовский, это не ранний, романтический Гумилев-конквистадор «Жемчугов» и «Чужого неба», даже не Гумилев «Колчана», а Гумилев «Костра» и особенно «Ог-

ненного столпа». Вероятно, одно из самых близких Кленовскому стихотворений Гумилева — «Шестое чувство». В стихах Кленовского порой очень ясно звучат гумилевские интонации — например, в стихотворении «Ангелы» («След жизни») или в «Сне о казненном поэте» («Навстречу небу»), где речь идет о самом Гумилеве. Гораздо менее ощутимо влияние Осипа Мандельштама — поэта, которого Кленовский, кажется, очень любит и ценит. Но всё-таки Кленовского никак нельзя назвать ни учеником, ни подражателем Гумилева. У него свой голос, свои ритмы, своя тема. А рядом с акмеизмом чувствуется и общая классическая, пушкинская наследственность. И многое связывает поэзию Кленовского, к которой подходит определение «дар тайнослышания», с Баратынским и Тютчевым, этими русскими символистами avant la lettre. Многим сегодня его стихи, вероятно, кажутся «старомодными».

Почти у каждого настоящего поэта есть свои «ключевые» слова, вокруг которых инструментованы их поэтические темы и частое употребление которых отнюдь не свидетельствует о бедности поэтического словаря. Одним из таких слов, если не главным, у Кленовского представляется мне слово «легкий» и производные от него. Вот несколько наудачу выбранных примеров из всех трех книг зарубежного периода:

Поверь: мне так легко стареть!

И поймем... и так легко заплачем,
Как я в детстве только плакать мог.

Нам уже совсем недалеко
До почти немыслимого рая,
Где светло нам будет и легко!

И уже совсем легко мне будет
Оттолкнуть скамью и умереть.

Жизнью мы проходим налегке...

Возьми меня с собою тоже
Туда, где все как ты легки.

И флорентийские холмы
Легко лежат вокруг.

Легко зеленеют рощи,
Легко расцветает сад.

Эпитет «легкий» поэт применяет к пушкинской строке, к перезвону кампанильи, к кораблю, к роще, к «Отчей Руке», к «цвету души» и пр. Легкая «радость бытия», неотделимая от мудро-спокойного ожидания, чуть ли не предвкушения смерти — такова, мне кажется, основная тема поэзии Кленовского, в основе своей глубоко, хотя и сдержанно, религиозной. В каждом из трех зарубежных сборников Кленовского имеется стихотворение, связанное с заглавием всего сборника, как бы проясняющее его смысл. В «Неуловимом спутнике» это — следующее стихотворение без заглавия:

Вспорхнув, крылом меня задела,
Неуловима и легка.
Не из иного ли предела
Ко мне простертая рука?

Толкнуть вперед хотела или
Остановить и уберечь?
Зачем гадать! Мы не учили
Грамматику нездешних встреч.

Мы просто ничего не знаем
И вот в невежестве своем
Прикосновенья забываем
И шорохов не узнаем.

А завтра, смотришь, лодка тонет,
Лжет поцелуй, густеет мгла...
О, если бы вчера я понял
Заботу твоего крыла!

Но ты простишь, само терпенье,
Лишь покачаешь головой,
Мой легкий ангел (весь — паренье!),
Неуловимый спутник мой!

Этот «легкий ангел», этот «неуловимый спутник» проходит по всей книге Кленовского, по всей его поэзии, где касанья к запредельному, к нездешнему соседствуют с вещественно-плотным восприятием предметного мира. Автор рецензии на второй зарубежный сборник Кленовского в «Новом Журнале» (XXXI), подписавшийся довольно прозрачными инициалами Н. Б., писал, что тема Кленовского — бессмертие. В каком-то смысле это верно, но, будучи так выражено, звучит слишком отвлеченно, Кленовский же далек от

отвлеченности. Эта тема подана у него и как тема старости (вернее: старения), и как тема смерти (например, в прекрасном, немного напоминающем Ходасевича стихотворении «Прощанье с телом» в последнем сборнике), и как тема радости бытия, упоения «повседневностью», и как тема перевоплощения. С этой темой связан повторяющийся у Кленовского образ «гощенья на земле».

Автор той же рецензии в «Новом Журнале» писал о книге «Навстречу небу»: «Она замыкает круг, и от поэта будет зависеть куда, в каком направлении идти теперь от этого круга, где он (двумя сборниками) исчерпывающе сказал во что верит, чего ждет, что любит... И куда он направится теперь, хочется угадать, но, конечно, невозможно». С этой точки зрения «Неуловимый спутник» должен был, вероятно, автора рецензии разочаровать: нового «направления» в этой книге как будто не видно. Но сама по себе такая постановка вопроса кажется мне неправомерной. Кленовский — поэт зрелый, установившийся (тихая умудренность — одна из его отличительных черт). Таким он и вошел в эмигрантскую поэзию, и ожидать от него непременно какого-то «развития», поворота на новые тропы едва ли следует. Но это вовсе не значит, что он *всё* уже сказал, поэтически *исчерпал* себя. «Неуловимый спутник» показывает, что Кленовскому действительно присуще некое «однодумство». Но в этой книге много прекрасных отдельных стихотворений, которые порадуют тех, кто приветствовал предыдущие два сборника. Звучат в книге и новые ноты, даже если они и не создают нового направления. Так, по-новому обернулась тема России в стихотворениях «Родине» и «Когда вернусь». Мало похоже на другие стихотворения большое стихотворение «Раз в году» (о самоубийце), написанное необычным для Кленовского размером (чередование 4-стопного и 3-стопного хорея). Но в большей части стихотворений налицо уже знакомые мотивы, хотя отнюдь и не перепевы старого. Отметим такие превосходные стихотворения, как «О, только бы припомнить голос твой», «Весной», «Прощанье с телом», «Когда душа поймет урок», «Если я лишь песчинка тленная», «В легкой роще, в это утро мая» (это стихотворение тесно связано с темой «неуловимого спутника»), «Как больно утром забывать», «Итак: мы говорим стихами» — цитировать их не позволяет недостаток места. Укажем еще на цикл стихов о Царском Селе («Казненных муз умолкший городок!»), где проходят тени Анненского, Гумилева, Ахматовой и Пушкина. Казни Гумилева посвящено также стихотворение «Не забытое, не прощенное», черезчур на мой вкус риторичное.

Многое можно было бы сказать о стихотворной технике Кленовского, весьма изощренной (между прочим, до революции он учился не только у акмеистов, но и у Анри де Ренье, которого много переводил). Ограничусь тем, что отмечу его пристрастие к пяти-

стопным размерам, как ямбу так и хорею (это особенно относится к первым двум зарубежным сборникам, в которых больше половины всех стихотворений написано этими размерами; в «Неуловимом спутнике» ямб преобладает над хореем, и 4-стопного ямба уже больше, чем 5-стопного), а также то, что он совершенно не пользуется правильными трехдольными размерами — все трехдольники у него паузники, причем особенно много анапестических. К этому можно добавить, что в «Неуловимом спутнике» трехдольных паузников (но и вообще трехдольников) гораздо меньше, и в сочетании с бóльшим процентом 4-стопных ямбов это свидетельствует о дальнейшей «классицизации» стиха.

Глеб Струве

ИСПРАВЛЕНИЯ

В кн. 46-й «Нов. Журн.» необходимы следующие исправления. На стр. 107, 12-я стр. сверху должна читаться: «с свёкром, Степаном Яковлевичем». На стр. 203, 12-я строка сверху, цифра «19» должна быть исправлена на «98». На стр. 250, 3-ю стр. сверху, надо читать: «Рахманинов» Бертенсона и Лейды — ценный вклад в литературу».

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ ДЛЯ ОТЗЫВА *ОТ ИНСТИТУТА ПО ИЗУЧЕНИЮ СССР*

Проф. д-р П. Л. КОВАНЬКОВСКИЙ. *Бюджет СССР*. Историко-критич. обзор, Мюнхен. 1956.

И. КОСТЕЦКИЙ. *Советская театральная политика и система Станиславского*. Мюнхен. 1956.

Беларускі Зборник, кн. 5. Мюнхен. 1956.

Морские записки, том XIV, № 4 (43). Нью Иорк. 1956.

Закон Божий. Первая книга о православной вере, 2-е изд. YMCA-Press. 1956.

ЛИДИЯ ЧЕРВИНСКАЯ. *Двенадцать месяцев*. Стихи, Изд. Рифма. Париж. 1956.

А. В. КАРТАШЕВ. *Воссоздание Св. Руси*. Париж. 1956.

АЛЕКСАНДР ЛЯСКОВСКИЙ. *Мартиролог русских писателей 1700-1900)*. Изд. Библиофил. Германия. 1956.

АЛЕКСАНДР БУРОВ. *Бурелом*. Роман. Париж. 1956.

Организованное покушение на эмиграцию. Изд. СБОНР. Мюнхен. 1956.

Очерки большевизмоведения. Институт изучения СССР. Изд. «Посев». Франкфурт/Майн. 1956.

ВАЛЕНТИН ГОРЯНСКИЙ. *Парфандр и Глафира.* Роман. Изд. А. Горянского. Париж. 1956.

ИРИНА ЯССЕН. *Память сердца.* Стихи. Изд. «Рифма». Париж. 1956.

Indiana Slavic Studies, vol. 1. (A Collection of Studies by Members of the Faculty of Indiana University). Indiana University, 1956.

MARC RAEFF, *Siberia and the Reforms of* 1822. University of Washington Press. Seattle. 1956.

WLADIMIR SZYLKARSKI. *Wladimir Solowjew and die Okumenische Kirche* (Drei offene Briefe an N. O. Losskij). Zweiter Brief. Bonn. 1956.

PAUL CHAVCHAVADZE. *Father Vikenty.* Novel. Houghton Mifflin Co. Boston. 1955.

RAYMOND ARON. *Koniec Wiełku Ideologii.* Institut Literacki. Pariz. 1956.

WACLAW LEDNICKI. *Puchkin, Mickiewicz, Goethe, Turgenew and Sienkiewicz.* Martinus Nijhoff. The Hague. 1956.

DAVID J. DALLIN. *Soviet Espionage.* Yale University Press. New Haven, 1955.

GRAHAM GREENE. *Moc i Chwala.* Institut Literacki. Pariz, 1956.

Slavic and East-European Studies. Part 1, Spring 1956; Part 2, Summer 1956. University of Montreal. Department of Slavic Studies.

Adam Mickiewicz in World Literature. A Symposium Edited by Waclaw Lednicki. University of California Press. Berkeley, 1956.

World Literatures. University of Pittsburgh Press. 1956.

IHOR KAMENETSKY. *Hitler's Occupation of Ukraine* (1941-44). Study in Totalitarian Imperialism. Marquette Slavic Studies. The Marquette University Press. Milwaukee. 1956.

ANATOL SHUB. *Labor in the Soviet Orbit.* Labor Committee to Release Imprisoned Trade Unionists and Democratic Socialists. N. Y. 1956.

Estudios Sobre El Comunismo. Ano. V, Nr. 12. Santiago de Chile. Abril-Juno 1956.

YURY ARBATSKY — *Variations on a Fragment of Hebrew Polyphony for harpsishord or pianoforte,* Edited by Erwin Bodky.

EUGENE PYZIUR. *The Doctrine of Anarchism of Michael A. Bakunin.* Marquette University Press. Wisconsin.

JOSEPH SCHOLMER. *La Grève de Vorkouta.* Amiot & Dumont. Paris.

NICHOLAS P. VAKAR. *Belorussia. The Making of a Nation.* Harvord University Press. Cambridge, Mass.

КНИГА 46-я. М. Иванников — Заговор. *Вл. Корвин-Пиотровский* — Золотой песок (поэма). *И. Красуский* — Утренница. СТИХИ: *Н. Берберова, В. Набоков-Сирин, А. Присманова, Л. Алексеева, А. Гингер.* ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: *В. Александрова* — Сов. литература после XX съезда КПСС. *Ю. Иваск* — Батюшков. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *Н. Валентинов* — Встречи с А. Белым. *А. Гумилева* — Н. С. Гумилев. *М. Шнееров* — Воспоминания об Азефе. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *Д. Анин* — Проблема «дебольшевизации». *М. Вишняк* — Перечитывая Хрущева. *С. Зеньковский* — Россия и тюрки. *А. Боголепов* — Государственная Дума. *М. Карпович* — Комментарии. О воспоминаниях Ф. А. Степуна. — *К семидесятелию М. А. Алданова* — БИБЛИОГРАФИЯ: *М. Поливанов* — По поводу книги А. В. Карташева «Воссоздание Св. Руси». *Ю. Елагин* — S. Bertensson and J. Leyda. S. Rachmaninoff. *М. Гофман* — Бар. Л. Врангель. Семья Раевских. *М. Карпович* — Г. Струве. Русская литература в изгнании. *Н. Ульянов* — Н. Кодрянская. Глобусный человечек. ПРИЛОЖЕНИЕ: Неизданные письма А. И. Герцена под редакцией *Л. Л. Домгера.*

Мы продолжаем печатание

НЕИЗДАННЫХ ПИСЕМ А. И. ГЕРЦЕНА

к Н. И. и Т. А. АСТРАКОВЫМ,

приготовленные к печати Л. Л. Домгером.

Печатые в предыдущей книге журнала эти письма печатаются нами с особой пагинацией и по окончании их публикации выйдут отдельным изданием. РЕД.

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» ЗА 1956 ГОД

КНИГА 44-я. ПРОЗА: *Мих. Иванников* — Правила игры. *Г. Альтшуллер* — Дело Тверитинова. *В. Яновский* — Болезнь. СТИХИ: *Георгий Иванов* — Дневник; *Вл. Корвин-Пиотровский* — Заклинания; *Игорь Северянин* — Очаровательные разочарования; *Лидия Алексеева, Кира Славина.* ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО: *Г. Адамович* — Наследство Блока. *В. Марков* — Моцарт. *Е. Каннак* — Неизвестная пьеса А. Чехова. ВОСПОМИНАНИЯ и ДОКУМЕНТЫ: *Ек. Кускова* — Давно минувшее. *Г. Андреев* — Трудные дороги. *А. Бургина* — Неизданные письма Софии Ковалевской. ПОЛИТИКА и КУЛЬТУРА: *М. Вишняк* — Мемуарист, историк, политик, человек в «Воспоминаниях» П. Н. Милюкова. *Н. О. Лосский* — Мысли Н. А. Бердяева о назначении человека. *А. Добровольский* — Фиктивные и действительные закономерности. *С. Шварц* — XX-й съезд КПСС. *О. Анисимов* — Большая стратегия советской внешней политики. *М. Карпович* — Комментарии: 1) Постскриптум к статье О. Анисимова, 2) К нашим читателям. БИБЛИОГРАФИЯ: *Н. Ульянов* — Книга о В. Э. Мейерхольде. *А. Гольденвейзер* — R. Maurach. Handbuch der Sowjetverfassung. *Р. Плетнев* — Ю. Сазонова. История русской литературы. *Ю. Денике* — В. Варшавский. Незамеченное поколение. *В. Варшавский* — С. Жаба. Русские мыслители о России и человечестве. *М. Добужинский* — С. Маковский. Портреты современников. *В. Эфер.* — Ал. Бахрушевский. Дорогою свободной. *Роман Гуль* — Б. Ольшанский. Мы приходим с востока.

Книга 45-я. ПРОЗА: *Е. Гагарин* — Охота на гусей. *И. Одоевцева* — Когда бушевала буря. *Л. Ржевский* — Человек, которому было всё равно. СТИХИ: *А. Величковского, В. Злобина, О. Ильинского, И. Одоевцевой, Ю. Одарченко, И. Легкой, А. Шишковой.* ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: *Дм. Чижевский* — Шиллер в России. *З. Юрьева* — И. Анненский о Гоголе. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *Ек. Кускова* — Давно минувшее. *Н. Валентинов* — Встречи с Андреем Белым. *Б. Фондан* — Разговоры с Львом Шестовым. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *Г. Андреев* — Иные времена. *Н. Тимашев* — Очернение Сталина. *Ю. Денике* — Проблемы коллективной диктатуры. *Н. Ульянов* — Комплекс Филофея. *М. Карпович* — Комментарии: 1) О русском мессианстве, 2) Достоевский, Белинский, Шиллер. БИБЛИОГРАФИЯ: *К. Солнцев* — I. Fedorov's Primer of 1574. *Роман Гуль* — Кн. Сергей Щербатов. Художник в ушедшей России. *М. Коряков* — С. Максимов. Бунт Дениса Бушуева. *Е. Климов* — А. Бенуа. Жизнь художника.

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1956 году выйдет ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 50 крузейро

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, Inc., 223 West 105th Street,
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня